



ИЗ ОТЗЫВОВ НА АЛЬМАНАХ "ЧАСТЬ РЕЧИ" № 1:

Прекрасный обзор современной русской литературы
"Таймс", Лондон

Впечатляющее издание в лучших традициях русской культуры

американский писатель Харисон Солсбери

Яркое событие в русской и, возможно, в зарубежной литературе

профессор Роман Якобсон

Высокохудожественное издание, сделанное с большим вкусом

"Миннесота Дейли"

Чудесная книга, которая показывает нам высокий уровень современной русской литературы

Элин Шон, "Нью-Йорк Таймс"

Альманах "Часть речи" очертил уровень утонченного эстетизма и шкалу критериев, доказав, что процесс литературно-художественного созидания един и его компоненты не определяются географическими рубежами

"Континент"

Художественная ценность альманаха "Часть речи" несомненна. Это серьезный вклад в русскую литературу нашего времени

Радиостанция "Голос Америки"

Альманах "Часть речи" — одна из лучших книг, вышедших на Западе за последние годы

Диса Хостад, журналистка. Швеция

...принесли альманах "Часть речи". В нем рекомендовали прочесть все. Альманах — одна из лучших книг, изданных на Западе

Н.В., Москва

Альманах по-настоящему интересен. Разнообразием имен, тщательностью отбора он восстанавливает традицию больших русских альманахов

профессор И.Серман

ЧАСТЬ РЕЧИ

АЛЬМАНАХ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

2-3



СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

НЬЮ-ЙОРК

Часть речи 2-3
Альманах литературы и искусства

Chast' rechi 2-3
(Part of speech)
Literary-artistic almanac

Редактор-издатель
Григорий ПОЛЯК

Editor-Publisher
Gregory POLIAK

© 1982 by SILVER AGE PUBLISHING
All rights reserved

Library of Congress Catalog
Card Number: 80-50878

ISBN: 0-940294-23-0

SILVER AGE PUBLISHING
P. O. Box 384, Rego Park, N. Y. 11374



ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

ИЗ «ВОРОНЕЖСКИХ ТЕТРАДЕЙ»

Стихи печатаются по копиям с автографов О.Э.Мандельштама, сделанным С.Рудаковым в 30-е годы в доме поэта и хранившихся у него. От жены погибшего на фронте С.Рудакова эти материалы попали в архив Фриды Вигдоровой.

А.С-в

* * *

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал щедушным.
Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик —
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С прививкою и горести, и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.

На лапы задние поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явного в улыбку превращенье;

И цвет, и вкус пространство потеряло,
Хребтом и аркою поднялся материк,
Улитка выползла, улыбка просияла,
Как два конца их радуга связала,
И в оба глаза бьет атлантов миг.

8 декабря 1936 — 17 января 1937

Воронеж

* * *

Е. Е. Поповой*

На откосы Волга хлынь, Волга хлынь,
Гром ударь в теснины новые,
Крупный град по стеклам двинь, — грянь и двинь,
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.

* Попова Еликонида Ефимовна (Лилл) — (1907—?) — жена известного актера Владимира Николаевича Яхонтова.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Как досталась — развяжи, развяжи —
Красота такая галочья.
От индейского раджи, от раджи —
Алексею, что ль, Михайлычу. —
Волга, вызнай и скажи.

Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают по верхам, по верхам
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные...
Косит ливень луг в дугу.

Июль 37 г.
Савелово

Печатается по копии, снятой с автографа С. Рудаковым.
Из архива Фриды Вигдоровой.

СЕМЬ ПИСЕМ

ПУБЛИКАЦИЯ СЕРАФИМЫ ПОЛЯНИНОЙ

Официальные обращения Мандельштама в журнал „Звезда” — документы не менее трагические, чем его личные письма-просьбы: поэт, для которого литература была столь же важна, как жизнь, не только — что в его положении уже было трагической наивностью — посылает свои стихи в журналы, но просит учесть отправленные им вдогонку исправления, хотя попытки сломить трусость и хамство, процветавшие в редакциях, неизменно оканчивались неудачами. Как вспоминает Н. Мандельштам: „...мы ходили на почту и отправляли стихи в редакции московских журналов. Ответ пришел только один раз — на „Неизвестного солдата”. Редакция „Знамени” сообщала, что войны бывают справедливые и несправедливые и что пацифизм сам по себе недостойн одобрения. Но жизнь была такова, что даже этот казенный ответ показался нам благой вестью: все же кто-то откликнулся и разговаривает!

Стихи о тени, которая бродит среди людей, „греясь их вином и небом”, пошли в виде исключения не в Москву, а в Ленинград, вероятно, в „Звезду” (Воспоминания, 1970, стр. 191)”.

Эти письма дают представление о психологической и бытовой атмосфере жизни Мандельштама, кроме того, они обогащают нас вариантами некоторых стихотворных строк, помогают уточнить хронологию отдельных пьес, и наконец, показывают, как Мандельштам работал над стихом и как оценивал художественные приемы, которыми пользовался.

Письма Мандельштама в редакцию журнала „Звезда” публикуются по автографам поэта, письма к Н. С. Тихонову по копиям, сделанным мною при жизни адресата. Письмо к И. Д. Ханциной печатается по фотокопии факсимильного текста. Письмо к В. М. Саянову — по фотокопии машинописного текста из собрания проф. А. С. (Москва).

В редакцию „Звезды”¹

Разрешите сообщить вам две поправки к присланным мною на этих днях стихам, а именно:

1) в стих. „Сосновой рощицы” стих седьмой должен читаться:

...”И бросил, о корнях жалея,”...²

2) в стих. „Детский рот жуёт” стих шестой должен читаться:

...”Ниже клюва красным шит”...³

Не откажите мне в любезности нанести эти поправки на рукопись, находящуюся в вашем распоряжении.

О. Мандельштам

В. 19/ХП/36

¹ „Звезда” – ленинградский „толстый” журнал.

² Первоначальный вариант – „И бросил, сил своих жалея” – закреплён в списке, сделанном рукой Н. Мандельштам и имеющем пометы автора.

³ Первоначальный вариант – „И нагрудник красным шит”. См. № 305 по Собр. соч., т. 1, 1964 г. Ещё одно разночтение, не отмеченное здесь Мандельштамом, даёт список этого стихотворения, сделанный вдовой поэта: ст. 9-й – „Подивлюсь на свет ещё немного”.

В редакцию „Звезды”

Сообщаю вам продолжение моей работы над новой книгой стихов, которую я пишу в Воронеже.

Прилагаю „контрольный списочек” стихотворений за декабрь-январь.¹ Предшествующая работа (воронежская) хотя и войдет в книгу – в данную минуту меня не интересует. Начатки ее имеются в „Кр. Нови”.² Остальное – у меня.

Стих. „Рождение улыбки” – только сейчас доработано. Старый текст прошу считать вариантом.

О. Мандельштам

13 янв. 37. В.

¹ В „контрольный список“ (он, как и стихи, в него входящие, написан рукой Н. Мандельштам) включены следующие 19 пьес: 1. „Из-за домов, из-за лесов“, 2. „Рождение улыбки“, 3. „Мой щегол, я голову закину“, 4. „Нынче день какой-то желторотый“, 5. „Не у меня, не у тебя — у них“, 6. „Внутри горы бездействует кумир“, 7. „Я в сердце века“, 8. „Сосновой рощицы закон“, 9. „Пластинкой тоненькой жиллета“, 10. „Ночь, дорога“, 11. „Вехи дальнего обоза“, 12. „Где я? Что со мной дурного?“, 13. „Шло цепочкой в темноводье“, 14. „Как подарок запоздалый“, 15. „Оттого все неудачи“, 16. „Улыбнись, ягненок гневный“, 17. „Твой зрачок в небесной корке“, 18. „Когда в ветвях понурых“, 19. „Дрожжи мира дорогие“.

Из посланного в „Звезду“ контрольного списка сохранилось только 7 пьес — №№ 2, 4, 14 — 19. Из них варианты сравнительно с печатным текстом выявляет лишь № 2: ст. 2-й и 5-й дают разночтения, учтенные в Собр. соч.; ст. 12-й исправляет смысловую некорректность печатного текста, давая чтение „явления явного в числе чудес вселенья“.

² „Красная новь“ — московский „толстый“ журнал.

3

31/ХП.36 г.

С Новым годом!

Уважаемый Николай Семенович!¹

Посылаю Вам еще две новых пьесы. Одна из них „Кашеев кот“.² В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы „ща“³ и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота. Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался, учился у него и — смело с ним боролся.

Как любой язык чтит борьбу с ним поэта, и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение! Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатают, и он будет принадлежать народу советской страны, перед которым я в бесконечном долгу.⁴ Вам, делегату УШ съезда (я слышал по радио Ваше прекрасное мужественное приветствие съезду) я сообщаю: я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях еще раз сообщу об этом в наше НКВД⁵ и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу, как в лесу, что люди, что деревья — толк один. Я буквально физически погибаю. Чего я жду от Вас? Добейтесь до разрешения общего вопроса, что может затянуться, — немедленной конкретной помощи — не частной — ну ее

к черту — но скромной организованной советской поддержки. Имейте в виду, что служить я не могу, потому что стал не в шутку инвалидом. Не могу также переводить, потому что очень ослабел, и даже работа над своим стихом, которую я не могу отложить, стоит мне многих припадков.

Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на ногах), избавьте от неприкрытого нищенства. Телеграфируйте мне о получении этого письма, примите самые решительные меры, потому что нет имени тому, что происходит со мной в Воронеже. Дальше так продолжаться не может.

Ваш О. Мандельштам

Адр.: Воронеж, ул. 27 Февраля, д. 50, кв. 1

¹ Имеется в виду известный поэт Николай Семенович Тихонов.

² К письму приложены стихотворения „Как подарок запоздалый” и „Оттого все неудачи”, текст которых не отличается от текста соответствующих номеров Собр. соч.

³ Мандельштам придавал большое значение согласным в русском стихе: „Множитель корня, — писал он в статье „Заметки о поэзии”, — согласный звук, показатель его живучести (классический пример „Смеярышня смехочеств” Хлебникова). Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные — семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание — отмирание чувств согласной. Русский стих насыщен согласными и цокает, щелкает и свистит ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь — литания гласных” (Собр. соч., т. 2, 1966, стр. 303).

Звук „щ” Мандельштам ощущал как звук „боли и нападения, обиды и самозащиты” („Шум времени”, Собр. соч., т. 2, 1966, стр. 143), потому, возможно, на нем и построено стихотворение.

⁴ Сходная мысль в ответе на анкету „Читателя и писателя”: „Чувствую себя должником революции”. Собр. соч., т. 2, 1966, стр. 259.

⁵ НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.

4

6 марта 37 г.

Николай Семенович!

Скрывать от Вас мое положение было бы нехорошо и неестественно. Все попытки мои и моей жены наладить способ жизни без частной поддержки ни к чему не привели. Никакой работы *ни я, ни моя жена*¹ получить

не можем. Кроме того, я по-прежнему болен, и к работе — службе не способен. Когда я писал Вам о крайней нежелательности частной поддержки, я надеялся на постановку вопроса в другой плоскости. Не перестаю надеяться и до сих пор.

Жить не на что. Даже простых знакомых в Воронеже у меня почти нет. Абсолютная нужда толкает на обращение к незнакомым, что совершенно недопустимо и бесполезно. Все местные учреждения для меня закрыты, кроме больницы, — но лишь с того момента, когда я окончательно свалюсь. Этот момент еще не наступил: я держусь на ногах, временами пишу стихи и живу на случайную помощь людей, которая каждый раз является неожиданностью и добывается путем судорожного усилия. Сейчас я оглядываюсь кругом: помощи ждать неоткуда. Это — за два месяца до истечения моего трехлетнего срока, когда в буквальном, не переносном смысле решится вопрос о моей жизни.

На этот раз я прошу лично Вас помочь мне деньгами. С огромной радостью я верну Вам этот долг, если когда-либо будет принята к печати моя новая книга стихов.

Пока что мое физическое „я” оказывается ненужным и неудобным приложением к моей работе. Между тем без него обойтись нельзя.

На днях я послал Ставскому² несколько стихотворений с просьбой об отклике и оценке их Союзом Советских Писателей.

В эту посылку вошли совершенно новые, неизвестные вам стихи.

В напряженном ожидании Вашего ответа — жму Вашу руку.³

О. Мандельштам

Воронеж, ул. 27 Февраля, д. 50, кв. 1.

¹ Слова „ни я, ни моя жена” подчеркнуты Мандельштамом.

² В. П. Ставский (1900–1943) — очеркист; в то время генеральный секретарь Союза писателей.

³ К письму приложены следующие стихи, переписанные Н. Мандельштам: „Этот воздух пусть будет свидетелем”, „Я видел озеро”, „Если б меня наши враги взяли”, „Я молю как жалости и милости”. Кроме последней пьесы, все не имеют авторских помет и не дают вариантов сравнительно с печатным текстом. В последней в ст. 15-м три слова тщательно зачеркнуты, так что можно разобрать только „розовый”: вместо зачеркнутого рукой Мандельштама написано: „с розой на груди”. Текст стихотворения опубликован в советском однотомнике под № 212.

5

Дорогой Николай Семенович!¹

Повторяю: никто из вас не знает, что делается со мной.

Сейчас пахнет катастрофой.

Вмешайтесь, пока не поздно.

Верьте каждому слову моей жены.

Спешите. Иначе все кончится непоправимо.

О. Мандельштам

¹ Дата в рукописи отсутствует.

В предварительной публикации материалов, альм. „Часть речи”, №2-3 (газета „Новый американец”, № 57 от 10-16 марта 1981, литературное приложение) по просьбе публикатора в письмах к Н. С. Тихонову были опущены обращения и тексты, характеризующие личность адресата, так как публикация была подготовлена еще при жизни Н. С. Тихонова.

6

24 августа 1929 г.

Дорогой товарищ Саянов!¹

Пишу Вам в подкрепление телефонного звонка. „Московский комсомолец” широко развертывает литературный отдел. Нам необходимо тесное сотрудничество с ленинградской молодежью. Вы знаете ее лучше, чем кто-либо. К Вам настоятельная просьба: подбирайте материал и шлите его на адрес редакции. Я всецело полагаюсь на Ваш выбор, и все, что Вы возьмете у авторов, они могут считать принятым.

Если Вас не затруднит, переговорите с Тихоно-

вым.² Ваши стихи и его нам необходимы, кроме того необходима проза Тихонова. Ведя борьбу со всякого рода цеховщиной и варкой в собственном соку, мы сразу берем установку на культурный подъем. Комсомольский культурный молодежь нуждается в старших союзниках. Нельзя предоставлять его собственным силам. Я не представляю себе, чтобы Вы не откликнулись немедленно на наш призыв.

Еще одна просьба: вы отказались по телефону взять неблагодарное дело распределения денег. Гонорар можно высылать и непосредственно из Москвы. Но если бы Вы указали в Ленинграде человека, способного взять на себя материальную часть, мы бы перевели в его распоряжение сумму в отделение издательства „Рабочая Москва”.³

Собираюсь написать Вам частное письмо.⁴

С приветом О. Мандельштам.

¹ Саянов, Виссарион Михайлович (1903–1959) – поэт, прозаик и критик. Письмо написано О. Мандельштамом в краткий период работы редактором литературного отдела газеты „Московский комсомолец” с конца 1922 г. по март 1923 г.

² Н. С. Тихонов (1896–1979) – см. письма к Н. С. Тихонову.

³ Типография издательства, печатавшая газету „Московский комсомолец”.

⁴ Письмо не обнаружено, оригинал письма хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома в фонде В. М. Саянова (ф. 597). Печатается по фотокопии машинописного текста из коллекции А. С. (Москва).

Зима 1930/31 г.
Ст. Петергоф

Дорогая Иза Давыдовна,¹



эту музыкальную фразу,² весьма коряво здесь начертанную, и еще очень многие хотелось бы услышать от вас и Ал. Осиповича.³ И я бы тоже очень хотел и слышать и видеть вас. И еще многое другое. И Александра Осиповича!

Иза, обязательно приезжайте и тащите с собой Терезу.⁴ А старику⁵ привет. А вообще кланяюсь.

О. Мандельштам
Н (адежда) Х (азина) 6

Адрес: Старый Петергоф⁷
Заячий Ремиз. Садовая, 14
Санаторий Цекубу⁸

Ночлег удобства (и пропитание обеспечены).
Поезда с Балтийского⁹ каждый час.

Виктор¹⁰

¹ Иза Давыдовна Ханцина – приятельница Мандельштама, пианистка, игру которой любил слушать Мандельштам. Об этом пишет в своих воспоминаниях и Н. Я. Хазина-Мандельштам. См. „Вторая книга”, стр. 127; „Воспоминания”, стр. 240.

² Мандельштам цитирует фразу из Сонаты Соль минор Шумана.

³ Александр Осипович Моргулис – муж И. Д. Ханциной, друг Мандельштама, был мастером высвистывать сложнейшие мелодии.

⁴ Тереза – сестра И. Д. Ханциной.

⁵ Старик – А. О. Моргулис.

⁶ Н. Я. Хазина – жена Мандельштама.

⁷ Старый Петергоф – пригород Ленинграда.

⁸ ЦЕКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

⁹ Балтийский – Балтийский вокзал в Ленинграде.

¹⁰ Виктор Андроникович Мануйлов – тогда начинающий литературовед и критик, ныне профессор Ленинградского университета. (Ему принадлежит приписка к этому письму.)

В связи с тем, что к моменту выхода из печати нашего альманаха уже вышел 4-й том Собрания сочинений О. Мандельштама (Из-во ИМКА-Пресс, Париж, 1982), из раздела публикаций О. Мандельштама опущены материалы, вошедшие в данный том. Остальные материалы являются дополнением к 4-му тому Собрания сочинений О. Мандельштама.

В редакцию "Искусство"

Разрешите сообщить вам две поправки
к присланным мной на эту тему...
скам, а именно:

1) в стр. "Словесный рисунок" с два
двух забыл:

... "И бросил, о корнях талых..."

2) в стр. "Двухсотый год" с два
двух забыл:

... "Нити нити красные стел..."

На обложке моя в любимой написан оба
поправка на рукопись, находящуюся в вашем
распоряжении.

О. Мандельштам.

В. 19/10/36.



АННА АХМАТОВА

Анна АХМАТОВА

СТИХИ И ВАРИАНТЫ

Впервые публикуемые стихи и варианты печатаются с машинописных копий из архива близкой приятельницы А.А.Ахматовой — Н.Л.Дилакторской, которой в свое время А.А.А. их надиктовала, выправив, проставив окончательные даты, а на некоторых — и место написания.

“Листки из дневника” печатаются по машинописным копиям из архива Ахматовой, хранящегося в Ленинградской Публичной библиотеке им.Салтыкова-Щедрина.

Александр С.-в. Москва

* * *

И ты мне все простишь:
И даже то, что я не молодая,
И даже то, что с именем моим,
Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая.

1928

* * *

Опять подошли „незабвенные” даты,
И нет среди них ни одной не проклятой.

И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,

Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.

Я все заплатила до капли, до дна.
Я буду свободна, я буду одна...

Но ломаются в комнату липы и клены,
Гудит и бесстыдствует табор зеленый,

И к брюху мостов подкатила вода,
И все, как тогда, и все, как тогда.

Все ясно — кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово поле,

И в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино.

Мы заняты странным с тобой разговором,
Уже без проклятий, уже без укоров...

Там я попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец — дурной человек.

1944 г.

Шереметьевский дом. Лето.

* * *

Нет, это было не со мной.
С тех пор прошли тысячелетья,
И смыло шумною волной
Все то, за что была в ответе.

И все минулось. Как в чаду,
В водовороте дней безликих.
Опять сквозь сотни лет пройду.
Ловить мелькающие блики.

1/XI 1961 г.

МАРТОВСКИЕ ЭЛЕГИИ

1

Если бы ты музыкой была,
Я тебя бы слушал неотрывно
И светлел бы мой померкший дух.

Если бы звездою ты была,
Я в окно глядел бы до рассвета,
И покой бы в душу мне вошел.

Если б ты была моей женой,
Сразу б я тебя возненавидел,
Проклял трижды и навек забыл —

И безмерно счастлив был с другою.

* * *

Но она не это и не то
И не третье...
Что же делать с нею?

* * *

Это с тобой я встречала тогда
Первую старость.

4 февр. 1959

* * *

Все, кого и не звали, в Италии, —
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни света, ни воздуха нет,
Где под красными занавесками
Все навек повернулось вверх дном

.....
.....
.....

Крутолобых Христовых невест.
Под святыми и вечными фресками
Не пройду я знакомым путем
И не буду с леонардесками
Переглядываться тайком.
Никому я не буду сопутствовать,
И охоты мне странствовать нет...
Мне к лицу стало всюду отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

МУЗЫКА

Д. Д. Шостаковичу

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она сама со мною говорит,
Когда другие подойти боятся,
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.
Она ко мне приходит и во сне,
Я сразу узнаю ее дыханье,
А рядом, в восстающей тишине
Тогда такое черное молчанье.

1957—1958

ЕЩЕ ТОСТ

За веру твою! И за верность мою!
За то, что с тобою мы в этом краю!
Пускай навсегда заколдованы мы,
Но не было в мире прекрасней зимы,
И не было в небе узорней крестов,
Воздушной цепочек, длиннее мостов...
За то, что все плыло, беззвучно скользя.
За то, что нам видеть друг друга нельзя.
За все, что мне снится еще и теперь,
Хоть прочно туда заколочена дверь.

1961—1963

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ СТРОКИ

Мой городок игрушечный сожгли
И в прошлое мне больше нет лазейки.
Там был фонтан, зеленые скамейки,
Громада парка царского вдали.
На масленой — блины, ухабы, вейки...
В апреле запах прели и земли,
И первый поцелуй...

* * *

Что? — тебе уже мало по-русски,
И ты хочешь на всех языках
Знать, как круты подъемы и спуски
И почему у нас совесть и страх.

1962 сент. Комарово.

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Марина ушла в заумь. См. „Поэму воздуха”. Ей стало тесно в рамках Поэзии. Она — *dolphinlike*, как говорит у Шекспира Клеопатра об Антонии. Ей было мало одной стихии, и она удалилась в другую или в другие. Пастернак — наоборот: он вернулся (в 1941 г. — Переделкинский цикл) из своей пастернаковской зауми в рамки обычной (если поэзия может быть обычной) Поэзии. Сложнее и таинственней был путь Мандельштама. Душа его была полна всем, что свершилось. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово *н а р о д* не случайно фигурирует в его стихах.

„*Pro domo mea*” скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одереженевшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. „Знакомить слова”, „сталкивать слова” — ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит, как банальность. Есть другой путь — точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда

это удается, люди говорят: „Это про меня, это как будто мною написано”. Сама я тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагодарнее.

Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда — совсем легко, а когда не диктует — просто невозможно.

...Легкая метель. Спокойный, очень тихий вечер. Т. ушла рано — я все время была одна, телефон безмолвствовал. Стихи идут все время, я, как всегда, их гоню, пока не услышу настоящую строку. Весь декабрь, несмотря на постоянную боль в сердце и частые приступы, был стихотворным, но „Мелхола” еще не поддается, т. е. мерещится что-то второстепенное. Но я ее все-таки одолею.

Общеизвестно, что каждый уехавший из России увез с собой свой последний день.

Недавно мне пришлось проверить это, читая статью di Sarra обо мне. Он пишет, что мои стихи целиком выходят из поэзии М. Кузмина. Так никто не думает уже около 45 лет. Но Вячеслав Иванов, который навсегда уехал из Петербурга в 1912, увез представление обо мне, как-то связанное с Кузминым, и только потому, что Кузмин писал предисловие к моему „Вечеру” (1912). Это было последнее, что Вячеслав Иванов мог вспомнить, и, конечно, когда его за границей спрашивали обо мне, он рекомендовал меня ученицей Кузмина. Таким образом у меня склублился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чьем-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, с моей истинной судьбой и т. д.

Невольно напрашивается вопрос, сколько таких двойников или оборотней бродит по свету и какова будет их окончательная роль.

...Среди этих приемов (не слишком добросовестных) обращает на себя внимание один: желание из всего написанного выделить первую книгу („Четки”), объявить ее *livre de chevet* и тут же затоптать все остальное, т. е. сделать из меня нечто среднее между Сергеем Городецким („Ярь”), т. е. поэтом без творческого пути, и Франсуазой Саган — „мило откровенной” девочкой.

Дело в том, что „Четки” вышли в марте 1914 и жизни им было дано два с половиной месяца. В то время литературный сезон кончался в конце мая. Когда мы вернулись из деревни, нас встретила — Война. Второе издание понадобилось примерно через год, при тираже одна тысяча экземпляров.

С „Белой стаей” дело обстояло примерно так же. Она вышла в сентябре 1917 года из-за отсутствия транспорта не была послана даже в Москву. Однако второе издание понадобилось через год, т. е. ровно так же, как „Четки”. Третье напечатал Алянский в 1922 году. Тогда же появилось берлинское (четвертое). Оно же последнее, потому что после моей поездки в Москву и Харьков в 1924 году (...) меня перестали печатать. И это продолжалось до 1939 года. (...)

Уже готовый двухтомник издательства Гессена („Петроград”) был уничтожен, брань из эпизодической стала планомерной и продуманной (Лелевич в журнале „На посту”, Перцов в „Жизни искусства” и т. д.), достигая местами 12 баллов, т. е. смертоносного шторма. Переводы (кроме писем Рубенса, 30-й год) мне не давали. Однако моя первая пушкинистская работа („Последняя сказка Пушкина”) была напечатана в „Звезде”. Запрещение относилось только к стихам.

Такова правда без прикрас. И вот что я узнаю теперь о себе из зарубежной печати. Оказывается, после революции я перестала писать стихи совсем и не писала их до сорокового года. Но отчего же не переиздавались мои книги и мое имя упоминалось только в окружении площадной брани? Очевидно, желание безвозвратно замуровать меня в 10-е годы имеет неотразимую силу и какой-то для меня непонятный соблазн.



БОРИС ПАСТЕРНАК

Борис ПАСТЕРНАК

РЕМЕСЛО

Это стихотворение Б.Л.Пастернака не вошло ни в один из сборников. Беловой автограф этого неопубликованного стихотворения был обнаружен Г.Суперфином в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в альбоме литературоведа П.Н.Медведева. "Ремесло" написано, по-видимому, во второй половине 1920-х годов. Стихотворение печатается с сохранением пунктуации оригинала.

Стихотворение это попало в руки Лидии Леонидовны Пастернак-Слейтер летом 1970 года, когда она навещала своих родственников в Москве. Стихотворение Б.Пастернака осталось неопубликованным. Лидия Леонидовна передала его для альманаха "Часть речи".

Публикация В.ПОЛУХИНОЙ

Когда я, кончив, кресло отодвину,
Страница вскрикнет, сон свой победа.
Она в бреду, и спит наполовину
Под властью ожиданья и дождя.

Такой не наплетешь про арлекинов.
На то поэт, чтоб сделать ей теплой.
Она забылась, корпус запрокинув
Всей тяжестью сожженных кораблей.

Я ей внушил в часы, за жуть которых
Ручается фантазия, когда
Зима зажжет за окнами конторок
Зеленый визг заждавшегося льда,

И циферблаты банков и присутствий,
Впивая снег и уличную темь,
Зайдутся боем, вскочат, потрясутся,
Подымут стрелки и покажут семь,-

В такой-то темной памяти событий
Глубокий час внушил странице я
Опомниться, надеть башлык и выйти
К другим, к потомкам, как из забытья.

ПИСЬМА К РОДНЫМ

17.5.1912.

Моя дорогая вдумчивая Жоничка!¹

Теперь я знаю, кому я больше всего буду писать. Тебе так нравится гадать о красках, о свежести, о тишине, о случайных звуках и о том, как все это переплетено в душе человека. Я и сам когда-то находил самое глубокое и утомляющее наслаждение (как прогулка, после которой устаешь и весь в глине) в том, чтобы "представить себе". Я люблю писать как раз такие письма, как то, которое ты мне послала. Мне казалось, что только это и есть настоящее, что — воображение; и что все остальное только заводное, как игрушечные поезда с круглыми рельсами. Такие глупые поезда, с колесами, свистком, паром и вагонами — и все понапрасну: потому что самое интересное в железной дороге то, что она заворачивает и не оканчивается — отсутствовало у этих поездов.

Да, так значит удивительное и таинственное и свежее умеет подбирать только воображение, странствующее по своим догадкам. Твое письмо ужасно напомнило мне самого себя. Хотя я писал далеко не так хорошо, как ты. Ты замечательно верно и живо чувствуешь "субъективное" во всевозможных его состояниях. Рассеянность, затерянность среди города, который для тебя только сейчас в это холодное, в это так расположившееся утро только и начал существовать, переключку с вокзалом, который вдруг подсказывает тебе твое происхождение — все это ты воссоздала прямо поразительно. Ты воображай и дальше, другие местности и другие времена, зас-

тавай не одного человека с колодцем и ратушей за плечами, а двух, или трех, или целое войско ночью в болотах, или не людей, а, например, один пожар, или целый месяц, охваченный одним беспрерывно шумящим дождем. Застань их и подслушай. Или дай им застать себя. И пиши, ты должна писать, Жоничка. Только пиши правду, правду. Как ты видишь их, а не так, как говорят, когда говорят о том, что видят. Не подделывай. Ты, может быть, уже усвоила себе некоторое умение как бы садиться в слова или фразы, которые везут непременно в тонко подмеченное и необычное, как линейки, отвозящие в праздник в определенные деревни здесь. Не делай этого. Не имей заготовленных неожиданностей. Это ведь скучнее арифметических задач. Окружающие не замечают этого вначале, и ты можешь достигнуть некоторого значения этим. Но ведь не в этом дело. Да это и не нужно тебе; в твоём письме есть бесспорные признаки того, что много сказочно правдивого войдет в твой кругозор, если ты будешь держать его в чистоте. Эти видения не только упадут в твои зрачки, они должны выпасть над ними, как должен выпасть снег над северными землями. Потому что они-то, эти нерассказанные последования темных и пестрых предметов, создали глаза такими, на них держатся они, как солнце на стрекозах, а не наоборот. Мне хочется еще раз сказать тебе это: вглядывайся в свое прошлое и в свои фантазии; правду о них трудно, страшно трудно сказать; не кажется ли тебе, что правдиво сочиненное отличается от действительности так же, как оброненная, лежащая на улице вещь (например, кошелек или номерок от собаки, или квитанция) от тех, которые на местах, у владельцев. Эти утерянные и только они суть настоящие вещи. Ими владеет не карман, а кто-то живой, мечущийся по шкафам, расспрашивающий прислугу и телефонирующий знакомым. И вот вокруг того, что подбирает воображение, мечется чья-то, потерявшая все это жизнь. Райнер Мария Рильке называет его Богом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жоничка — Жозефина Леонидовна Пастернак, сестра поэта.

21.7.21.

Дорогая моя Жонюрочка!

Не обижайся, что я тебе еще ни разу не написал. Писал, да вдался в непозволительные гм... глубины, и, словом, получился гемоглобин. А ты прямо чудесные письма писала, пока что — из вагонов.¹ О прелести их — ниже, а надо тебе знать, что получились тут только те письма, которые ты, за неимением более верного, на твой справедливый взгляд, пути, — воленс неволенс² — опускала в почтовый ящик: представительство ни в Нов.Иерусалимах, ни в Вержбовах нет, вот ты и доверила их почте: и представь — она функционирует до трогательности исправно, как и вообще, — очищающе и классически трогательно все то, что, как детали, окружает твой отъезд и переезд. Таким образом, да будет известно тебе, письмо и посылка, врученные в Риге проводнику, до нас не дошли, проводника разыскивали спустя рукава и не разыскали, я же более энергично, подумав о тебе, искать воздержался: — связан он с зарей первого твоего путешествия и остался дорог и мил, каким тебе в те первые сутки тут казался, несмотря на эту оплошность, простительную и понятную: посылка погибла из-за того, вероятно, шоколадного фарша, которым был начинен — книжный этот и печатный в остальном пирог; ну и мы не сердимся на него за это проявление непосредственности и сластолюбия. А Эглит³ очень помнит тебя, кланяется и просит сказать, что посылки, если захочешь, что послать, так как по почте сомнительно, да и не примут, посылай в Наркоминодел на его имя с передачей (приписка на адресе) — нам; я ему телефон наш сказал, и если что будет, позвонит. А письма заказными, по почте простым и верным путем. Зовут его Роберт Андреевич. Он очень, очень мил. А *propos des voisins*: если что слать, то книги, — а так, не траться, и, милая, сострадательного сердечка не труди. Мы неожиданно тут немножко развернулись. Материально. Нельзя только сказать на большой ли срок.

А письма у тебя изумительные. В день твоего отъезда, Люси,⁴ на черте Виндавского перрона понял я, что

стихия чудесного омывается морем эпически волнуящего умиления, что это море бездонно, а не потрясающе, что оно почти безмолвно, а не оглушающе, что чудо лепечет и не договаривает, а не гласит и не пророчествует, что чудо провожало с пригоров твоих пронесившийся поезд, что оно встретило и приютило тебя в Риге, что, наконец, каждая твоя строчка была чудесна, поскольку она передавала ту стихию, в которой купалась и купаешься ты, и ты пребываешь в жестком заблуждении, думая, что как-нибудь уместны твои извинения, когда на твоих глазах эти газы чудесности вытесняют все чужое, — дела и факты, Башкировых⁵ и чистый разум. Неуместны последние, неуместны и извинения.

К примеру, — Башкиров. Нимало неинтересно мне, хорошо или плохо исполнила ты мое, — допустим теперь, — поручение.⁶ И если интересно как, то лишь в меру того, что на своем пути, диккенсондальная комета, ты на час или десять минут вошла и в горизонт этого человека, что тебя видели и на Николаевской,⁷ тебя и хвост твоих в нашей жизни, — чудес. Порученье, говоришь ты? Но тогда, поручая накануне, разве знал я, что ты назавтра напомнишь нам о жизни, и маме — о здоровье; и далее, через день — о природе и еще через другой — о невымысленности бывшего войны и о невымысленности мира; и потом — об исполнимости лучших фантазий, — и сначала до конца о существовании фактов как принципиальных чудес, если подходить к ним с верой и не отмахиваться от вещей и людей, их окружающих. И вот, все это сделала ты, чудотворица. Ты помнишь, Люси, то место, где по поводу твоей поездки из города в город его прорывает в дилижансе несколько раз сразу фразой: "Возвращен, возвращается, возвращается к жизни".

Это все точка в точку та самая атмосфера чудесной сердечности (незаложенных ушей и снятого с трудпайка воображения-сострадания), *de qua* у нас с тобой *res agitur*. И вообще, эта Повесть, как она изумительным своим духом подыгрывает всему, что, пережив, ты заставила, — и это главное, — нас пережить. По-своему, каждый из нас — д-р Манет.⁸ Папа и я прежде всего. Пассивный и величавый в своем неведении о собственном

страдании, величавый в своем беспомощном бесплодии стук молотком по башмаку: у того — кистью по сов-портрету, у этого — пером по совстиху. По-своему Манеты и мама и Шура. Лида,⁹ кажется, по молодости — пощажена. Что я под этим разумею? Механизацию привычки, низведение профессии или семейной роли до шарниров умопомешательства, безмолвие мысли относительно заочного факта, превращающегося в пустое слово, бессердечную глухоту к его значению. Или мы не знали, что было на тех полях, и что это было в действительности? И вот, ты отымаешь у нас этот злостный молоток из рук и выносишь за дверь привычную колодку. Произошло это не сразу. Прошла неделя и другая, пока сказалась твоя психиатрическая роль. Ко мне вернулся смех. Я опять знаю, что есть барьеры, которые существуют для того, чтобы, оглянувшись, по взятии их, любоваться их низостью. Это ты несешь и сыплешь мне деньги. Если злостная тяга к молотку не одолеет старой башмачницы, мама проулыбается в этот период больше, чем за всю прочую Волхонку¹⁰ и часть Мясницкой.¹¹ Если тяга к колодке не повысит в глазах старого башмачника на минуту пошатнувшихся цен на "житейскую мудрость" и "здравый смысл", закон смертной угрозы, страхом коего направлялись все поступки и планы, уступит место законам живой веры в жизнь, которая так оказалась легка, прекрасна и надежна на твоём примере. Ах, дорогая моя, все это я уже знал раз и назвал это чудо. Это-то ведь и есть Сестра моя жизнь.

И ради Бога, не настраивайся, *per usum epistolarem*, на сухой и информирующий лад; не предательствуй в тоне ради сообщения фактов, ради информации, пока пары чудесности, которыми дышишь ты и твои строки, не осажжены и, капля по капле, не слились с потоком жидких фактов, истинное происхождение которых — таково же. Очень скоро у тебя наступит время, когда твое прямое и отчетливое возвращение из какой-нибудь университетской канцелярии домой, по улице, утерявшей задушевность новизны, или задумывание немецких дел на завтрашний немецкий день переместит сферу чудесного и в эту объективную плоскость, и тогда и цены, и уклад берлинской жизни, и новые послевоенные соотношения будут рассказаны тобою как деятелем, а не как

доглядчицей, то есть паробразно, с сохранением той душевной соразмерности, какую меня поражают твои сообщения. Есть умствования. Существует бессодержательность. Схематизм. Дневники в духе... чтобы сказали, — Амиеля¹². Целые гр.Гаррахи¹³ эмоциональных соусников и глубоких и глубочайших тарелок, блещущих своей фарфоровой белизной и — ожидающих наполнения, которое согреет их ледяной, и пустой, и бессмысленный смысл. Все это достойно насмешливого отвращения. Все это не то. Твоя же, кажущаяся тебе "беспочвенность" и "газообразность" — материальна, химична; она дает нам в душевно распушенной форме основной состав действительности, о котором ты прямо не говоришь, и мы властны распорядиться присланным и материю воссоздать; и, как сказано, у нас является вкус к рельсам, глаз на Латвию, уши для Берлина. А пока, о чем фактическом писать тебе сюда, когда два доклада, которые, наверное, делала ты у Гозиасонов,¹⁴ а потом у Розенфельдов¹⁵ и Феде, разве это не торчком ставшие страницы той же "Повести", разве это не тот же роман; и разве, в этой еще стадии новизны — обстановка твоих рассказов, эти комнаты, полные разинутых ртов и вещей, и окна, полные шумящих городов и жизней, эти факты, интересные нам, разве покамест еще они не декорации только, — державшихся тобою речей о пережитом тобою и нами. И они — газ, газ, газ пока.

Так не бойся же быть субъективной, пока это — единственная объективность для нас и тебя. Сохранив ту же выказанную тобою душевную симметричность, ты станешь воистину объективной, когда объективность станет твоей собственностью, и ее тебе не придется занимать. Present, употребляющийся в письме, относится к поре твоего въезда в Берлин. Для тебя он уже давно устарел.

И как раз сейчас ты, вероятно, уже занялась перегонкою фактов, тем, что стоит у меня в futur'e, — объективностью. Пиши же и о ней, если это так. Если это так, то и тебе о ней говорить будет любо, так как и это ("трамваи в Берлине, дорогие мои... или, что же касается до высших школ, или ... к России относятся тут") — будет исповедью.

Когда я жил в Тихих Горах,¹⁶ меня раздражало все, что не говорило о Волхонском¹⁷ здоровье, о знакомых, о том, что работает папа и как идет ваше ученье. Мое письмо неизбежно раздосадует тебя, как бы ты себя и меня ни обманывала. Вместо хлеба я даю тебе литературу. Это уж такое правило, что в подобных случаях проза семейных сообщений и пережевывание изжеванного обихода оценивается на вес золота. В разлуке это-то и хочется жевать. Но я позволил себе огорчить тебя для того, чтобы правило это тебя с толку не сбило. Чтобы ты не подчинила себя ему. Есть из него исключения. Таков твой случай. Пиши свободно, Божья коровка, о том ли, как ползается тебе, или о том, что ползает у тебя в головке. Я хотел много и хорошо написать Феде.¹⁸ Я душу тебя в объятьях, мой дорогой. Ну, не гамсуновские ли мистерии вся эта история?

И еще, Жоня. Я думаю, что сказанное мною сегодня отвечает тому, что чувствуем мы все. Я дам им письмо на прочтенье. Это лучшее, что я мог тебе сказать; и оно сказано наихудшим образом, то есть торопливо, без пауз, — а ведь это, ты понимаешь, тема для трактата. Скоро напишу о себе и о них. А с этой темой (Люси возвращается) следовало разделаться.

Крепко люблю тебя,

Борис.

ПРИМЕЧАНИЯ

(сделаны Ж.Л.Пастернак)

1. Из вагонов — я ехала из Москвы в Ригу, оттуда в Берлин.
2. Воленс неволенс — шуточное выражение, употреблявшееся вместо латинского *volens nolens*.
3. Эглит — не помню этого имени, но думаю, что это один из служащих Наркоминодела, с которым мне приходилось там встречаться, когда я получала заграничные визы.
4. Люси — Боря обращался ко мне, как к героине романа Диккенса "История двух городов". Как раз в 1920/21 году Борис принес эту книгу (в русском переводе), и все в доме читали ее. Боря восторгался ею. Восторгался и отец, отец говорил: "Какая жалость, что я не знал этой книги, когда, бывало, разговаривал с Л.Н.Толстым: он так любил Диккенса, но и он ни разу не упомянул о "Двух городах", по-видимому, не читал ее".
5. Башкиров возглавлял какое-то русское издательство в Риге. А может быть, был представителем в Риге какрго-нибудь русского издательства в Берлине.
6. Не помню Бороного поручения.
7. На Николаевской — родственники, у которых я остановилась в Риге, по-видимому, жили на Николаевской улице.

8. д-р Манет — герой повести "История двух городов".
9. Лида — младшая сестра.
10. Мы жили на Волхонке, 14, кв.9.
11. До этого мы жили на Мясницкой (теперь Кировская).
12. Дневники в духе... чтобы сказали, — Амиеля. — Вся эта фраза, то есть ее синтаксическое построение, мне непонятна. Что же до Амиеля, то в книге Толстого "Недельное чтение", — мысли на каждый день, — встречаются цитаты из Амиеля.
13. гр.Гаррахи — имеется, вероятно, в виду фирма (графов?) Гаррахов — хрустали и фарфора.
14. Гозиасоны — родственники в Риге.
15. Розенфельды — друзья в Берлине.
16. Тихие Горы — место на Урале, где Борис жил и работал на химических заводах Ушаковых зимой 1916-1917 гг.
17. ...о Волхонском здоровье — то есть о здоровье нашей семьи, жившей на Волхонке.
18. Федя — Федор Карлович Пастернак, троюродный брат Б.Л.Пастернака, мой муж.

15. X.28.

Жоничка, дорогая моя!

Нельзя по прошествии года отделяться листком, больше которого я сейчас никак не смогу написать тебе, но будь что будет, лучше и так. Перестань поминать свои испытанья, знаю и представляю себе, как они были горьки и серьезны, но кто из нас не болен, и, если бы я только рассказал тебе, до чего у меня многое, в том же роде, дошло! — Но ни слова об этом, ни о моем, ни о твоём. Здоровье все же так радостно! И если даже мы не из тех, что купаются в нем по предназначению, все равно, ванны эти где-то стоят, стоят и для нас. Рви порою с логикой сердца, с последовательностью задатков и гаданий, сбрасывай лучшее свое достояние, как платье, и точно в шутку, открывай краны смежных возможностей, окунайся в них: может быть, вовсе и нет счастливых, может быть, и все — в твоём положении, то есть может быть, и всем счастье казалось бы не своим, не натуральным, если бы в этом желали разбираться. Живи вне очереди, раз очередным порядком, едва не разбившись в лепешку, ты ничего от мира не добила, кроме заработка для врачей. И опять на этом нажилась все та же семейственность, доходы которой как раз-то и надо было умерить! Ты думаешь, я папу и маму и Федю, и всех нас люблю меньше твоего? Или что я серьезно же-

лал бы взорвать всех? Напротив, я убежден, что когда-нибудь и ты под тем же паровым колпаком будешь держать Аленушку,¹ и, может быть, я мысленно и к ней в этом письме обращаюсь. Но что поделаешь, в противоречиях жизнь. Все дело в уровне, где они расположены. Легче, конечно, тем, у кого они вынесены ближе к поверхности: в быт, в так называемые убеждения, или во что-нибудь еще. Но ей-Богу, их положение глупее, и, может быть, они охотно переместили бы свои полюса глубже, в корень и в кровь, как у тебя. Прости мне эту затянувшуюся проповедь, и не ищи в ней смысла. Я хотел вызвать у тебя улыбку и не вызвал. Допустим, что эта неудача единственная неприятность, случившаяся со мной и доставленная тебе за все последнее время, так лучше будет, и позволь расцеловать тебя и поздравить с первым приступом молодой находчивости: с тем, что ты произвольно, с достаточным запасом пороха объявляешь себя выздоровевшей и возобновляешь переписку с миром. А вне этого живого произвола у людей одаренных нет ничего, в нем только и сила их, да, может быть, и всех. Федя, дорогой, люблю и верю в тебя и всех вас троих целую.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Аленушка — Елена Федоровна Пастернак, дочь Жозефины Леонидовны.

22.4.33.

Дорогой папа!

Большое спасибо за твою сегодняшнюю открытку и за предыдущую. Господин и госпожа Ст.¹ видели меня у Шуры² в день их отъезда, и госпожа, которая уезжает в Берлин на следующей неделе, расскажет вам об этом.

Г-н Ст. навел здесь справки, касающиеся произведений, достойных быть переведенными, по мнению издателя; после получения этих сведений у меня появилась возможность заработать некоторую мелочь в виде аванса на переводческие права (замаскированный подарок?).

Я отдал его Зине,³ потому что другая сумма, нес-

колько большая, мне была передана под видом долга г-на Ст., тебе (долг воображаемый, я уверен), который я намерен был разделить пополам между Женей⁴ и Шурой. Шура, который делает вид, что он единственный, кто знает планы (махинации?) г-на Ст., присвоил всю эту сумму как принадлежащую ему. Таким образом, Женя ничего от меня не получила из-за этого недоразумения и ничего об этом не знает и не будет знать. Именно поэтому я особенно тепло благодарен тебе за твой новый подарок им, о котором ты пишешь в твоей недавней открытке. Также не забудь, пожалуйста, поблагодарить г-на и г-жу Ст. за их любезность и щедрость в отношении вас.

Не сердись на Шуру и Женю за их продолжающееся молчание: их теперешнее воздержание более извиняемо, чем это было раньше. Они прекрасно себя чувствуют, так же, как и я, и Зина, и все мы.

Маленький Женечка⁵ обожает тебя. "Дедушка" — это почти бог для него, высший и недостижимый авторитет. Он никогда не бывает у меня. До сих пор ничего не изменилось в женском деле — они игнорируют друг друга.

Обнимаю маму и тебя, и всех вас, и бедного Федю⁶ от всего моего существа, самым нежным образом. Я не имею никаких опасений за вас и страдаю только от нашей разлуки.

Судьба человеческая не становится легче, количество несчастий не уменьшается; почти все время мне приходится разделять страдания того или другого несчастного. Я теряю время в ходатайствах и почти не работаю.

Нелепость состоит в том, что я пишу тебе на таком скверном, даже безграмотном, французском не только потому, что я весьма подзабыл немецкий, но и по другим обстоятельствам. В эти времена возвышенной презумпции язык последней книги Рильке "Le Verger" вызывает воспоминания о великой его скромности, скромности гения. Я упрекаю себя в том, что я забыл язык, который я так любил, но не огорчайся из-за этого. Скажи мне, можно ли мне писать по-русски: по-немецки мне будет стыдно за каждую ошибку. Прости меня за это письмо, глупое и бессодержательное.

Горячо вас обнимаю,

Боря.

Перевод с французского Валентины Полухиной

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ст. — имя этого господина установить не удалось.
2. Шуря — Александр Леонидович Пастернак, младший брат Б.Л.Пастернака.
3. Зина — Зинаида Николаевна, вторая жена Б.Л.Пастернака.
4. Женя — Евгения Пастернак (Лурье), первая жена Б.Л.Пастернака.
5. Женечка — Евгений Борисович — старший сын Б.Л.Пастернака от первого брака.
6. Федя — см.примеч.18 к письму от 21.7.21.

Издательство "Серебряный век" пользуется случаем выразить свою благодарность Жозефине Леонидовне Пастернак за подготовку к печати писем Б.Пастернака.

15. X. 28.

Моя мама, дорогая моя!
Нельзя по чужестранной воле,
отделяться от мамы,
болше которой я сейчас
никак не смогу написать
тебе, но дух, дух души,
лучше и так. Перестань
пожимать свои плечики,
знаю и представляю себе,
как они были горюхи и
серьезны, но кто из нас,
не болел, и если бы я только
рассказал тебе, до чего
у меня много, в твою
те же пере, дошло! - Но ни
слова об этом, ни о моем
ни о твоём. Здоровье все
те так радостно! И если
даже мы не из тех, кто
курявится в нем по ксерна-

Факсимиле письма Б.Л. Пастернака



МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Марина ЦВЕТАЕВА

ИЗ АЛЬБОМА

Публикуемое стихотворение посвящено гимназической подруге М.Ц. — Наталии Гучковой, позднее вышедшей замуж за известного русского философа Г.Г.Шпета. Печатается по машинописной копии из архива Ариадны Эфрон, хранящегося в ЦГАЛИ.

А.С.

Проснулась улица. Глядит усталая
Глазами хмурыми немых окон
На лица сонные, от стужи алые,
Что гонят думами упорный сон.
Покрыты инеем деревья черные,
— Следом таинственным забав ночных,
В парче сияющей стоят минорные,
Как будто мертвые среди живых.
Мелькает серое пальто измятое,
Фуражка с венчиком, унылый лик
И руки красные, к ушам прижатые
И черный фартучек со связкой книг.
Проснулась улица. Глядит, угрюмая
Глазами хмурыми немых окон.
Уснуть, забыться бы с отрадной думою,
Что жизнь нам грезится, а это сон! —

1908

Meudon (S. et O.)

2, Av. Jeanne d'Arc

18^{me} мая 1931г.

Дорогой Сашенька! Мофно би естакиме истреки
и оубреламе вое оть иффидели: и швети - с ирмек
паволам - блажи (ир милоам, Валентина Дие
молодееши, и славетни Димитри - блажи Шови
босла Шовелера. Краска (блажи, а не босла!)
и кифно ка-Дием ја нево ил ашотам.

Варая фалоеши, тато вое ка верзот не
будети, иво - Христом Богом, чисело: во 30^{ме}
киселу не слова - читати мфу:

История ебнаго иоелвцекис

- шо-елай:

" Чупфана мей иривоелвече в Давидий дуги,
жалур ја море" - рарбор и аффели буман -
шо-фур ^{ио ивердия} мей воем - и, квалоту уфе французей
муро - што эво шале?

Пелайное - болвое - квал. шо вугуаеке

и:

Вон оуриелити Россис
Кеш мурем черном и мучкам

Факсимиле письма М.И.Цветаевой

ПИСЬМА К С. АНДРОНИКОВОЙ-ГАЛЬПЕРН

Вступительная заметка, публикация и примечания Валентины ПОЛУХИНОЙ

Саломею Николаевну Андроникову-Гальперн любители русской поэзии знают как "Соломинку" Манделъштама. К ней обращено и другое, менее известное, стихотворение Манделъштама "Мадригал" (1916 г.):*

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена.
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!**

Близкая приятельница многих известных русских поэтов и художников, Саломея Николаевна дружила с М. И. Цветаевой в течение тринадцати лет. Их познакомил кн. Д. П. Святополк-Мирский, увлекавшийся в то время Мариной Ивановной, где-то в

* О. Манделъштам. Стихотворения, Сов. писатель, Л, 1974, стр. 272.

** С. Н. Андроникова – по матери Плещеева, по отцу Андроникашвили. Род князя Андроникашвили пошел от Андроника I Комнена, который был одним из последних императоров (1183–1185) из византийской династии Комненов – Κομνηνοί (1081–1185).

1926 году он привел Цветаеву к Саломее Николаевне домой. Так началась одна из немногих прочных дружб Цветаевой. Последняя их встреча состоялась в 1939 году, в конце мая, накануне отъезда Марины в Россию. Саломея Николаевна жила тогда уже в Англии и, приехав в очередной раз в Париж, попрощалась с Цветаевой. Они встретились в маленьком кафе на Сен-Жерменском бульваре, куда Марина Ивановна пришла с Муром. Она говорила, что возвращается в Россию для того, чтобы дать сыну родину.

Саломея Николаевна, обладательница сорока семи, нигде раньше не опубликованных, писем М. И. Цветаевой, любезно согласилась дать два "нейтральных", как она выразилась, письма из своего архива для альманаха "Часть речи".

— Это по крайней мере нескромно, — говорит Саломея Николаевна в ответ на мои упреки в замалчивании такого сокровища, — публиковать письма, в которых никто другой, как сама Цветаева, осыпает тебя комплиментами и благодарностями. Но если вы найдете что-нибудь нейтральное, так и быть, берите.

Дело в том, что Саломея Николаевна в течение многих лет собирала деньги — "иждивение" — приблизительно 1000 франков в месяц, "накладывая" его на своих друзей и знакомых. Значительную часть этой суммы Саломея Николаевна давала сама.

— На Мирского накладывать не приходилось, — рассказывает Саломея Николаевна. — Первые годы он всегда давал сам по 100 франков в месяц, потом в один прекрасный день перестал давать. Постепенно люди "отваливались", и иждивение неизбежно уменьшалось.

Саломея Николаевна продолжала помогать Цветаевой, делясь с ней своим заработком. Дар дружбы она понимает по-цветаевски: "Друг — есть действие". В настоящее время Саломея Николаевна живет в Лондоне и несмотря на свои годы (в октябре ей исполнится 92), по-прежнему элегантна, обаятельна, исключительно отзывчива на все новое и талантливое, прислушивается к людям и отмечает условности.

Письма М. И. Цветаевой, написанные по старой орфографии, печатаются по новой, однако все знаки препинания и особенности правописания сохранены.

St. Pierre Rumilly (Hte Savoie)¹
Chateau d'Arcine — мне —

20-го сент. 1930 г.

Дорогая Саломея! Опять надоедаю Вам просьбой об иждивении (сентябрьском). (Перечла и подумала: а не похоже ли мое "надоедаю" на — помните? — письмо Ремизова к А. Я.² — "Зная Ваше доброе сердце...")

Дорогая Соломея, зная Ваше доброе сердце, еще просьба, даже две: 9-го окт. (26 сент. по старому) мой день рожденья — 36 лет — (недавно Але исполнилось 17), подарите мне по этому почтенному, чтобы не написать: печальному, случаю две пары шерстяных чулок, обыкновенных прочных pour la marche³ — хорошо бы до 9-го, ибо замерзаю. На 38—39 номер ноги. Это — первая просьба. Вторая же: если у Ирины⁴ есть какая-нибудь обувь ей ненужная, ради Бога — отложите для Али. Горы съели все, т. е. и сандалии и башмаки, а наши дела таковы, что купить невозможно. Аля носит и 38 и 39 и, по желанию, 40-вой, преимущественно же 39-й. Так что, если что-нибудь освободится и еще держится — не отдавайте никому. На ressemelage⁵ мы способны.

— Кончила Молодца, — последняя чистка. Теперь нужно думать — куда пристроить. Написала встречу Маяковского с Есениным — (стихи)⁶.

Да! Забавная история: письмо от Оцупа — редактора "Чисел"⁷ — с просьбой о пяти стихотворных автографах для пяти тысячефранковых экз. III книги. Я: "Автографы либо даю, либо продаю, а продаю 100 фр. штука". Ответ: "Числа бедны. Большинство сотрудников* работает бесплатно, не говоря уже о редакторах"*** — словом: д а в а й д а р о м.

Я: — Н а п р о д а ж у не дарю, — впрочем — вот вам "Хвала богатым" — хотите п я т ь р а з ?!

(...И за то, что их в рай не впустят,
И за то, что в глаза не смотрят...)

Убью на переписку целое утро (40 строк по пять раз, — итого 200) — хотя бы по франку за строку дали!

Но и покупают же "богатые" (Цейтлин,⁸ напр., Амари: mari de Mari: a Marie). Пущу с собственноручной пометкой

ХВАЛА БОГАТЫМ

(предоставленная автором для нумерованного экз. Чисел — безвозмездно). М н е — нравится! Но м. б. — откажутся. Тогда пропали мои 200 строк и рабочее

утро. Где наше не пропадало! Лист будет вклейкой. Кому не понравится — пусть выдержит.*

.....

Стипендия С. Я.⁹ кончилась, хлопочем о до — 1-го ноября, но надежды мало. Говорила о нем с д-ром: "Pour le moment je le trouve mieux, mais l'avenir c'est toujours l'inconnu".¹⁰ Знаю.

За все лето было три спокойных недели. Раз ездила в очаровательный Аннесу, здесь дешевое автокарное сообщение, но для меня это то же, что пароход в Англию. Был у нас Мирский — давно уже — два дня — дико-мрачен и молчаливей, чем когда-либо.

О С-чинских¹¹ не знаю ничего.

Обнимаю Вас, пишите о себе и не вините меня в ремизовстве.

М. Ц.

Meudon (S. et O.)
2, Av Jeanne d'Arc

18-го мая 1931 г.

Дорогая Соломея! Можно в спешном порядке попросить Вас об иждивении: шьется — с грехом пополам — платье (из бывшего, далеких дней молодости, к счастью длинного — платья вдовы посла Извольского.¹² Красного (платья, а не посла!) и нужно на днях за него платить.

Дикая жалость, что Вас на вечере не будет, ибо — Христом Богом, умоляю: до 30-го н и к о м у н и с л о в а — читать буду:

История одного посвящения¹³
— то есть:

"Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море" — разбор и сожжение бумаг — тоже по инер-

ции у меня дома — и сналету уже жгущей руки — что это такое?

Печатное — большое — кому-то высказанное

и:

Где обрывается Россия

Над морем черным и глухим.

II

Г. Александров Владимирской губ. Лето. Шестнадцатый год. Народ идет на войну. Я пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову. У меня в гостях Осип Мандельштам. — Эпизоды — (прогулка по кладбищу, страх быка (теленка) Мандельштам и нянька, Мандельштам и монашка и т. д.) — Отсюда из Крыма стихи:

Не веря воскресенья чуду...

III

Читаю газетную вырезку с описанием как, где и кому написаны эти стихи.¹⁴ Оказывается — очень хорошенькой, немного вульгарной женщине — врачу — еврейке — на содержании у армянского купца. В Крыму (вместо Коктебеля, места совсем особого, единственного, дан Крым, Ялта и Алушка) местное население показывает Мандельштаму свиное ухо. (NB! В Крыму! На добрую четверть состоящем из евреев!)

И так далее.

И вот строка за строкой — отповедь.

Заключительные строки:

— Не так много мне в жизни посвящали хороших стихов и, главное, не так часто вдохновение поэта — поэтом, чтобы мне это вдохновение уступать так даром, зря (небывшей) подруге (небывшего) армянина.

Э т у собственность — отстаиваю.

.....

Автора фельетона¹⁵ угадываете. Нужно думать — будет в зале. П о д е л о м.

Да, еще такая фраза:

— Если хочешь писать быль, знай ее. Если хочешь писать поэму — жди сто лет, либо не называй имен.

.....

Вот потому-то и жалею, что Вас, милая Соломея, не будет, ибо во 2-ой части дан ж и в о й Мандельштам и добро дан, великодушно дан, если хотите — с материнским юмором.

Очень, очень прошу — до вечера ни слова, пусть будет сюрприз.

Обнимаю Вас и люблю

М. Ц.

Пишите о жизни, здоровье, летних планах. Когда думаете в Париж?

18 мая 31.

Никто ничего не отнял, —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую Вас через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь —
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

.....

12-го февраля 1916 г.

Из Москвы в Петербург.

О. Мандельштаму — М. Ц.

(NB! Я не знала, что он — в о з в р а щ а е т с я).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Адрес пансиона на границе со Швейцарией в Альпах, где Сергей Эфрон находился в 1930 году в течение восьми месяцев на средства Красного Креста. О домике "над деревней, под самой горой", в котором М. И. Цветаева с семьей провела лето 1930 года, она упоминает в письме к А. Тесковой. Письма к А. Тесковой, Academia, Прага, 1969, стр. 83–84.

2. А. Я. – Александр Яковлевич Гальперн, муж Саломеи Николаевны.

3. Pour la marche – для ходьбы.

4. Ирина – дочь Саломеи Николаевны Андрониковой от первого брака.

5. Ressemelage – починка подошв.

6. Речь идет о цикле стихов "Маяковскому", написанных в Савоие в августе 1930 г. Впервые опубликованы в ж. "Воля России", кн. 11–12 за 1930 г. (См. также: М. Цветаева, Несобранные произведения, Мюнхен, 1971, стр. 964–971.)

7. "Числа" – журнал "незамеченного поколения" выходил с 1930 по 1934 г. под редакцией И. В. де Манциарли и Н. А. Оцупа, в котором Цветаева "терпелась на самой крайней периферии" (С. Карлинский).

8. Цейтлин – он же Цетлин, Михаил Осипович (1892–1945), основатель "Нового журнала", писал стихи под псевдонимом Амари, взятым им в честь своей жены Марии Самойловны, отсюда игра слов: *maî de Marie: a Marie.*

9. С. Я. – Сергей Яковлевич Эфрон.

10. Pour le moment je le trouve mieux, mais l'avenir c'est toujours l'inconnu – пока его положение улучшается, но будущее остается неизвестным.

11. С-чинские – П. П. Сувчинский и его первая жена В. А. Гучкова. Сувчинский, Петр Петрович (1892 –) – известный музыковед, был одним из редакторов евразийского журнала "Версты" (1926–1928).

12. А. П. Извольский (1856–1919) – государственный деятель, дипломат, был министром иностранных дел (1906–1910), затем царским послом в Париже (1910–1917). Его дочь Е. А. Извольская, литератор и переводчик, дружила с Цветаевой и написала о ней воспоминания ("Тень на стенах", сб. "Опыты", Нью-Йорк, 1954, № 3). М. И. Цветаева посвятила Е. А. Извольской свой очерк о Мандельштаме.

13. "История одного посвящения" – очерк о Мандельштаме, датированный Цветаевой: Медон, апрель–май 1931 г. См. воспоминания М. Л. Слонима ("Новый журнал", № 104, стр. 155–156), в которых он вкратце рассказывает о публикации "Истории одного посвящения".

14. Имеются в виду воспоминания Георгия Иванова, напечатанные в газете "Последние новости" от 22 февраля 1930 г.

15. Георгий Иванов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сэр Исайя БЕРЛИН

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ "ТАЙМС"

Саломею Гальперн, о чьей смерти на 94-м году жизни сообщалось на страницах вашей газеты от 12 мая, горячо

любили и уважали многие одаренные писатели и художники предреволюционного Петербурга.

Урожденная княгиня Андроникова, она родилась в 1888 году в Тифлисе. Отец ее был грузинским князем, мать — русская, племянница известного поэта Плещеева. Саломея Гальперн была близким другом поэтов — Николая Гумилева, его жены Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, а также Осипа Мандельштама, который обожал ее и посвятил ей одно из самых замечательных своих стихотворений. Ахматова, которая видела ее последний раз в Лондоне в 1965 году, говорила о ее замечательной красоте, уме и шарме, восхищалась ее острым критическим умом, ее безошибочным чутьем и тонким вкусом в литературе и искусстве.

Саломея Гальперн покинула Россию в 1919 году и жила в Париже, где пользовалась уважением в писательской среде, которую хорошо знала. Среди ее друзей были Алексей Толстой (который позднее возвратился в Советский Союз) и Илья Эренбург, а также Бунин и Алданов.

Саломея Гальперн была дважды замужем. Первый раз за Павлом Андреевым, от которого у нее родилась дочь Ирина, затем за Александром Гальперном, международным адвокатом, обосновавшемся после революции в Лондоне. Во время войны он представлял британские интересы в США в Нью-Йорке. В 1945 году Саломея Гальперн переехала в Лондон, где продолжала жить и овдовев. Она по-прежнему оставалась другом многих русских писателей и художников, как советских, так и эмигрантов.

Ее политические взгляды с возрастом стали более радикальными. Но иронию и блеск юмора, искренность и прямоту в беседах и разговорах Саломея Гальперн сохранила почти до конца своей жизни так же, как сохранила до конца жизни неподражаемый шарм, очарование и красоту.

Ее преданные друзья глубоко переживают ее смерть.

17 мая 1982. Лондон



ПОЭЗИЯ

Иосиф БРОДСКИЙ

ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

* * *

В твоих часах не только ход, но тишь.
Притом их путь лишен подобья круга.
Так в ходиках: не только кот, но мышь;
они живут, должно быть, друг для друга.
Дрожат, скребутся, путаются в днях,
но их возня, грызня и неизбежность
почти что незаметна в деревнях,
где вообще в домах роится живность.
Там каждый час стирается в уме,
и лет былых бесплотные фигуры
теряются — особенно к зиме,
когда в сених толпятся козы, овцы, куры.

1963

* * *

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидел, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.

Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

1962

* * *

Все чуждо в доме новому жильцу.
Поспешный взгляд скользит по всем предметам,
чьи тени так пришельцу не к лицу,
что сами точно мучаются этим.
Но дом не хочет больше пустовать.
И как бы за нехваткой той отваги
замок, не в состояньи узнавать,
один сопротивляется во мраке.
Да, сходства нет меж нынешним и тем,
кто внес сюда шкафы и стол и думал,
что больше не покинет этих стен,
но должен был уйти; ушел и умер.
Ничем уж их нельзя соединить:
чертой лица, характером, надломом.
Но между ними существует нить,
обычно именуемая домом.

Октябрь 1962

ИЗ „СТАРЫХ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН”

1

Заспорят ночью мать с отцом.
И фразы их с глухим концом
велят, не открывая глаз,
застыть к стене лицом.

Рыдает мать, отец молчит.
И козодой во тьме кричит.
Часы стучат над головой,
и в голове — стучит ...

Их разговор бросает в дрожь
не оттого, что слышишь ложь,
а потому, что — их дитя —
ты сам на них похож:

молчишь, как он (вздохнуть нельзя)
как у нее ползет слеза.
„Разбудишь сына”. — „Нет, он спит”.
Лежит, раскрыв глаза!

И слушать грех, и грех прервать.
Не громче, чем скрипит кровать,
в ночную пору то звучит,
что нужно им и нам скрывать.

.....
.....

4

Зимняя свадьба

Я вышла замуж в январе.
Толпились гости во дворе,
и долго колокол гудел
в той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,
видна дорога в два конца.
Я посылаю взгляд свой вдаль,
и не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.
Жених мой на меня глядит.

И столько свеч для нас двоих!
И я считаю их.

1963

* * *

Огонь, ты слышишь, начал угасать.
А тени по углам — зашевелились.
Уже нельзя в них пальцем указать,
прикрикнуть, чтоб они остановились.
Да, воинство сие не слышит слов.
Построилось в каре, сомкнулось в цепи.
Бесшумно наступает из углов,
и я внезапно оказался в центре.
Все выше снизу взрывы темноты.
Подобны восклицательному знаку.
Все гуще тьма слетает с высоты,
до подбородка, комкает бумагу.
Теперь исчезли стрелки на часах.
Не только их не видно, но не слышно.
И здесь остался только блик в глазах,
застывших неподвижно. Неподвижно.
Огонь угас. Ты слышишь: он угас.
Горячий дым под потолком витает.
Но этот блик — не покидает глаз.
Вернее, темноты на покидает.

1962

* * *

Что ветру говорят кусты,
листом бедны?
Их речи, видимо, просты,
но нам темны.
Перекрывая лязг ведра,
скрипящий стул —
„Сегодня ты сильней. Вчера
ты меньше дул”.
А ветер им — „Грядет зима!”
„О, не губи”.

А может быть — „Схожу с ума!”
„Люби! люби!”
И в сумерках колотит дрожь
мой мезонин...

Их диалог не разберешь,
пока один.

* * *

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.
Древесные угли чуть-чуть искрились.
Но мысли о зиме, о всей зиме,
каким-то странным образом роились.
Какой печалью надо обладать,
чтоб вместо парка, что за три квартала,
пейзаж неясный долго вспоминать,
но знать, что больше нет его; не стало.
Да, понимать, что все пришло к концу.
тому назад едва ль не за два века, —
— но мыслями блуждать в ночном лесу
и все не слышать стука дровосека.
Стоят стволы, стоят кусты в ночи.
Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.
Луна горит, как здесь огонь в печи,
и жжет стволы. Но только нет в ней шума.

ноябрь 1962

ПРИГЧА

„Пусть дым совется в виде той петли,
которая согнать его сумела
своим кивком с холмов родной земли”.

Должно быть, в мщеньи выше нет предела.

Конечно, достигая до небес,
начнет гулять, дымить противоборство.
Не стоит крыш снимать, чтоб видел лес
сей быстрый труд, настойчивость, упорство

Все в ход пойдет: смола, навоз, трава,
должно быть, в виде той петли разложат
в горящем очаге свои дрова.
Пусть ветер им поможет. Пусть поможет.

Нет, никогда ничья на свете власть
и всех стихий внезапное движенье
не явит ту, что просто родилась
и вот живет в их злом воображеньи.
Лес по краям. Блестящий снег хрустит,
никак не различить теней нерезких,
свидетелей того, как слабый мстит.

И он пошел во тьму с холмов еврейских.

1962

К САДОВОЙ ОГРАДЕ

Снег в сумерках кружит, кружит.
Под лампочкой дворовой тлеет.
В развилке дерева лежит.
На ветке сломанной белеет.
Не то чтобы бело-светло.
Но, кажется, (почти волнуя
ограду) у ствола нутро
появится, кору минуя.

По срубленной давно сосне
она ту правду изучает,
что неспособность к белизне
ее от сада отличает.
Что белый цвет — внутри него.
Но, чуть не трескаясь от стужи,
почти не чувствует того,
что снег покрыл ее снаружи.
И все-таки безжизнен вид.
Мертвеет озеро пустое.
Их только кашель оживит
своей подспудной краснотою.

7 февраля 1963

СРЕДИ ЗИМЫ

Дремлют овцы, спят хавроньи,
дремлют избы и сады.
В небе — крестики вороны,
в поле — заячьи следы.

Мчатся тучи, дело к вьюге,
и ни дыма, ни огня,
и разносится в округе
только цоканье коня.

„Поспешай”. — „Спешу, как видишь’
„Зябко, брат!” — „Не нам одним...”
Приглядись, сверкает Китеж
под покровом ледяным.

Реки скованы, озера
отливают серебром.
Открывается для взора
редколесье над бугром.

Там поземка колобродит,
там за пищею мясной
волки рыскают и бродят,
а в берлоге под сосной

спит медведь и лапу лижет.
Слышен ветра грозный вой.
Дети бегают на лыжах
у него над головой.

Октябрь 1963

ЗАГАДКА АНГЕЛУ

М. Б.

Мир одеял разрушен сном.
Но в чем-то напряженном взоре

маячит в сумраке ночном
окном разрезанное море.
Две лодки обнажают дно,
смыкаясь в этом с парой тувель.
Вздымающееся полотно
и волны выражают дупель.

2

Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.

3

Два моря с помощью стены,
при помощи неясной мысли,
здесь как-то так разделены,
что сети навсегда повисли
пустыми в этой глубине,
но все же ожидают всплыть
от пущенной сквозь крест в окне,
связующей их обе, нити.

4

Звезда желтеет на волне,
маячат неподвижно лодки.
Лишь крест вращается в окне
подобием простой лебедки.
К поверхности из двух пустот
два невода ползут отвесно,
надеясь: крест перенесет
и спустит их в другое место.

5

Так тихо, что не слышно слов,
что кажется окну пустому:
надежда на большой улов
сильней, чем неподвижность дома.
И вот уж в темноте ночной
окну с его сияньем лунным
две грядки кажутся волной,
а куст перед крыльцом — буруном.

6

Но дом недвижим, и забор
во тьму ныряет поплавками,
и воткнутый в крыльцо топор
один следит за топляками.
Часы стрекочут. Вдалеке
ворчаньем заглушает катер,
как давит устрицы в песке
ногой бесплотный наблюдатель.

7

Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья.

8

Как долго? До утра? Едва ль.
И ветер шелестит в попытке
жасминовую снять вуаль
с открытого лица калитки.

Сеть выбрана, в кустах угод
свистком предупреждает кражу,
и молча замирает тот,
кто бродит в темноте по пляжу.

1962

* * *

Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснувшей в пыли.
И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули,
и в талии сужает циферблат,
с гитарой его сходство озарив.
У задержавшей на гитаре взгляд
пучок волос напоминает гриф.

Ее ладонь разглаживает шаль.
Волос ее коснуться или плеч —
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь.
Мы здесь одни. И кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной насквозь тюрьме.

1963

В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Не мы ли здесь, о, посмотри,
вот там, окружены песком —
по обе стороны скамьи,
застыв, на берегу морском.

*

Все чудится, что рядом ты.
Все вижу сквозь ненастный вой
вливающийся в цвет воды
колеблющийся локон твой.

*

Как скрученные кем-то в жгут
полотна простыней ночных,
и тучи, и валы бегут,
но разные пути у них.

*

Пуст берег, этот край земной,
где каждый деревянный дом
маячит за твоей спиной,
как лодка, что стоит вверх дном.

*

И вот уже как будто страх:
не верится, что дом прирос!
Но, двери распахнув, рыбак
мешает повторить вопрос.

*

А ветер все свистит, крутя
столь жаждущих простых границ,
в сей бредень (или сеть) дождя
попавшихся прибрежных птиц.

*

Не видно им со стороны —
как спинкою своей скамья
твердит, что мы равны, равны,
что, может быть, и мы семья.

*

Лишь нам здесь — ни сейчас, ни впредь,
уоставившись в пустой песок,
знак торжества не разглядеть,
сколоченный из двух досок.

1963

В ГОРЧИЧНОМ ЛЕСУ

Гулко дятел стучит по пустым
деревам, не стремясь достучаться.
Дождь и снег, пробивающий дым,
заплетаясь, шумят средь участка.

Кто-то, вниз опустивши лицо,
от калитки, все пуще и злее
от желанья взбежать на крыльцо,
семенит по размокшей аллее.

Ключ вползает, как нитка в ушко.
Дом молчит, но нажатие пальца,
от себя уводя далеко,
прижимает к нему постояльца.
И смолкает усилье в руке,
ставши тем, что из мозга не вычешь,
в этом кольцеобразном стежке
над замочною скважиной высясь.

Дом заполнен безумьем, чья нить
из того безопасного рода,
что позволит и печь затопить,
и постель застелить до прихода
— нежеланных гостей, и на крюк
дверь закрыть, привалить к ней поленья,
хоть и зная: не ходит вокруг,
но давно уж внутри — исступленье.

Все растет изнутри, в тишине,
прерываемой изредка печью.
Расползается страх по спине,
проникая на грудь по предплечью;
и на горле смыкая кольцо,
возрастая до внятности гула,
пеленой защищает лицо
от сочувствия лампы и стула.

Там, за „шторой”, должно быть, сквозь сон,
сосны мечутся с треском и воем,
исхитряясь попасть в унисон
придыханью своим разнобоем.
Все сгибается, бьется, кричит;
но меж ними достаточно внятно —
в этих „ребрах” — их сердце стучит,
черно-красное в образе дятла.

Это все — эта пища уму:
„дятел бьется и ребра не гнутся”,
перифраза из них никому
не мешала совсем задохнуться.
Дом бы должен, как хлеб на дрожжах,
вверх расти, заостря обитель,
повторя во всех этажах,
что безумие — лучший строитель.

Продержись — все притихнет и так.
Двадцать сосен на месте кошмара.
Из земли вырастает — чердак,
уменьшается втрое опара.
Так что вдруг от виденья куста
из окна — темных мыслей круженье,
словно мяч от „сухого листа”,
изменяет внезапно движенье.

Колка дров, подметанье полов,
топка печек, стекла вытиранье,
выметанье бумаг из углов,
разрешенная стирка, старанье.
Разрешенную топку печей
и приборку постели и сора
— переносишь на время ночей,
если долго живешь без надзора.

Заостря-заостряется дом.
Ставни заперты, что в них стучаться.
Дверь на ключ — предваря содом:
в предвкушеньи березы участка,
обнажаясь быстрее, чем велит
время года, зовя на подмогу
каждый куст, что от взора сокрыт,
подступают все ближе к порогу.

Колка дров, подметанье полов,
нахождение того, что оставил
на столах, повторенье без слов,
запиранье повторное ставень.

Чистка печи от пепла... зола...
Оттирание кастрюль, чтоб блестели.
Возвращение размеров стола.
Топка печи, заправка постели.

1963

* * *

Садовник в ватнике, как дрозд,
по лестнице на ветку влез,
тем самым перекинув мост
к пернатым от двуногих здесь.

Но вместо щебетанья, вдруг
в лопатках возбуждая дрожь,
раздался характерный звук:
звук трения ножа о нож.

Вот в этом-то у певчих птиц
с двуногими и весь разрыв
(не меньший, чем в строеньи лиц)
что ножницы, как клюв, раскрыв,

на дереве в разгар зимы
скрипим, а не поем как раз.
Не слишком ли отстали мы
от тех, кто „отстает от нас“?

Помножив краткость бытия
на гнездышки и забытье
при пенье, полагаю я,
мы место уточним свое.

18 января 1964

РОЖДЕСТВО 1963 ГОДА

Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.

Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.

РОЖДЕСТВО 1963

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

Песни счастливой зимы
на память себе возьми,
чтоб вспоминать на ходу
звуков их глухоту:
местность, куда, какмышь,
быстрый свой бег стремишь,
как бы там ни звалась,
в рифмах их улеглась.

Так что, вытянув рот,
так ты смотришь вперед,
как глядит в потолок,
глаз пыля, ангелок.

А снаружи — в провал
снег, белей покрывал
тех, что нас занесли,
но зимы не спасли.

Значит, это весна.
То-то крови тесна
вена: только что взрежь,
море ринется в брешь.
Так что — виден насквозь
вход в бессмертие врозь,
вызывающий грусть,
но вдвойне: наизусть.

Песни счастливой зимы
на память себе возьми.
То, что спрятано в них,
не отыщешь в иных.
Здесь, от снега чисты,
воздух секут кусты,
где дрожит средь ветвей
радость жизни твоей.

Январь 1964

* * *

Ветер оставил лес
и взлетел до небес,
оттолкнув облака
и белизну потолка.

И, как смерть холодна,
роща стоит одна,
без стремленья вослед,
без особых примет.

Январь 1964

ПЕРВЫЙ ЛИРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ИОСИФА БРОДСКОГО

Публикация лирического цикла "Песни счастливой зимы" происходит с опозданием лет на двадцать.* Эти стихотворения были написаны в 1962–1963 годах (заключительные – в январе 1964 года). Правда, иным читателям кое-что из этого цикла было известно по спискам, особенно после появления составленного Марамзиным машинописного собрания сочинений Бродского. Отдельные стихотворения из "Песен счастливой зимы" попали и в печать: шесть включены, порознь, в сборник "Остановка в пустыне" (изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1970), одно не так давно опубликовано парижским журналом "Эхо" (№ 1, 1978), а два даже относятся к редчайшим публикациям Иосифа Бродского в советской печати: "Я обнял эти плечи и взглянул..." было напечатано в альманахе "Молодой Ленинград" за 1966 год, а "Среди зимы" (под названием "Январь" и в несколько измененном виде) в № 1 детского журнала "Костер" за тот же год.

Однако полностью, в том виде, как он был задуман автором, цикл никогда не публиковался, и это несомненно обедняло представление читателей о творческом пути поэта. Дело не только в том, что это именно ц и к л, то есть поэтическое целое, связанное перекличкой сюжетов, образов, интонаций, но и в том, что "Песни счастливой зимы" – очень важный этап в формировании оригинального поэтического мира Бродского, здесь ключи ко многим темам и образам его последующих произведений.

В "Песнях счастливой зимы" нет следов чужих влияний, нет заимствований – это первые полностью оригинальные лирические стихи Бродского.

Вообще зрелые стихотворения появляются у Бродского года за два до "Песен счастливой зимы", а уже в 1961–1962 годах он создает такие свои юношеские шедевры, как "Холмы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "Рождественский романс". Эти вещи и сегодня захватывают своей сентиментальной энергией, ясностью образов и, видимо, останутся в русской поэзии навсегда. В то же время колоссальная поэтическая работа Бродского (в 1961–1962 годах им было написано по меньшей мере десять тысяч строк только оригинальных стихов) уже начинала принимать другое направление: от романтического изображения жизни к ее философскому постижению. Монументальными опытами на этом пути были произведения крупные и по жанру – элегии, эклоги, поэмы. Как вспоминают друзья, выслушав оконченную только накануне "Большую элегию" (Джону Донну), Ахматова сказала Бродскому: "Вы сами не понимаете, что с вами произошло". Талантливый юноша превратился в самостоятельного поэта.

Юный Бродский словно бы выталкивал "чистую лирику" из своего поэтического обихода. Он предпочитал разворачивать скромный лириче-

* Мы понимаем, как нелегко было автору возвращаться к вещам, написанным в далеком прошлом. Редакция "Части речи" выражает глубокую признательность И. А. Бродскому за его согласие на данную публикацию и за тщательную проверку отдельных текстов и хронологического порядка всего цикла.

ский сюжет в поэму, перегруженную барочными описаниями ("Зося", "Петербургский роман") или литературно-философским цитированием ("Шествие").

Чем традиционнее тематика, тем больше опасность запеть чужим голосом. Бродский, поэт мелического начала прежде всего, видел для себя западню в метрической банальности (как он ее тогда понимал). В этом плане все его творчество раннего периода — это сражение с заезженными размерами русской поэзии. То он видит решительную альтернативу в верлибре, то в чудовищном растягивании строки, комбинирующей дольки и традиционные метры, так что стихотворение начинает казаться текстом романа и просит струнного аккомпанемента ("Слышишь ли, слышишь ли в роще детское пение..." и другие вещи этого порядка). * Порой же он сдается на милость простецкому четырехстопному ямбу и пишет "Петербургский роман" или "Три главы".

Большое влияние также оказала на Бродского в ту пору новаторская поэтика Бориса Слуцкого. чьи дольки он тогда еще не вполне переварил, но чьи тематические уроки, в том числе об "устарелости лирики", вполне усвоил.

Поскольку у Бродского все эти характерные юношеские метания не оставались умозрительными, а всегда сопровождалась огромной экспериментальной работой, постольку и накапливался у него богатейший стихотворческий опыт. В двадцать два года его поэзии нужен был лишь катализатор, толчок, чтобы выкристаллизовался наконец с в о й стиль. Толчком, соответствующим масштабам творчества Бродского, оказалась метафизическая тема.

Сам поэт не раз говорил, что его заслугой является восстановление в русской поэзии слова "душа". Это не следует понимать в смысле восстановления в правах старинной сентиментальной риторики. Такая заслуга скорее принадлежит Булату Окуджаве с его трогательной конкретизацией веры, надежды, любви и души ("Что такое душа? Человечек задумчивый..."). Окуджава, в свою очередь, развивал поэтику конкретного, характерную для поэтов 1930–1940 годов (ср. у Светлова: "Два ангела на двух велосипедах — Любовь моя и молодость моя", или у Смелякова: "...за тебя, родная Русь,/как бы за бабушкину юбку,/спеша и падая, держусь").

Как мы видим, душа и прочие категории этого порядка давались через снижающую метафору или сравнение, речь шла о повседневном сентименте. Душа, ночной полет и плач которой описывается в "Большой элегии", не домашнее понятие (типа "человек большой души" и т. п.), а душа из обихода философов и богословов, предмет метафизической поэзии (как у Джона Донна, которому посвящена элегия). Почти все пространство стиха посвящено заброшенности, неуютному сну покинутого душий мира и тела:

* Следует заметить, что стихи Бродского ранней поры отчасти, видимо, и были ориентированы на "исполнение". Их читал вслух на различных неофициальных и полуофициальных вечерах сам автор, а то и любители, имитировавшие характерный авторский распев. Некоторые из ранних вещей даже исполнялись молодежными бардами под гитару.

Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло...*

Бодрствующей представлена только поэзия:

Уснуло все, но ждут еще конца
два-три стиха.

В самом конце высказывается надежда на спасительный восход Вифлеемской звезды.

В "Большой элегии" картина дана сверху, с птичьего полета (души). Я уже писал в другом месте ("Континент, № 14) о значении точки зрения, с которой даны описания у Бродского. Это очень семантически активный элемент его поэзии. Иногда он присутствует в стихотворении имплицитно, иногда и прямо обозначен. Любопытно в этом плане, как начинается одно из двух стихотворений, открывающих цикл "Песни счастливой зимы":

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною...

Дальше идет подробное описание заурядной мебели, лампочки, паркета. Первое впечатление при чтении слегка обескураживающее: что же это за любовник, который, обнимая подругу, развлекается изучением обстановки.

Однако интерьер дан не совсем обычно, каждый предмет наделен не признаком (прилагательным), а глаголом. Свойства предметов описаны как действия: диван "сверкал", стол "пустовал", паркет "поблескивал", печка "темнела", пейзаж в раме "застыл" (словно на минуту), стул "сливался" со стеною. Не совсем понятно и то, что сказано в заключение этого ряда:

...и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.

Ощущение странности, нелогичности возникает у нас потому, что мы пытаемся прочесть стихотворение как традиционную лирическую пьесу, сюжет которой сладостность (или горечь, или головокружительность и т. п.) объятия. Но лирический сюжет в этом стихотворении другой. Любовное прикосновение вдруг открывает взгляду одушевленность всего вокруг, ту одушевленность, которая, конечно, имела место и до объятия, но только не вполне замечалась. В отбитом от единого потока первых двенадцати строк заключительном четверостишии появляется любимый Бродским эфемерный посланец живого — мотылек:

* Образ поэзии как "сшивания" земли и неба, как моста от обреченности к спасению мелькает и в близком по времени написания стихотворении "Мои слова, я думаю, умрут..." (Марамзинское собрание, т. 2, стр. 23). Здесь еще яснее связь этого образа у Бродского с русской метафизической традицией: "Ты показала мне без слов..." Ходасевича или "Природы праздный соглядатай..." Фета.

Так вступительное стихотворение вводит нас в одушевленный мир счастливой зимы, где все живо, где нет места призракам.

Одушевленность — ключ к лирике Бродского 1962–1963 годов. В этих стихотворениях много действуют, думают, чувствуют животные, птицы, деревья, ветер, вода, садовая ограда, мебель (иллюстрации читатель может извлечь почти из каждого стихотворения публикуемого цикла). Это лирическое мироощущение Бродского даже, пожалуй, ближе к исходному пантеизму греков, чем подобное же одушевление всего сущего у Пастернака, во всяком случае характер отношений поэта с одушевленным миром разнообразнее: не только восторг, но и другие чувства, вплоть до ужаса ("В горчичном лесу").

Таким образом, чисто лирический цикл "Песни счастливой зимы" может быть правильно прочитан только в контексте всего творчества Бродского в этот период, то есть только как лирика, созданная одновременно с "Исааком и Авраамом" и "Большой элегией". И тематическое совпадение лирического цикла с большими вещами несомненно: он начинается введением словообраза "души/одушевленности", развивает эту тему и заканчивается стереоскопически сдвоенной картиной Рождества.

Впрочем, интонационно и стилистически лирика предоставляла больший простор для эксперимента, чем произведения большого жанра. В 1962 году Бродский, видимо, не раз вспоминал начало "Домика в Коломне". В это время он тоже решил оставить мальчикам в забаву четырехстопный ямб, равно как и радикальные, хотя тоже слегка мальчишеские попытки бунта против самого популярного русского размера и подобно Пушкину углубиться в исследование богатейших просодических возможностей пятистопника. Последовательно он этим занялся именно в лирических стихотворениях 1962 года, пробуя в рамках пятистопного ямба и традиционное чередование мужских и женских окончаний, и белый стих, и одни мужские рифмы, и сонет. Так что к моменту создания, в 1963 году, "Исаака и Авраама" и "Большой элегии" пятистопный ямб был уже Бродским обширно исследован и хорошо освоен.

Характерно, что в том же 1963 году как раз мелкая лирика, продолжение "Песен счастливой зимы" почти избавляется от пятистопника, который уступает здесь место новым для Бродского метрическим и ритмическим экспериментам. Во второй половине цикла мы встречаем трехсложные размеры ("В горчичном лесу" — анапест, "Рождество 1963 года" (1) — амфибрахий с очень впечатляющим пропуском слога в первой строке и разбивкой ее на две части, что создает впечатление начала, произнесенного голосом, как почти бытовая фраза: "Спаситель, родился в лютую стужу..." — и лишь строкой ниже вступает оркестр:

В пустыне пылали пастушья костры..)

есть хорей ("Среди зимы" — не без оттенка пародии пушкинских "Бесов"), очень разнообразные не-пятистопные ямбы (ими написано всего девять стихотворений, из них три с одними мужскими окончаниями, два — четырех/трехстопным стихом, одно четырех/двухстопным) и, наконец, написанные как послесловия к циклу "Ветер оставил лес..." и "Песни счастли-

вой зимы” – трехударные дольники.

Только через одиннадцать лет Бродский начнет свой второй лирический цикл “Часть речи”, и в основу его интонационного строя лягут последние стихотворения “Песен счастливой зимы”.*

Остается сказать несколько слов о жизненных обстоятельствах автора двадцать лет назад, в период сочинения цикла.

1962 год был относительно благополучным. В связи с общей слегка либеральной обстановкой даже для крайне неортодоксального молодого поэта мелькнула возможность нормальной литературной работы, доступа к читателю. Появились заказы на поэтические переводы. В ноябре 1962 года в детском журнале “Костер” появилась первая публикация стихов Бродского (сокращенный вариант стихотворения “Баллада о буксире”).

Надо напомнить, что ни переводы, ни детские стихи не были ни в коей мере для Иосифа Бродского халтурой. Как серьезно он относился к детским стихам, видно хотя бы из того, что два из них полноправно входят в “Песни счастливой зимы” (кроме “Среди зимы”, для “Костра” также было написано “Деревья окружили пруд...”, но осталось неопубликованным). Разумеется, эти стихотворения Бродского не похожи на традиционно облегченную поэзию для детей, но тут дело не приспособлении взрослых стихов для юной аудитории, а в принципиальном подходе автора. Так, в споре с редактором, который предлагал убрать из зимнего стихотворения слово “Китеж” как непонятное детям, он ответил: “А по-моему, не может быть ничего лучше для русского ребенка, как спросить у отца: “Папа, а что такое – Китеж?”

Но вторая из двух счастливых зим может быть названа счастливой уже только иронически: с осени 1963 года над Бродским стали сгущаться тучи. 29 ноября в газете “Вечерний Ленинград” появился крайне злобный пасквиль на поэта, озаглавленный “Окололитературный трутень”. Это было объявлением полицейской травли. 13 декабря правление ленинградского отделения союза писателей не только отмежевалось от Бродского, но и санкционировало репрессивные меры против него.

Два зимних месяца прошли в непрерывном бегстве. Поэт скрывался от милиции на дачах у знакомых, ездил по городам и весям. Влияние тех, кто ему сочувствовал и пытался спасти, было ничтожно в сравнении с объединенными силами ленинградского КГБ и союза писателей. Вот что писал в эти дни другу в Москву поэт Александр Гитович:

“С Бродским – дело страшное. Я до всех этих дел часто видел его – он постоянно бывал у Ахматовой, а значит – под моими окнами, так сказать. Но его стихов не знал совсем. Но – уже после фельетона – приехал ко мне профессор геологии и литературовед Македонов и привез стихи

* “Ветер оставил лес...” – это, можно сказать, дольник, только что переставший быть анапестом; характерна третья строка, “оттолкнув облака” – чистый двухстопный анапест, и вообще половина стоп в стихотворении – анапест. Свыше восьмидесяти процентов стихотворений “Части речи” имеют первую или вторую, или обе начальные стопы – анапестные. Этот интонационный прием организации стиха несомненно имеет для Бродского лирическое, ностальгическое, значение.

"молодого тунеядца". И я со всей ответственностью могу сказать, что если Бродский проживет еще лет 10–20, то цены ему не будет. А если он снова вскроет себе вены, и на этот раз это окажется роковым – все равно его стихи останутся. И кое-кому История никогда не простит".*

В феврале 1964 года, в Москве, Бродский был отправлен на обследование в психиатрическую лечебницу (в ту пору этот способ преследования инакомыслящих был еще в новинку). В марте, в Ленинграде, состоялся прогремевший на весь мир позорный суд над поэтом.

В такой обстановке создавались последние стихотворения цикла.

Об одном из них, "Садовник в ватнике, как дрозд...", Бродский вспоминал следующее. Он писал, пользуясь редким вечером тишины – родители ушли куда-то. Вдруг ввалились милицейские во главе с начальником паспортного стола майором Макаровским. Орала, грозили, что если в три дня не устроится на работу, то будет худо. "Я что-то им отвечал, но все время маячила мысль, что мне надо кончить стихотворение". Когда милицейские наконец ушли, Бродский вернулся к письменному столу и кончил стихотворение.

На одном из этапов своего бегства, уезжая в середине января 1964 года из обледенелой Усть-Нарвы, поэт сочинял эпилог цикла, стихи, обращенные к самому себе. В них было предчувствие наступающих бед и надежда на то, что лирический опыт "Песен" будет в эти дни опорой.

Песни счастливой зимы
на память себе возьми.
То, что спрятано в них,
не отыщешь в иных.

А. ЛОСЕВ

* Приводится в мемуарах Ирины Кичановой-Лифшиц "Прости меня за то, что я живу...", стр. 144 (Нью-Йорк, Чалидзе Паббликейшн, 1981).

Белла АХМАДУЛИНА

НА СМЕРТЬ ВЫСОЦКОГО

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.

Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной.
Так — быть? Или — как? Что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает как может.
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья.
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
Кто подданных душу возвысит до слез, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь
не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.

Певца обожая, расплачемся. Доблестна тризна.

Ведь быть иль не быть — вот вопрос. Как нам быть.

Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.

В обнимку уходим — все дальше, все выше и чище.

Не скарედны мы, и сердца разбиваются наши.

Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?

Рукопись поступила по каналам самиздата. Печатается
без разрешения автора.

НОВЫЕ ПЕСНИ И СТИХИ

1

Пускай любовь моя, как мир, стара —
лишь ей одной служил и доверялся.
Я дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет — я умру.
Пока он жив — я властен над судьбою.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа.
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной,
но ты, моя фортуна, будь добра,
не выпускай руки моей несчастной!

2

ПИРАТСКАЯ ПЕСНЯ (из кинофильма)

В ночь перед бурей на мачте горят святого Эльма свечи,
отогревают наши души за все прошедшие года.
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки,
как овечки,

Рукопись поступила по каналам самиздата. Печатается
без разрешения автора.

да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата,
пускай ведет нас черный парус,
пусть будет сладок ром ямайский, все остальное —
ерунда.

Когда воротимся мы в Портленд, княнусь,
я сам во всем покаюсь,
да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата,
пускай купец помрет со страху:
ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам взбегу
на плаху,
да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата,
поделим золото, как братья,
поскольку денежки чужие не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина
в объятья,
да только в Портленд воротиться ней дай нам, Боже,
никогда!

3

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка.
Главный был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.

А критики скажут, что слово „соратник” —
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть, может, и не римская,
не жаль,
мне это совсем не мешает,
и даже меня возвышает.

Юношам империи времен упарка
снились постоянно то скатка, то схватка.
То они в атаке, то они в окопе,
то вдруг на Памире, а то вдруг в Европе.

А критики скажут, что скатка, представьте,
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть, может, и не римская,
не жаль,
мне это совсем не мешает,
и даже меня возвышает.

Мужики империи времени упадка
ели что придется, напивались гадко.
А с похмелья каждый на рассол был падок —
видимо, не знали, что у них упадок.

А критики скажут: рассол, ну надо ж! —
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть, может, и не римская,
не жаль,
мне это совсем не мешает,
и даже меня возвышает.

Женщинам империи времени упадка,
столько им красавицам, доставалось сладко.
Все пути открыты перед ихним взором,
хочешь — на работу, а хочешь — на форум.

А критики хором: ах, форум, ах, форум, —
вот римская деталь!
Одно лишь словечко, а песенку как украшает!
Может быть, может быть, может быть, и римская,
а жаль,
мне это немного мешает,
и замысел мой разрушает.

Антон Павлович Чехов однажды заметил,
 что умный любит учиться, а дурак — учить.
 Скольких дураков в своей жизни я встретил!
 Мне давно пора уже орден получить.

Дураки обожают собираться в стаю.
 Впереди — Главный во всей красе.
 В детстве я верил, что однажды встану,
 а дураков нету, улетели все.

Ах, детские сны мои, какая ошибка!
 В каких облаках я по глупости витал!
 У природы на устах коварная улыбка...
 Видимо чего-то я не рассчитал.

А умный в одиночестве гуляет кругами,
 он любит одиночество больше всего.
 И его так просто взять голыми руками —
 скоро их повыведут всех до одного.

Когда их всех повыведут, настанет эпоха,
 которой не выдумать и не описать.
 С умным хлопотно, с дураком плохо,
 нужно что-то среднее — а где ж его взять?

Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
 Умным — очень хочется, да кончится битьем.
 У природы на устах коварное пророчество...
 А может быть, когда-нибудь среднее найдем?

5

“ПРОГУЛКИ ФРАЕРОВ”

По прихоти судьбы, разносчицы даров,
 В прекрасный день мне откровенья были.
 Я написал роман „Прогулки фраеров”,
 И фраера меня благодарили...

Они сидят в кружок, как над огнем святым,
Забывтое людьми и Богом племя,
Каких-то горьких дум их овевает дым,
И приговор нашептывает время.
Они сидят в кружок под низким потолком,
Освистаны их речи и манеры,
Но вечные стихи затвержены тайком,
И сундучок сколочен из фанеры.
Наверно есть резон в исписанных листах,
Затверженных местах и в горстке пепла.
О, как сидят они с улыбкой на устах,
Прислушиваясь к выкрикам из пекла.
Пока не замело следы на их крыльце
И ложь не посмеялась над судьбою,
Я написал роман о них, но в их лице
О нас, ведь все, мой друг, о нас с тобою.
Когда в прекрасный день разносчица даров
Пришла в мой тесный двор, пройдя дворами,
Я мог бы написать, себя переборов,
„Прогулки маляров”, „Прогулки поваров”,
Но по пути мне вышло с фраерами...

6

* * *

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант,
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Кругом чужие лица, враждебные места,
Хоть сауна напротив, да фауна не та.
Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
И лик мой оккупантам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.
Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
Слоняюсь вдоль незримой границы на замке.
И в те, когда-то мной обжитые края
Все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.
Там те же тротуары, деревья и дворы,
Но речи не сердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,

Но ходят оккупанты в мой зоомагазин —
Хозяйская походка, надменные уста,
Ах, флора там все та же, да фауна не та...
Я эмигрант с Арбата, живу, свой крест неся.
Заледенела роза и облетела вся.

ПРОЗА



Андрей БИТОВ

ЧУЖАЯ СОБАКА И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ЧУЖАЯ СОБАКА

На работе объявили выговор. Соседи объявили бойкот. Жена сбежала с другом детства.

Куда деться...

Я, конечно, могу сходить к тетке, погулять с ее собакой... У нее сегодня день рождения. Тетка приготовит торт.

Этот молодой жирный боксер, я ничего не имею против. Сильный зверюга. Он идет, виляя обрубок хвоста, натягивая поводок. Все время приходится тормозить, словно бежишь под горку. Морда у него, с точки зрения обывателя, мало симпатичная. По-моему, это красивое животное.

А я надеваю темные очки от солнца и веду его желтенького, песочного по Невскому.

А про него говорят:

— У-у-у! Черчилль... чертяка! Мизантроп этакий...

А про меня говорят:

Рукопись поступила по каналам самиздата. Печатается без разрешения автора.

— А хозяин-то... Еще очки надел!

А одна говорит:

— Бедный... Такой молодой — и уже слепой!

А один другому говорит:

— С-суки! Жизнь-то у них какая!.. Нам бы такую...

А мальчик кричит:

— Хочу собачку! Хочу-у-у!

А один говорит:

— Почему собака без намордника?!

А я думаю: "На тебя бы намордник..."

А я иду по улице в темных очках, с боксером... И у меня к нему симпатия. Да он бы и не обратил внимания на этого типа! Он вообще ни на кого не обращает внимания. Наверно, у него свой, собачий, мир, и он меня туда не пускает. Я его уважаю за это. Мы бы с ним нашли общий язык. Но мой мир его не интересует. Умный, зверюга! Лоб мыслителя. А глаза? Чтобы, у всех людей — такие глаза!..

Люди зыркают на него — на меня, на меня — на него. А он ни глазом, ни ухом — все тянет и тянет меня вперед. Сосредоточенность и целеустремленность во всем. Он явно идет куда-то. Наверно, ему стыдно показать, что он идет просто так...

И я, тоже вот, — гуляю с собакой...

У нее сегодня день рождения. Тетка приготовит торт...

А еще я могу — не пойти к тетке...

РАССКАЗ

Мужчины редко заходят в наш магазин.

А накануне 8 марта их появилось необычайно много.

Они толкались, шумели. Руки их были усыпаны свертками, и эти свертки тянулись через головы. Мужчины суетились, выгадывали. Перенюхивали бездну флаконов и все-таки покупали по коробке. И казались мне старыми, толстыми, громкими. И словно у них тысяча дел. И вся затея им неожиданна и обременительна.

А 9-го мужчин не стало.

Да и женщин не было. Напарница отпросилась.

Заведующий уехал на базу. Я посматривала на себя в зеркале — одном, другом, третьем...

И всюду красивая и одна.

Дверь пропела и остановилась. На высокой ноте. Потом пропела и захлопнулась на низкой...

Вошел он.

Совсем такой, как я себе представляла. Высокий, легкий. Глаза красивые, умные. Он подходил и смотрел на меня пристально-пристально. Но взгляд был не нахальный, а какой-то внимательный. И вопросительный: откуда ты? почему ты? зачем ты? такая... И казалось, он подходил очень долго. Долго-долго. И все смотрел мне в глаза.

А я не могла ответить.

И его остановил прилавок. Он остановился и все смотрел, смотрел мне в глаза.

А я не смогла спросить, что ему нужно. Хотя я привыкла к взглядам и потому, что я продавщица, и потому, что красивая.

И когда я отвела взгляд, он круто развернулся и направился к выходу. А в дверях обернулся, поймал мой взгляд и вынес с собой.

А на следующий день он зашел с приятелем. У прилавка толпился народ. А они стояли в стороне, о чем-то говорили и смеялись. И он смотрел на меня. И тот его приятель тоже. Но тот не умел так.

А я старалась не смотреть.

А еще на следующий он пришел с двумя приятелями. И они стояли в стороне, смотрели и смеялись. Но смотрел только он. И смеялся только он. И он это умел.

И я не могла на него сердиться.

А еще на следующий он зашел с тремя приятелями. И все было так же, только с тремя. Я досадовала на него.

Но плохо не могла о нем думать.

А еще совсем на следующий он вошел один. И я обрадовалась, потому что ждала четырех.

Он подошел ко мне, протянул конверт:

— Вот, прочтите на досуге.

И так сразу вышел, что я не успела ничего сказать.

А в конверте был рассказ, который назывался

”Рассказ”, и рассказывал о том, как я стояла одна в магазине и вошел он. И как вышел. А на следующий день вошел с приятелем. А еще на следующий — с двумя. И потом — с тремя. И потом — с четырьмя...

Пятью...

Двадцатью...

И магазин уже не вмещал их. И тогда он пришел один и принес конверт, в котором был рассказ, который назывался ”Рассказ”, и рассказывал о том, как он ждет меня сегодня в 6 у трамвайной остановки.

СТРАХ

Посвящается Ст. Цвейгу

Нина ехала в автобусе, и на нее все смотрел молодой человек. Нина думала про то, как он на нее смотрит, и про то, как идет ей новая шуба. Потом она подумала, что он слишком на нее смотрит. Она поднялась к выходу, но и он встал. Она вышла, и он вышел. Она по улице, но и он за ней. Она мимо аптеки, даже мимо ”Тканей”, и он мимо. Она пошла быстрее, но и он не отстает. Она свернула, и он скрылся, но вскоре вынырнул: тоже свернул. Переулок темный, юбка почти лопается от широкого шага, и молодой человек не удаляется. Вот и дом. Она в парадную, но дверь за ней хлопнула два раза. Она по лестнице, и молодой человек по лестнице. Нина все быстрее, быстрее... но и он словно быстрее.

... И вот недавно ей рассказывали такой же случай. И еще один... Изнасиловали. Раздели. Случай, случай... Соседка, подруга, сослуживцы... Амнистия. Все больше случаев...

Быстрее, быстрее. Бегом.

Но он не отстает.

Вот и последняя площадка. А этот хулиган за ней.

Нина испугалась совсем. В горле колом воздух. В нем увяз крик.

А бандит сзади. Кажется, дышит в затылок.

Нина сбросила шубу и во весь опор к двери.

Открыла. Вбежала. Захлопнула. Впечаталась в

дверь. Закричала.

Муж ничего не понял: "Шубу... шубу..."

А пока он понял, раздался звонок, и этот молодой человек с шубой в руках: "Скажите, пожалуйста, зачем вы мне ее бросили?"

ГОЛУБАЯ КРОВЬ

"Интересный дядя! — подумал я. — Керенский-Врангель-Коненков..."

Интересный дядя стоял в подворотне.

Седые усы серебряными ложками изгибались по щекам. Трость. Корректное пальто. Выдержанное, достойное лицо.

"Джентльмен. Аристократ. Комильфо".

Я смотрел на него вежливо и с интересом, стараясь, чтоб не вышло нагло. И в это время входил в подворотню.

Он тоже смотрел на меня.

"Чувствует породу... — думал я. — Теперь ее мало. Приятно увидеть ее в молодом. Так настоящая женщина чувствует настоящую женщину".

Я разделился, забежал на место дяди и посмотрел на себя, входящего в подворотню...

"Так себе. Ничего. Просто прелесть!"

Дядя сделал сдержанные полшага в мою сторону. Два пальца сжали поле шляпы. Легкий поклон:

— Извините, пожалуйста... — говорит он поставленным голосом.

— Нет, что вы, что вы... — говорю я и тоже кланяюсь. Только шапка у меня меховая, и полей нет... Я делаю полшага в сторону, чтобы обойти дядю.

Дядя делает полшага ко мне:

— Извините, пожалуйста...

— Пожалуйста-пожалуйста... — говорю я.

И стараюсь протиснуться между дядей и стенкой.

Дядя прижимает меня к стенке:

— Вы не скажете, где квартира такая-то?

— Ах... — говорю я. — Я из этой квартиры. Пойдемте со мной.

— Там живет профессор Кронштейн?

— Я его племянник.

— Ах, вот как... — говорит старик. — Значит он ваш дядя? Очень рад.

Мы пожимаем руки. И идем вместе.

— А как здоровье вашего дяди?

— Ничего, — говорю я, — хорошо здоровье. Недавно, было, заболел, но все в порядке.

— Так что ваш дядя в пор... то-есть здоров?

— В совершенном порядке.

— Так вы говорите, он сейчас дома?

— Он всегда в это время дома, — говорю я.

— Приятно видеть такого молодого человека, как вы. Ах, теперь не та молодежь...

Я потупляюсь. Только скромность не позволяет мне согласиться. Он должен оценить это.

— Опять лифт не работает, — говорю я.

— А какой этаж?

— Пятый.

— Ох, — говорит дядя, — чего же он не работает?..

— Разве ж теперь обслуживают?.. — скорбно замечаю я.

Дядя светски раздвигает усы в улыбку.

Мы поднимаемся рядом. На площадках я пропускаю дядю вперед. Ему тяжело. Усы шевелятся по щекам.

— Извините, — говорит он и передыхает. На лице у него достоинство и виноватость. Он пыхтит.

— Ничего, я не спешу, — говорю я. — "Славный,

— Ничего, я не спешу, — говорю я. — "Славный, красивый старик, — думаю. — Таких теперь уже мало. Старой закваски".

— А вы чем занимаетесь? Работаете или учитесь? — спрашивает дядя. — Если, конечно, вы ничего не имеете против такого вопроса...

— Нет, что вы, — говорю я, — учусь.

— Это замечательно, это хорошо, это изумительно — учиться, — говорит старик. — Ваш дядя — прекрасный пример. Наука требует от человека всей его жизни...

Он смотрит с испугом на оставшиеся ступеньки. Наконец, пересиливает себя:

— Ну, пойдёмте дальше... — улыбается он так легко и плавно, мол, вы уж извините, что я старик, мол, старость не радость...

— Вот и наша площадка, — успокаиваю я старика. — Вот мы и пришли.

Я чуть задеваю дядю.

— Ах, извините, — говорю я.

— Нет, что вы, что вы, пожалуйста...

Мы стоим у двери. Смотрим друг на друга.

— Нет, вы меня извините, ради Бога, пожалуйста... — Я краснею.

— Да ну что вы! — отмахивается дядя.

Я стою у двери и не могу пошевелиться:

— Да нет, я, правда, очень виноват... извините, пожалуйста... я совсем забыл... простите, ради Бога.. так получилось... я не хотел...

Дядя расширяет глаза, и его усы выгибают пушистые седые спинки.

— Что вы, право?

— Я совсем забыл... дядя улетел вчера в Кисловодск...

Некоторое время мы смотрели друг на друга.

На дядином лице боролась корректность .

Корректность победила:

— Что ж вы сразу не сказали...

Тучная спина заколыхалась вниз по ступенькам.

"Ничего, — успокаивал я себя. — ничего.

Усы, как у швейцара".

ЛЮДИ, ПОБРИВШИЕСЯ В СУББОТУ

Рано утром.

Мужчины, побрившиеся в субботу, ждали троллейбус. Над женщинами торчали зонтики. От дождя у мужчин поднялись воротники, а по спинам скатывались серые капли. Шляпы уныло опустили крылья. Передо мной стояли спины с опущенными руками, и на спинах был понедельник.

Подошел троллейбус. Он должен был перевезти этих людей окончательно из воскресенья в понедельник. На лице у троллейбуса была тупость, работающего без воскресений. Один за другим пропадали в нем шляпы с опущенными крыльями и женщины вперед зонтиками.

Двери захлопнулись и выдавили меня внутрь. Я уперся носом в одну из спин, стоявшую на ступеньку выше. Она пахла сыростью. Над спиной была шляпа, и с нее стало капать мне на нос. Я постучался в спину и сказал:

— Гражданин, у меня нет зонтика, чтобы спрятаться от вашей шляпы.

Под шляпой оказалось молодое лицо, на котором еще сохранилось воскресенье. Оно улыбалось:

— Извините.

Молодой человек снял шляпу и аккуратно вылил воду из тульи. Вода попала в туфлю рядом стоящей женщины.

— Не умеете обращаться с шляпой, так не носите! — Возмутилась она.

Молодой человек смутился и стряхнул на меня оставшиеся капли.

”В субботу была баня...” — подумалось мне.

Ехать было далеко, за окном был дождь и туман, и я стал смотреть на лица. На них был тоже понедельник, такой же, как на спинах. Приглядевшись, я открыл и несколько другие лица...

Оживленно делились чем-то две девушки, рассеянно и глупо рассмеялся сам по себе сосед — на их лицах доживало воскресенье. Про некоторых можно было сказать, что у них на лицах была суббота, а воскресенье было отдыхом от субботы.

Понедельники ни на кого не смотрели.

Воскресенья смотрели, но не очень видели, словно издалека.

И лишь субботы, казалось, видели и понимали происходящее.

На одной из остановок в троллейбусе появилась старушка. На лице ее не сохранилось никаких дней недели, а был какой-то общий, длинный и последний день. И было странно, зачем она сюда попала. Она вошла с

передней площадки, прижимая стул к груди. Стульчик был маленький, детский, но у него было уже четыре ножки. Они воткнулись в ноги, и получился шум, сутолока. Кричали, в основном, понедельники. Кричали о том, что неприлично лезть со стулом в троллейбус, что со стульями надо в трамвае, что вообще с мебелью надо в грузотакси, что и так сесть негде, а она со стулом, что и так все едут на работу. Старушка испуганно обнимала стул и беззвучно жевала жалкие слова...

Она вышла, а в троллейбусе, до нее молчаливом, сохранился гул. Рядом со мной говорили, что чего-то стало не достать, а что-то стоит невозможно дорого, что в детском саду дурные воспитатели и что еще надо кормить мать... А кто-то обругал кондуктора в том смысле, что безобразии, что по утрам, когда всем ехать на работу, так долго нет машины; мол, зачем она открывает двери всяким со стульями и что еще не хватает, чтобы влезли со столом. А кондуктор говорил, что не она открывает двери и составляет график, что она на работе и чтоб к ней не лезли всякие.

Потом случилась женщина: подъезжая, мы забрызгали ей чулки. Она этого так не оставила и записала номер кондуктора.

Вошел пьяный, на лице которого была ночь с воскресенья на понедельник. А кондукторша, у которой еще и вовсе не было воскресенья, стала требовать с него за проезд. А он, катая голову по плечам, просил ее не беспокоиться. А она стояла над ним и требовала, потому что у нее еще будет воскресенье, когда она ни с кого не будет требовать.

И кондукторша, наконец, стала на него кричать, что все они такие, что пропьют все на свете, а женщины маются, что сегодня на работу, а он, видите, с утра пораньше...

На лице пьяного смешались все дни недели, и он что-то бормотал про то, что он хороший рабочий и что ничего в том плохого, что рабочий человек один раз выпьет. И наконец поняв, что требует от него эта женщина, стал бессмысленно рыться в карманах, засовывая в них руки чуть не по локоть. Но устал...

— Опять плати... Жи-и-изнь... — протянул он и при-

ткнул свою вращающуюся голову на плечо соседке. Та брезгливо стряхнула голову с плеча и встала. Он свалился на сиденье и уснул окончательно.

”В субботу тоже была выпивка... После бани.” — Подумалось мне.

Скучным голосом объявил кондуктор мою остановку. Это была конечная остановка. И люди, вымывшиеся и побрившиеся в субботу, оцетинив воротники и зонтики, вышли из машины.

Я присоединился к толпе спин и, с общим потоком, попал в стремнину заводских ворот.

ЛЮДИ, КОТОРЫХ Я НЕ ЗНАЮ

Тихая у нас улица... Совсем рядом гудит туго натянутая магистраль — автобусы, люди, люди, машины. А здесь — тихо. Речка без набережной. Мост деревянный. А все остальное — сад. И мой дом. Очень спокойный дом. Все окна у него разной формы, и это мне особенно нравится. Проходя мимо дома, мне всегда хочется пожить в угловой мансарде.

Мои окна выходят на двор.

Если пройти по лестнице, то почти на каждой двери будет медная дощечка — профессор такой-то. Очень много профессоров по нашей лестнице. Тихие старики.

Внизу магазин — тоже очень тихий. Покупателей мало, и все друг друга знают. Вот, кассирша — она тоже живет по нашей лестнице.

На скамеечке у входа в магазин, согнувшись, сидит женщина. Тихо, очень неподвижно сидит эта женщина. Пятнадцать лет сидит она на этой скамеечке. Сначала молодая — худенькая, в нарядном ситчике, с короткими прямыми волосами. Она сидела на этой скамеечке в любую погоду. Иногда к ней подсаживались дворники, и иногда она исчезала куда-то.

У нее странный взгляд — кажется, никто не попадает в него.

Иногда она смеется... Такая у нее сипотца...

Может, она и не всегда сидела на этой скамейке.

Она сидела и сидела — и день и два, и год и другой, и потом еще год, а я, как-то странно, замечал ее только вдруг. Однажды я вдруг заметил, что она очень похудела. Потом очень поседела — тоже вдруг. Потом она надела коричневое мужское пальто. Теперь она всегда сидит в этом пальто.

Внезапно согнулась ее спина.

И вся она, сжавшись, сидит сейчас на скамейке.

Я прошел в магазин. За прилавком девочка — это новенькая. Милая. Второй раз я захожу в магазин, и она за прилавком. Смущается, когда я подхожу к ней с чеком.

Очень миленькая девочка. Да-а-а...

Тихая у нас улица.

Когда я выходил из магазина, туда вошел странный человечек. Он живет напротив. Он всегда в шляпе и с портфелем. Мы часто ездим вместе в автобусе. Все кондуктора его знают. Встречаясь со мной, он всегда говорит:

Приятно видеть молодость! При этом,

Лишь только посмотрю, я становлюсь поэтом.

Впервые я столкнулся с ним на автобусной остановке. Я направлялся в ателье, и у меня на руке повисло пальто. Впереди стоял человечек с портфелем и в шляпе. Несколько раз он оборачивался и с интересом посматривал на меня.

— Почему на вас второе пальто? — Спросил он наконец.

— Это мое пальто, — сказал я.

— Я увидел на вас второе пальто

И сразу подумал: здесь что-то не то...

— В чем дело?! — Сказал я.

— Дело в том, что нынче лето...

А вы, что, не слышали об этом?

В очереди смеялись.

— На мне первое, — сказал я. — Не приставайте.

— Зачем ко мне, вы, юноша, придрались?

Вы, может быть, в Америку собрались?

Мы поговорили.

— Родные все зовут меня поэтом.

А я не чувствую себя при этом, — сообщил он мне.

И звал к себе.

Вот, он-то и прошел в магазин, когда я вышел.

Интересно, что он еще может мне сказать?

Я вспомнил, что могу еще купить сигарет и вернулся за ним в магазин. Девочка за прилавком снова смутилась. Я встал в очередь за человеком с портфелем. Тут в магазин прошла девушка со стеклянным глазом. Она тоже из нашего дома. Она всегда старается быть нарядной. Она встала за мной. Бабы в очереди посмотрели на нее и зашухукались.

С этой девушкой я знаком немного. Вернее, я был знаком с ее подругой, и они пришли однажды вместе в нашу компанию. В тот вечер все разбрелись парами по комнатам, а она сидела одна в гостиной, и ее стеклянный глаз удивлялся.

Теперь я иногда вижу ее сидящей на скамейке около магазина.

Худенькая, с короткими прямыми волосами, в веселом ситчике, сидит она рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.

Девушка встала за мной, и я поздоровался с нею.

Девочка за прилавком странно на меня посмотрела.

Бабы в очереди зашикали:

— И не стыдно!.. И не стыдно?..

— Что вы!.. Что вы! — Отмахнулась девушка в веселом ситчике.

— Пачку сигарет! — Крикнул я на девочку за прилавком.

— Когда я вижу юности приметы,

Тогда невольно становлюсь поэтом, — сказал человек с портфелем.

— При этом, при этом! — Рассердился я.

И выскочил из магазина. С удовольствием вдохнул воздух и закурил.

Подошла толстая дворничиха. Поставила около скамейки метлу, бросила совок. Села рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.

— Что это ты, Машка, грустная такая? — засмеялась она. — Вон, смотри молодой человек, — кивнула она на меня.

Женщина сидела, положив локти на колени, а голову на ладони, смотрела вперед, и ничего не попадало в ее взгляд.

— Что ж ты молчишь! — Толкнула ее дворничиха.

Женщина деревянно покачнулась и завалилась на бок, нелепо задрав стоптанные башмаки.

— А-а-а-а! — Закричала дворничиха. — Машка! Машка! Дядя Миша! Дядя Миша!

Из сапожной будки вылез дядя Миша, квартальный милиционер, степенный и усатый. За ним вылез ассирец, усатый и степенный.

Из магазина высыпали бабы.

— Жалость-то какая... — Сказал кто-то из них.

— Тетя Маша! Тетя Маша! — Закричала девушка в веселом ситчике.

— Уснуть... И видеть сны, — сказал человек с портфелем.

— Да-а... — Сказал дядя Миша и стал звонить по телефону.

РАЗВОДЫ

Помню, он учил меня курить во втором классе. Звали его Гапсек. Вообще-то он был Коля Иванов. Просто как-то на детском утреннике мы видели, почти весь наш двор видел, картину "Гобсек". А потом Колька принес огромный моток серебряной ленты. Мы, конечно, хотели поделить. Но он не дал. Все сказали, что он жмот, жох, жига. Но он и внимания не обратил. А один крикнул, что он Гапсек. Колька страшно рассердился на это прозвище и погнался за обидчиком. Тогда все кричали: "Гапсек! Гапсек!" Колька так и не смог взять себя в руки, и с тех пор остался Гапсеком. Потом все забыли, кто такой был настоящий Гобсек, а вся лестница была исписана:

Гапсек — дурак,

Гапсек — жук,

Гапсек — дурак,
Гапсек — жук,
Гапсек плюс Валя
и т.д.

А потом мы все как-то разошлись. Вернее, отошел я. Семья наша стала жить все лучше. Чем дальше от войны, тем больше она вступала в нормальную интеллигентскую стезю. Я учился в школе. Меня видели: папа — инженером, мама — журналистом. И все видели во мне медалиста. Видели уже в пятом классе. Может, поэтому медали я, в конце концов, не получил.

Я не поссорился с ребятами. Просто мы как-то редко стали сталкиваться. А столкнувшись, не знали, о чем говорить.

Ребята побросали школу. Многие работали на заводе. Двое попали в исправительную колонию.

А я уже стал совсем большой. И совсем забыл, что когда-то водился с ними.

Сам я рос постепенно, а сталкиваясь с ними, удивлялся, как внезапно они выросли, что уже пошли в армию, а девчонки красят губы, а та, рыжая, — совсем недурна.

И мы как-то уже перестали здороваться... Вот только с Гапсеком... Он всегда широко расплывался в улыбке.

Потом кто-то вернулся из армии, кто-то стал чемпионом Ленинграда по боксу, кто-то заболел воспалением мозга (такой молодой!) и умер.

А девчонки таскали на руках детей.

Женился и Гапсек.

Все говорили, что бедная девушка, что он ей не пара. Она такая воспитанная, образованная...

А Гапсек потолстел, зарабатывал, не пил, приобрел телевизор и осуществил давнишнюю свою мечту — мотоцикл.

Родился маленький Гапсек.

А большой бегал по лестнице, обвешанный свертками.

И вдруг что-то пошло не так.

В квартире снова говорили, что Гапсек ужасный человек, что бьет жену, что пьет и не работает.

А мать Гапсека говорила, что эта стерва хочет урвать площадь.

А Гапсек ходил какой-то растерянный.

Жена его сбегала в больницу, показала синяки и взяла справку о том, что побита. Жена трясла перед Гапсеком справкой и говорила, что теперь-то он в ее руках.

А мать Гапсека сказала: "Дурак ты, дурак! Да на тебе же синяков еще больше. Пойди и возьми справку тоже. Не подкажи тебе, так ты так и будешь... Раззява".

И Гапсек взял. И доказал жене.

А жена все-таки подала в суд.

Суд разделил площадь: $1/3$ — Гапсеку, $2/3$ — жене с ребенком.

А площади — 8 метров.

Гапсек ездил на мотоцикле и привез еще одну кровать. Так в комнате появился еще один муж, а Гапсек привел еще жену.

Когда родились дети, суд разделил Гапсекову треть: $2/3$ — второй жене с ребенком и $1/3$ — ему.

Когда появились следующие, теперь уже две жены и два мужа, когда родились следующие дети, все развелись еще раз и каждый получил свою долю площади. И снова все возросло вдвое, и снова все развелись, и снова каждый получил свое...

А Гапсек все ездил на мотоцикле.

Предпоследним появился робкий молодой человек он обожал сырое тесто он приносил домой завернутое в целлофан тесто и входил в комнату после рабочего дня занимал свою $1/81$ часть площади и стоя на одной ноге поджав вторую ел тесто прямо из целлофановой бумажки держа его на весу как он в таком положении мог но от него тоже родился ребенок и это бы еще ничего дело в том что когда площадь была разделена еще раз молодой человек привел робкую молодую девушку и я живущий тремя этажами ниже встретил ее на лестнице моя мама категорически против того чтобы эта девушка жила у нас во всем городе не нашлось балетных тапочек 43-го размера с большим трудом мне удалось выпросить их в балете ежедневно в ожидании решения суда я учусь стоять на пуанте и это бы еще ни-

чего если бы было куда откинуть ногу.

1000 лет мы прожили в подобной тесноте наши внуки научились летать они порхают под потолком и не пользуются площадью но они уже забивают кубатуру.

Им-то хорошо они могут вылетать прямо в форточку...

РОДИНКА

Можно сходить в кино. Взять билет за полтора рубля. Стоять у контроля и ждать, пока впустят.

Они обязаны впускать за час до сеанса!

Он войдет вместе со старушками и школьниками, мотающими уроки...

А когда впустят, можно рассматривать фото артистов, лица, знакомые до того, что странно, что они не с вашей лестницы. Или стенд о семилетке.

Можно купить мороженое, наконец...

Покурить с инвалидом в уборной.

Можно подняться наверх и листать журналы: четырех матросов носило 49 дней в океане без еды, наша галактика расширяется и конечно, мы нашли друг друга! мы не виделись 10 лет... и вот, благодаря вашему журналу...

А ему и находить некого. Никого и никогда не было.

А можно и не пойти в кино...

Соседка Марья Ивановна говорит, что чайник скрипел.

Можно попить чаю... Он всегда покупает к чаю что-нибудь вкусненькое. Сегодня — пряники.

И стало ему как-то скучно:

была бы у него мама,

был бы у него братец, звали бы его Вовкой... теперь бы он был большой и старьй,

а еще лучше — было бы два брата,

и еще сестра.

Он отодвинул чайник и пряники и долго вертел перо:

"Помогите отыскать моих близких, — написал он. —

Многим вы уже помогли найти своих близких родственников. Прошу теперь помочь мне.

Мы проживали где-то около Ленинграда, не могу вспомнить, где. Маму, кажется, звали Верой.

Меня, сестру и двоих братьев (одного звали Вовкой) соседи отдали в детдом, какой не знаю. Позже меня с сестрой привезли в другой детдом, а где остались братья — неизвестно. Из детдома меня взяли одни люди, а сестру — другие.

А теперь я живу тут”.

Он перечитал. “Только как же они найдут?” — подумал он. И стал думать, какие бы они были в отличие от других.

И ничего не мог придумать.

И тогда приписал про родинку. Про большую родинку у брата Вовки. Такую большую, по которой узнают в книжках выросших на чужбине сыновей.

Помогите отыскать моих близких!

Очень прошу.

КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

“Ух! Ух!” — Трясется лес.

Стонет земля под Кашеем.

Вот и хоромы.

Вот и дома.

Устал он, ух, как устал. Не такое теперь время.

А жена у него молодая, круглая.

И он говорит:

— А не пахнет ли тут человеческим духом?

Жена у него молодая, круглая...

Она и говорит:

— Полно тебе, нахватался в дороге. От самого и пахнет. А я тут бедная, молодая-круглая...

— Ну, ну, — говорит Кашей. — Чтс ты говоришь... Какие ж теперь бабы? Одна ты у меня.

— То-то...

А сама ему на стол ставит. И первое ему, и второе, и третье.

Угодила всем. Обтаял Кашей. Разлегся.

— Иди ко мне, — говорит.

А жена ему гладит волосы, говорит:

— Уж так я тебя люблю, так холю...

Скажи, где твоя душа?

— В венике, — ухмыльнулся Кашей. А про себя подумал грустно: "Старая история".

На следующий день — ушел Кашей, жена веник и помыла, и посушила, бантиком повязала, маслом смазала.

Явился:

— Что-то тут челове... — А жена надула губки, круглые, красные. А Кашей видит: в углу веник сияет. — Ну, ну, не буду, — говорит. — Зверь я, зверь... Истинно Кашей. Нехорошо я к тебе отношусь. К жене своей единственной. Соврал я тебе вчера. А ты — хорошая, доверчивая — сказок даже не читала. Разве ж может моя душа быть в венике? Сама рассуди... Соврал я тебе.

Жена совсем расстроилась с виду. Размяк Кашей:

— Скажу я тебе: там на чердаке, в сундуке — шкапулочка, в ней — заячий хвостик...

В нем моя душа.

И вот, на следующий день — ушел Кашей, жена сундук-то начистила, а из хвостика щепотку вырвала.

Приходит Кашей, шатается.

А жена молодая, круглая...

— Простудился я, что ли. Просквозило меня, продуло. Просек много — сквозняки. Сегодня уж точно человечиною пахнет. Ну, да ладно, сил моих нет...

Слег.

Жена хлопчет. И малина, и мед, и молоко. Выскочит, словно в погреб. А сама наверх. Щипнет, и обратно.

А Кашею все хуже.

А жена хлопчет. Градусник ставит.

Гладит его по волосам:

— Поправляйся, выздоравливай...

Уж я ли тебя не любила, уж я ли не холила...

Скажи своей женушке,

где ты свои сокровища хранишь?

А Кашей вовсе обессилел. Рта раскрыть не может.

Приподымет только кверху два пальца...

И рука падает обратно.

А заячий хвостик совсем облысел.

А жена плачет:

— Неужто ты меня покинешь... Что я делать буду? Куда себя дену?

Скажи хоть, где свои сокровища хранишь-прячешь?

Тут Кашей собрался с остатными силами. Поднялся на чердак. Хвост забрал.

— А полюбовника съел.

И тут же поправился.

— Съесть бы тебя мало, — говорит жене, — да разрушать семью жалко.

И на что ты надеялась? Ведь я же бессмертный!

А жена и говорит:

— Виновата я, раскаиваюсь. Ошибалась.

— Старая история, — говорит Кашей. — Все вы начинали с веника... Бессмертный я.

Успокоилось все, улеглось.

Говорит жена:

— Только скажи мне, что это ты все два пальца подымал, когда я про сокровища спрашивала? Думала, на чердак показываешь. А там ничего.

Говорит Кашей:

— Не подозревал я тебя. Думал, правда, заболел. Умирать собрался. Столько живу — надоело. И совсем уже на сокровища показать хотел. Но только подниму руку — и не могу...

А раз не вышло — зачем тебе про сокровища знать?

Бессмертный я, бессмертный...

АННА АХМАТОВА

(ХОТИТЕ, БУДЕТ ЗАВТРА РАССКАЗ?)

— Хотите, будет завтра рассказ? — спросил Чехов, вертя в руках пепельницу. — Будет называться "Пепельница".

Однако ни завтра, ни послезавтра рассказ "Пепельница" не появился.

Он не появился никогда.

Можно проиграть в карты главу романа.

Можно записать и не написать поэму.

Но большой писатель, который может все, не может написать хороший рассказ только для того, чтобы выиграть пари.

Большой писатель, который может все, пишет только то, что нужно и важно.

(СУДЬБА АННЫ АХМАТОВОЙ)

Глава 1. ПОЭТ И ОБЩЕСТВО

Поэт всегда в конфликте с обществом, потому что поэт всегда лучше общества, в котором он живет. Конфликт с обществом кончается гибелью поэта или его уходом. Уходы поэта бывают различны. Он может уйти бороться за свободу Греции, как Байрон, он может уйти к индейцам, как Шатобриан, он может быть выслан, как Овидий, он может уйти в башню из слоновой кости,

как Флобер, он может уйти в личную жизнь, как Ахматова. Каждый из таких уходов вызывает строго определенную форму творчества.

* * *

1. Художник создает картину времени метафорой.

2. Главная метафора творчества Ахматовой.

3. Конфликт с обществом выражается не непосредственно (как у Пушкина в молодости; здесь же об эстетстве, как форме борьбы художника), а через метафору. Метафора — любовный конфликт (т. е. уход от того, что требует общество, а общество требует, чтобы его воспевали. Пушкин поры "Арзрума". Для Ахматовой конфликт с обществом равен конфликту с возлюбленным. Общество персонифицируется и типизируется в нем.

4. Героиня Ахматовой — умный, наблюдательный, талантливый человек — естественно вступает в конфликт с обществом, не обладающим этими достоинствами.

5. Уход в "личную жизнь". (Разные формулы и география уходов.)

* * *

1. Стих символистов. Мелодический стих.

2. Стих акмеистов. Семантический стих.

Открытый и закрытый стих.

Статья "Образ" в Л. З. Френкель.

Что такое хорошие стихи.

Почему хороши стихи Ахматовой.

(О НАЛИЧИИ СТИЛЯ)

* * *

Одной из наиболее важных тем статьи должна стать тема о назначении поэта. Она должна быть названа и связана с Блоком.

Написать о том, что такое типология стиля, и после этого — о реализме, который уже воспринимается

не как историческая категория, а как оценка качества. В связи с Ахматовой — это проблема романтизма и классицизма.

Если встать на типологическую точку зрения (обязательно оговорить свое отношение к типологическому и историческому пониманию стиля с примерами из Иоффе и ссылками на Ремизова), то нужно сказать, что стихи Ахматовой это отрицание романтизма и утверждение классицизма. Отличие классицизма Ахматовой от классицизма исторического (не метафорического) в том, что исторический классицизм создавал формулы вообще, формулы Любви, Ненависти, Страсти, Порока и т. д., формулы категорий, безотносительно к индивидуальным особенностям людей, которые их выражали. Ахматова же создает формулы для определенного человека — своего лирического героя, обладающего определенным характером. Это литература характеров (характера), в отличие от классицизма, который был литературой категорий. 292—293. Возможно, с этим связано стремление связать лирику Ахматовой с прозаическими жанрами и с прозаиками (Эйхенбаум, Мандельштам). К названным ими прозаикам следует прибавить Чехова.

* * *

Теория Рикардо. А. Жид, II, 486. Отрабатываются просодии, жанры.

Кубистическое изображение предметов более алгебраично, реалистическое — более арифметично. Кубизм создает общие формулы предметов — формулу головы, яблок, деревьев. Для кубиста это категории, а не индивидуальные головы, яблоки, деревья.

Абстракционизм не явился неожиданно, и связан, конечно, не с появлением Кандинского, или Малевича, или Мондриана. Он был всегда, особенно проявлялся в искусстве, ставившем себе преимущественно изобразительные задачи. Новые же художники лишь в ы дели

ли его из традиционного искусства. Подобно тому, как в повести Гоголя были заложены приемы поэтики футуризма и нужно было только что-то усилить, что-то ослабить, и вместо привычного, так называемого реалистического, искусства получался футуристический слом. Абстракционизм, кроме всего прочего, это взаимоотношение цветов (и форм), связанных между собой и не связанных с реальным светом (или цветом). (Абстракционизм — это живопись только цвета, а не света!) Поэтому для него не имеет решающего значения изобразительное назначение пятна, т. е. его очертания, воспроизведение очертания предмета. Серия пятен может "изображать" кувшин, коробочку папирос, драпировку и яблоко, но если с н я т ь очертания кувшина, коробки папирос, драпировки и яблока, то останутся взаимоотношения связанных между собой пятен. Проникновение абстракционизма так широко, потому что он может скрыться под очертания кувшина, коробки папирос, драпировки и яблока.

О смене стилей.

Смерть символизма и рождение акмеизма и футуризма. Случайно ли то, что смерть символизма совпала с рождением двух столь различных школ? Что каждая из этих школ взяла от символизма?

Кризис стиля наступает в результате его экспансии во внеэстетические области.

Прочитать бердяевскую характеристику Вячеслава Иванова в связи с экспансией стиля во внеэстетические области.

Причины разложения символизма, возникновения акмеизма и поэтических особенностей разных поэтов, в частности Ахматовой. Искусство и история. Что такое смена стилей, что такое каждое явление в искусстве. Чем все это вызывается. В наше время все это стало значительно понятнее, потому что очень упростилось: государство рассматривает искусство как одно из средств воспитания народа и задает в связи с этим искусству воспитательную задачу. Но какие же импульсы двигают художественное развитие в периоды, когда государственное вмешательство отсутствует? Что его

заменяет? Ведь развитие искусства, несомненно, зависит от исторического процесса. У него, несомненно, есть имманентные законы развития, но главный его двигатель, как и всего, история.

Акмеизм родился в недрах символизма (см. статью М. Кузмина). Это очень важное обстоятельство. Если в статье акмеизм не будет противопоставлен символизму, то на Кузмина можно опереться, ибо и сам ее автор, и его принципы "прекрасная ясность" и др. возникли в символизме. Если же окажется, что акмеизм противопоставлен символизму, то у Кузмина, несомненно, найдется много материала, подтверждающего антагонизм двух школ.

Вероятнее всего, акмеизм сначала противопоставлял себя символизму. Но последующие, более радикальные литературные течения, в частности футуризм, сделали это противопоставление не очень контрастным, и антитеза "символизм — акмеизм" заместила более радикальной — "символизм — футуризм", с тем, чтобы потом, пройдя тяжелый исторический фильтр, превратиться в нечто совершенно бесформенное и полубесмысленное: "символизм — реализм". Бесмысленность такой антитезы проистекает из того, что под реализмом вообще, а здесь особенно подразумевается не конкретное историко-литературное явление, а оценка. Реализм из историко-литературной категории, из стиля стал оценкой качества, реализм — это стало "хорошо" (оценкой то, что хорошо).

Выдвижение акмеистами Ин. Анненского очень характерно. Несмотря на то, что он выступил в печати (как поэт) в 1901 году ("Меланиппа-Филосов"), а "Тихие песни" вышли в 1904 году, т. е. в эпоху зрелого символизма, он был связан с предсимволистским, декадентским периодом русской литературы, и это сыграло решающее значение. Акмеизм как школа родился в результате кризиса символизма. Кризис символизма возник из-за того, что в процессе развития школа постепенно утрачивала свои чисто эстетические черты и приобрела новые, к поэзии непосредственного отношения не имеющие. Анненский пришел в русскую

поэзию тогда, когда символизм был еще только художественным направлением, а так как он развивался вне непосредственного влияния символистов и был независим от партийных лозунгов, догматов и обязательств, то он и сохранил черты, которые делали символизм в свое время столь привлекательным для молодого поколения поэтов.

(Анненский очень важен для творчества Ахматовой, о нем нужно говорить обстоятельно или уж по крайней мере внятно. Поэтому о нем, вероятно, лучше всего сказать в связи с взаимоотношениями акмеизма и символизма. Здесь же надо попытаться сказать о Блоке, в частности, по поводу его раздраженной, злобной статьи "Без божества, без вдохновенья". Обратить внимание на то, как и в какие места вводятся второстепенные лица. Кажется, Бен Джонсон говорил, что настоящего драматурга можно отличить от ремесленника по тому, как он вводит действующих лиц.)

(ПАСТЕРНАК)

После упоминания Пастернака — Лермонтов (навел удар...), "Послесловие".

Любопытно, что Пастернак в стихотворении, посвященном Ахматовой, подробно перечисляя ее темы (длинный список!), не упоминает о любовной теме. Это характерно и важно. Написать об этом в статье. Все критики твердят о преобладании любовной темы у Ахматовой, чуть ли не о единственной ее теме, а вот замечательный поэт, в стихах, а не в случайном упоминании "не замечает" этого. В стихотворении Пастернака ни слова не сказано о любви. Очевидно, он не считает эту тему важной для Ахматовой. С этой точки зрения любопытно прислушаться к мнениям о ней других поэтов. Эти мнения собраны Голлербахом в антологии "Образ Ахматовой". (Рассказать об этой антологии, о том, что думают русские поэты о ней.)

Стихи Ахматовой, посвященные Пастернаку, очень похожи на стихи Пастернака, посвященные Ахматовой.

Пастернак в статье дважды. Один раз в связи с односторонностью Ахматовой, второй — в связи с Пушкиным.

Как перекликаются стихи Пастернака, посвященные Ахматовой, и стихи Ахматовой, посвященные Пастернаку.

И цикл "Поверх барьеров" ("Смешанные стихотворения") в значительной мере состоит из посвящений: "Другу", "Анне Ахматовой", "Марине Цветаевой", "Мейерхольдам", "Ларисе Рейснер".

Пастернак в статью может быть введен следующим образом. Ахматовское представление о поэте: "Он награжден каким-то вечным детством". Пушкин у русских поэтов. Темы Ахматовой, названные критиками и поэтами. Ахматовские стихи о русских поэтах (Блок, Маяковский, Пастернак). Сходство судеб. Ряд, в котором стоит Ахматова (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Маяковский, Пастернак).

Что же такое пастернаковское "Как будто образ входит в образ. И как предмет сечет предмет". Несомненно, здесь черты специфически литературного кубизма. Вряд ли это возможно воспринимать как какое-то литературное выражение уже готовых решений. Это не описание памятника. Вряд ли это скрипка с картины Пикассо, перешедшая в стихотворение поэта. Скорее всего, это общая причина, выражавшаяся то в рассеченной скрипке, то в строке поэта. Но что же это такое, образ, входящий в образ, и предмет, секущий предмет? Это то, что современное сознание с его все более интенсифицирующейся пытливостью, с его неведомым раньше умением проникнуть в предмет извлекает из этого предмета, это извлечение значений из не только видимого, но и скрытого, из того, что в предмете, что за предметом. Это ощущение того, что не лежит на видимой плоскости, а то, что лежит за плоскостью, за предметом, что скрыто, но что существует и известно, как оно существует, скрытое.

У Пастернака связь со временем была гораздо разнообразней и сильнее, чем у Ахматовой. У Пастернака она была окрашена главным образом двумя красками: желанием слиться с ним и активным неприятием. У Ахматовой были или скорбный ужас в первые месяцы, может быть, первые годы революции и совершенное равнодушие в последующее время. Это различие в отношении ко времени вызвало значительно большую пастернаковскую широту, импульсивность. Пастернак был более непосредственно заинтересован миром. Ахматова поэт несомненно более, чем Пастернак, замкнутый и отгороженный от мира. Если пытаться ввести в эту тему измерения (направления) то, вероятно, взаимоотношения Ахматовой и Пастернака с миром следовало бы уподобить измерению глубины, измерению ширины. Ахматова уходит вглубь темы, Пастернак — вширь. Но чем вызвана эта разница у поэтов, если и не одного поколения, что впоследствии перестало играть серьезную роль, то, во всяком случае, одной культуры, одного происхождения (поэтического) и, главное, такой общности судьбы? Ведь не случайно мы так настойчиво в сознании своем соединяем этих двух поэтов.

Усилить тему взаимоотношений Ахматовой с Пастернаком, и именно на связи с действительностью и историей.

Поэтические различия Ахматовой и Пастернака очень велики. Если бы поэтов роднила только их поэзия, те их темы, их формы, то Ахматову с Пастернаком можно было бы сравнивать с не большей правотой, чем Ахматову с Тютчевым. Но Ахматову следует сравнивать с Пастернаком из-за общности их судеб, из-за страстной и самоотверженной защиты ими обоими своего человеческого и поэтического суверенитета. Однако сравнивая, не следует преувеличивать. Пастернак, несомненно, поэт более прикрепленный по своей манере к совершенно определенной поэтической эпохе. Он является прямым наследником ближайшего поэтического прошлого, и его поэтическая точка образовалась на скрещении линий символистской, акмеистической и футуристической поэзии. Открытия Пастернака не могли появиться без предшествующих этапов истории

поэтического мышления. Пастернак немислим вне связи с Блоком и Маяковским. Открытия Ахматовой не лежат в ряду развития предшественников. Она лояльна в отношении традиции. Для нее, конечно, не миновал бесследно век истории русской литературы, но ее наследственность больше, чем у кого бы то ни было из всех русских поэтов прямо связана с Пушкиным.

С Пастернаком Ахматову сближает общность судеб, страстная и самоотверженная защита своего суверенитета.

(ПОЯВЛЕНИЕ ХРИСТА)

Появление Христа в финале революционной поэмы, конечно, не совсем обычно, и легко понять до сих пор еще не прошедшее удивление. Но в то же время это появление нельзя считать совершенно неожиданным. Неожиданным оно кажется, только если не выходить за пределы рассуждения на тему о том, что в финале революционной поэмы не должен появляться Иисус Христос. Если же выйти за пределы этого очень серьезного, но слишком короткого рассуждения, то все может показаться несколько менее удивительным, чем это кажется сразу. Следует прежде всего сказать, что поэма, заканчивающаяся Христом, начинается числом апостолов Христа. Таким образом, положение осложняется тем, что в поэме уже не один Христос, но еще и со своими 12 апостолами, т. е. евангелическая тема финала задана с самого начала. Но апостолы взяты в пародийном, оксюморонном плане, почему к ним и не предъявляется особенных претензий, которые предъявляются Христу. Христос же взят в плане высоком, обычном. Пародированный Христос, конечно, не вызвал бы недоумений, как не вызывает недоумений Бог в "Облаке в штанах". Кстати, полезно было бы исследовать, возможно, не случайное совпадение между первым названием "Облака в штанах" и поэмой Блока. Но главное не это. Главное вот что. Александр Блок за 20 лет, предшествующих поэме, претерпел сложную, иногда противоречивую, но скорее все-таки последовательную эволюцию, без ката-

строфических и необъяснимых скачков от одного произведения к другому. Единственным таким скачком была поэма "Двенадцать". Она — несомненное следствие и логическое завершение блоковского пути, но между нею и предшествующими произведениями разрыв, конечно, значительно больший, чем между любыми из двух предшествующих. И вот этот разрыв Блок заполняет Иисусом Христом. Блоку нужно остаться Блоком, он должен связать написанное со своим прошлым, с самим собой.

Для него новая поэма не была прощанием с прошлым. Она была естественным следствием всего написанного ранее. Блок не возвращается к своему прошлому в последней строфе, а наоборот, он шел от своего прошлого, от последней строфы к своему будущему — к революционной поэме. Мне кажется, что методологически важно изучать поэму как развитие Блока, как естественное следствие всего написанного за двадцать лет, а не противопоставлять поэму двадцатилетнему творческому пути. Нужно помнить, что Христос в поэме связан с контекстом из всей поэмы, наиболее близким предшествующему Блоку. Блок не просто напоследок вставил в финал Христа, но взял его вместе с "каноническим Блоком".

Мы считаем поэму естественным следствием всего развития поэмы и выводим революционность поэмы из всего предшествующего творчества. Но мы забываем, что из всего предшествующего творчества нужно вывести ВСЕ имеющееся в поэме. Нам кажется естественным, что автор "Сытым" и "Фабрики" написал строки "Революционный держите шаг, Неугомонный не дремлет враг!". Но мы почему-то удивляемся, что поэт, написавший "Из лазурного чертога Время тайне снизойти. Белый, белый Ангел бога Сеет розы на пути" (1,156), мог написать "Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Иисус Христос".

Незнакомка — это соединение самых высоких небесных начал с самыми низкими земными.

Для того чтобы понять "Двенадцать" с ее концом, неожиданность которого так старательно преувеличивают, нужно перестать удивляться. Нужно понять, что для Блока неожиданным был не конец, сам по себе совершенно естественный в его творчестве, а все, что написано в поэме до этого конца. Нужно понять, что в лучшем случае может показаться удивительным сочетание этого конца с остальной поэмой. Нужно понять, что, если следует удивляться, то уж с самого начала, не с Христа, а с апостолов. Но тогда вообще удивляться нечему: если в поэме участвуют **д в е н а д ц а т ь** апостолов, то что же удивительного в том, что среди них появляется Христос. Это совершенно не удивительно. Удивительно не то, что он появился в неподходящем месте, а то, что он появился в неподходящее время. Удивительно в поэме то, что какому-нибудь времени она всегда покажется удивительной или своим концом или своим началом.

Как мелко, раздраженно и озлобленно (вплоть до упреков в плагиате с "sic", с вопросительными и восклицательными знаками в скобках) то, что пишет Блок об акмеистах (8,199)...

Странная статья "Без божества, без вдохновенья"... Это пишет старьй, старьй человек, давно забывший, что 20 лет назад он и его товарищи пробивались сквозь заслоны, заставы и рогатки "реалистического" искусства 90-х годов... Каким злобным рычанием этот человек встречает (новую школу) молодых поэтов.

("ХУДОЖНИК СДЕЛАЛ ТАК — СДЕЛАЛ НЕ ТАК")

Остановиться, и весьма основательно, на том, в какой мере мы имеем право говорить: "Художник сделал так", "художник сделал не так". Нужно выяснить, что художник "делает" и что у художника "получается", независимо от его воли, интуитивно, случайно. Конечно, следует оговорить, что и интуиция, и привычка, и мастерство, ставшее уже безотчетным, и случайность играют большую роль в творчестве. Но все это ни в какой мере не снимает рационального, иногда более, иногда

менее точного представления художника о своем труде. Это можно показать и с помощью цитат, и с помощью (главное) проходящих неоднократно в отдельные периоды или через весь творческий путь приемов, осмысленность и понятость которых не вызывает сомнений. В то же время нужно постараться объяснить, что рационалистическое отношение к своему труду не есть обязательная категория для всех художников, что это очень индивидуально, и в то же время разные эпохи относятся к этому по-разному, что это может служить предметом ожесточенных дискуссий, как это и было в период борьбы романтиков с классиками. Определить, к какому типу художника относится Ахматова. Я думаю, что она относится к типу художника, который знает что творит. Связать это с темой Музы.

Вот два стихотворения. В одном поэт говорит, что он помнит чудное мгновение, когда перед ним явилась любимая женщина. В другом — поэтесса говорит о том, что она слышит, как скрипки поют о том, что она в первый раз одна с любимым мужчиной.

В обоих стихотворениях нет особенной близости, кроме разве что и в том и в другом случае это первые встречи. Но дело не в этом. Я хочу выяснить, почему первое стихотворение так единодушно признается (справедливо) одним из лучших произведений русского поэтического искусства, а второе (несправедливо) или замалчивается, или в иные времена стоит под угрозой осуждения. Я не буду повторять ходячих банальностей о том, что Пушкину удалось с поразительной силой и т. д. показать удивительно, необыкновенно и т. д. чистое, ослепительное и т. д. чувство и благородное, превосходное и т. д. отношение к женщине. Я не буду всего этого говорить, потому что, во-первых, все это уже давно и хорошо известно, во-вторых, все это можно сказать едва ли не обо всей хорошей лирике и, в-третьих, потому что все это, может быть, и необходимо, но в высшей степени недостаточно. Я хочу сказать о более простых и менее общих вещах, о том, что же такое имеется в самом стихотворении.

Что значит фраза "Я верю этим стихам, прозе, драме, живописи и т. д.", которую мы привычно произносим и которая стала приобретать примерно такой же оттенок, как слово "настроение" в болтовне о пейзажах, романсах и пр.? Эта фраза означает, что в результате сложения некоторых черт, данных художником, у вас возникло представление о характере героя произведения (в том числе — лирического героя). На основании этого представления мы судим о том, что этому герою свойственно и что не свойственно. Это суждение подобно тому, какое бывает в жизни, когда на основании своего представления о человеке мы находим естественным или неестественным его поступок, слова, одежду, взаимоотношения с другими людьми. Нам показалось бы странным, непонятным и противоречащим основным свойствам человека, которого мы знаем добрым, отзывчивым, умным, если бы вдруг стало известно, что такой человек из корыстных побуждений напечатал какую-нибудь гнусность в журнале "Октябрь" или залез кому-нибудь в карман. Точно так же нас неприятно поразило бы слово "обратно", например, в стихотворении "Я помню чудное мгновенье" и не поразило бы такое слово в "Балладе о нагайке", например, А. Софронова, потому что в первом случае оно вступило бы в противоречие с характером лирического героя, а во втором было бы в полном соответствии с ним. В художественном произведении любого жанра мы имеем дело с людьми (образами, характерами), и поэтому все, что происходит в художественном произведении — композиция, сюжет, ритм, метафоры, фонетика и пр., — должны быть в строгом соответствии с этими людьми. Появление лишней строфы в законченности такой композиции, как "Когда волнуется желтеющая нива", было бы нами воспринято как нелепость, как то, что Обломов бы вдруг сорвался с дивана и побегал в Калифорнию добывать золотой песок.

Раньше чем начинается осмысливание, т. е. социальное восприятие красоты, появляется биологическое узнавание ее. Кибернетический минимум "да — нет", "красиво — некрасиво" восприятия биологичен. Затем,

когда уже установлено "да", т. е. сделан выбор, начинается социальное восприятие. Человек стремится к красоте лишь в малой степени по биологической потребности. Главным образом он стремится к ней на основании своего социального опыта. В состав его социального опыта часто входит мнение соседей и прочитанные в центральной и местной печати элоквенции на эстетические темы. В связи с этим человек иногда путает то, что, по его мнению, должно быть красиво. (Человек часто путает свое биологическое восприятие красоты, которое может быть верным или неверным в зависимости от его биологической организации с тем, что посоветовали ему соседи.)

Быстрая смена этапов технической цивилизации невольно заставила людей относиться ко многому в истории, что не связано с техническим развитием, как к чему-то неподвижному. Это усилено тем, что развитие технической цивилизации неминуемо, для отдельного человека неостановимо и, как правило, связано с улучшением жизни. Отношение к эстетическому развитию совершенно иное. Это связано с многочисленными причинами. Главная причина заключается в отсутствии бесспорности. Замещение конного городского транспорта механическим в большинстве случаев кажется бесспорным и неминуемым. В то время как одна стилистическая смена другой часто кажется достаточно проблематичной. Кроме того, признание новых форм технической цивилизации в подавляющем большинстве случаев бывает массовым, стилистическая же смена в искусстве как правило десятилетиями остается дискуссионной. Наконец, в истории технической цивилизации (кроме случаев, связанных с военными или природными бедствиями) не происходит возвращения к предшествующим формам, в то время как в искусстве (и не только в искусстве) такие возвращения достаточно привычны. Привычка к быстрой смене технической цивилизации заставила людей относиться к медленно текущей истории мысли, в том числе и искусства египетской фрески, танца у костра и библейского эпоса до Серова, Шостаковича и Пастернака, как к чему-то неподвижному. Путь от пещерного рельефа до современной живописи так же

незаметен, как незаметно движение часовой стрелки. За это же время путь, который прошла дубина до космического корабля (кибернетической машины), неизмеримо более насыщен событиями.

Так как очень многие люди лишены биологического чувства прекрасного, то они слушаются соседей (имеющих социальный опыт). Соседи же говорят, что Ярошенко и (Направник, Налбандян) Соловьев-Седой лучше Серова и Шостаковича.

История эстетического развития человечества не является проявлением одной лишь части его (человека) естественной истории биологической эволюции — истории его тела, но является преимущественно развитием его сознания.

Биологическая эволюция разных частей человеческого тела шла крайне неровно, но всегда подчиняясь законам естественного отбора.

В истории этой эволюции далеко не все равноценно, и история ноги, например, не представляет выдающегося интереса, потому что в фазисах (этапах) социологических превращений ноги за тысячелетия от дикаря до балерины, стоящей на пуанте цивилизации, не произошло ничего особенно существенного. Нога не сыграла в истории человеческой цивилизации последних трех тысячелетий решающей роли. Даже в литературе, специально оговаривающей ногу, как например, в "Иллиаде", поэт фактически подменяет ее рукой. Так во всей эпосе нога Ахилла играет сюжетобразующую роль лишь три раза, и то неудачно. Наиболее развернут мотив ноги в 24 (?) песне: Пелид трижды обегает следом за Гектором вокруг Илиона и догоняет его лишь потому, что Гектор останавливается сам. Руки же Ахилла мелькают на каждой странице эпоса.

В отличие от истории ноги, эволюция центральной нервной системы становится историей человеческого общества.

В то же время не следует подменять общественную историю, являющуюся лишь частью биологической, всей биологией (как не следует подменять мозгом всего человека), а историю искусства — ногой.

Историк должен помнить о биологии, но изучать

он должен историю, потому что если он будет смешивать оба предмета, то не исключено, что вместо вопросов социальных взаимоотношений человеческого общества он станет изучать ноги.

История — это лишь синекдоха биологии.

История искусств неизмеримо подвижнее биологической истории — эволюции. Так как красота является производным биологии, а биология за историческое время осталась неизменной, то сам собой напрашивается силлогизм с простеньким выводом: красота — производное биологии, биология неизменна, красота — неизменна.

По счастью, существует реальная история искусств, которая все время опровергает эти простенькие силлогизмы.

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ

1899—1980

Из восьмидесяти одного года своей жизни Надежда Мандельштам девятнадцать лет была женой величайшего русского поэта нашего времени, Осипа Мандельштама, и сорок два года — его вдовой. Остальное пришлось на детство и юность. В интеллигентных кругах, особенно в литературных, быть вдовой великого человека — это почти профессия в России, где в тридцатые и сороковые годы государство производило писательских вдов в таких количествах, что к середине шестидесятых из них можно было создать профсоюз.

„Надя самая счастливая из вдов”, — говоря это, Анна Ахматова имела в виду то всеобщее признание, которое пришло к Мандельштаму об эту пору. Самое замечание относилось естественно в первую очередь к судьбе самого поэта, собрата по перу, но при всей его справедливости оно свидетельствует о взгляде извне. К тому времени, когда вышеупомянутое признание стало нарастать, Н. Я. Мандельштам была уже на седьмом десятке весьма шаткого здоровья и почти без средств. К тому же признание это, даже будучи всеобщим, все же не распространялось на „одну шестую земного шара”, на самую Россию. За спиной у Надежды Яковлевны уже были два десятка лет вдовства, крайних лишений, великой — списывающей все личные утраты — войны и ежедневного страха быть схваченной сотрудниками госбезопасности как жена врага народа. За исключением разве что смерти все остальное после этого могло означать только передышку.

Впервые я встретился с ней именно тогда, зимой 1962 года, во Пскове, куда с приятелями отправился взглянуть на тамошние церкви (прекраснейшие, должен сказать, во всей империи). Прослышав о нашем намерении поехать во Псков, Анна Андреевна Ахматова посоветовала нам навестить Надежду Мандельштам, которая преподавала английский в местном пединституте, и попросила передать ей несколько книг. Тогда я впервые и услышал это имя: прежде я не догадывался о ее существовании.

Жила она в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимала квартуполномоченная, чья фамилия по иронии судьбы была — Нецветаева, а другую — Н. Я. Мандельштам. Комната была размером со среднюю американскую ванную — восемь квадратных метров. Большую часть площади занимала железная полуторная кровать; еще там были два венских стула, комод с небольшим зеркалом и тумбочка, служившая также и столом: на ней находились тарелки с остатками ужина, а рядом — английская книжка в бумажной обложке — „Еж и лисица” Исайи Берлина.¹

Присутствие этой красной книжки в каморке, и самый факт, что она не была спрятана под подушку, когда в дверь позвонили, как раз и означало, что передышка началась.

Как выяснилось, книгу эту тоже прислала Ахматова, в течение полувека оставаясь ближайшим другом Мандельштамов: сначала обоих, потом уже одной Надежды. Сама дважды вдова — первый ее муж, поэт Николай Гумилев, был расстрелян чека, т. е. КГБ в девичестве; второй — искусствовед Николай Пунин — умер в концлагере, принадлежащем той же организации, Ахматова всеми возможными средствами помогала Н. Я. Мандельштам, а во время войны буквально спасла ее, контрабандой вытащив в Ташкент, куда была эвакуирована часть Союза писателей и где она делила с ней свой паек. Даже при том, что два ее мужа были уничтожены государством, а сын томился в лагерях (общей сложностью около шестнадцати лет, если мне не изменяет память), Ахматова все же была в несколько лучшем положении, чем Надежда Яковлевна, хотя бы потому,

что ее, хоть и скрепя сердце, но признавали писательницей и позволяли проживание в Ленинграде или в Москве. Для жены врага народа большие города были закрыты.

Десятилетиями эта женщина находилась в бегах, петляя по захолустным городишкам великой империи, устраиваясь на новом месте лишь для того, чтобы вновь сняться при первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая, с годами она сохла и съеживалась больше и больше, словно в попытке превратить себя в нечто невесомое, что можно быстренько сложить и сунуть в карман в случае бегства. Также не имела она совершенно никакого имущества: ни мебели, ни произведений искусства, ни библиотеки. Книги, даже заграничные, никогда не задерживались у нее надолго: прочитав или просмотрев, она тут же отдавала их кому-нибудь, как, собственно, и следует поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия, в конце шестидесятых — начале семидесятых, в ее однокомнатной квартире на окраине Москвы самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. Вора бы здесь постигло разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск.

В те „благополучные” годы, следовавшие за публикацией на Западе двух томов ее воспоминаний, эта кухня стала поистине местом паломничества. Почти каждый вечер лучшее из того, что выжило или появилось в послесталинский период, собиралось вокруг длинного деревянного стола, раз в десять побольше, чем псковская тумбочка. Могло показаться, что она стремится наверстать десятилетия отверженности. Я, впрочем, сомневаюсь, что она этого хотела, и как-то лучше помню ее в псковской комнатухе или примостившейся на краю дивана в ленинградской квартире Ахматовой, к которой она иногда украдкой наезжала из Пскова, или возникающей из глубины коридора у Шкловских в Москве — там она ютилась, пока не обзавелась собственным жильем. Вероятно, я помню это яснее еще и потому, что там она была больше в сво-

ей стихи — отщепенка, беженка, „нищенка-подруга”, как назвал ее в одном стихотворении Мандельштам, и чем она в сущности и осталась до конца жизни.

Есть нечто ошеломляющее в мысли о том, что она сочинила оба свои тома шестидесяти лет от роду. В семье Мандельштамов писателем был Осип, а не она. Если она и сочиняла что-либо до этих двух томов, то это были письма друзьям или заявления в Верховный суд. Неприложим к ней и традиционный образ мемуариста, на покое обзирающего долгую, богатую событиями жизнь. Ибо ее шестьдесят пять лет были не вполне обычны. Недаром в советской карательной системе есть параграф, предписывающий в лагерях определенного режима зачитывать один год за три. По этому счету немало русских в этом столетии сравнимы с библейскими патриархами. С коими у Мандельштам было и еще кое-что общее — потребность в справедливости.

Однако не одна лишь страсть к правосудию заставила ее, шестидесятилетнюю, в момент передышки засесть за писание этих книг. Эти книги появились на свет, потому что в жизни Надежды Мандельштам повторилось то, что уже произошло однажды в истории русской литературы. Я имею в виду возникновение великой русской прозы второй половины девятнадцатого века. Эта проза, возникшая словно бы ниоткуда, как некое следствие, причину которого невозможно установить, на самом деле была просто-напросто отпочкованием от русской, девятнадцатого же века, поэзии. Поэзия задала тон всей последовавшей русской литературе, и лучшее в русской прозе можно рассматривать как отдаленное эхо, как тщательную разработку психологических и лексических тонкостей, явленных русской поэзией в первой четверти того же столетия. „Большинство персонажей Достоевского, — говорила Ахматова, — это постаревшие пушкинские герои, Онегины и так далее”.

Поэзия и вообще всегда предшествует прозе; во многих отношениях это можно сказать и о жизни Надежды Яковлевны. И как человек, и как писатель она была следствием, порождением двух поэтов, с которыми ее жизнь была связана неразрывно: Мандельштама

и Ахматовой. И не только потому, что первый был ее мужем, а вторая другом всей ее жизни. В конце концов за сорок два года вдовства могут поблекнуть и счастливейшие воспоминания (а в случае этого брака таких было далеко не много, хотя бы потому, что годы совместной жизни пришлись на период разрухи, вызванной войной, революцией и первыми пятилетками. Сходным образом бывало, что она не виделась с Ахматовой годами, а письмам уж никак нельзя было доверять. Бумага вообще была опасна. Механизмом, скрепившим узы этого брака, равно как и узы этой дружбы, была необходимость запоминать и удерживать в памяти то, что нельзя доверить бумаге, то есть стихи обоих поэтов.

В подобном занятии в ту, по слову Ахматовой „догуттенбергскую”, эпоху Надежда Яковлевна безусловно не была одинока. Тем не менее, повторение днем и ночью строк покойного мужа несомненно приводило не только ко все большему проникновению в них, но и к воскрешению самого его голоса, интонаций, свойственных только ему одному, к ощущению, пусть мимо-летному, его присутствия, к пониманию, что он исполнил обещания по тому самому договору „в радости и в горе...”, особенно во второй половине. То же происходило и со стихами физически часто отсутствующей Ахматовой, ибо механизм запоминания, будучи раз запущен, уже не может остановиться. То же происходило и с некоторыми другими авторами, и с некоторыми идеями, и с некоторыми этическими принципами, словом, со всем, что не смогло бы уцелеть иначе.

И все это мало-помалу вросло в нее. Потому что если любовь и можно чем-то заменить, то только памятью. Запоминать — значит восстанавливать близость. Мало-помалу строки этих поэтов стали ее сознанием, ее личностью. Они давали ей не только перспективу, не только угол зрения; важнее то, что они стали для нее лингвистической нормой. Так что когда она засела за свои книги, она уже была обречена на соизмерение — уже бессознательное, инстинктивное к тому времени — своих слов с их словами. Ясность и безжалостность ее письма, которая отражает характерные черты ее интеллекта, есть также неизбежное стилистическое след-

ствие поэзии, сформировавшей этот интеллект. И по содержанию, и по стилю ее книги суть лишь постскриптум к высшей форме языка, которой, собственно говоря, является поэзия и который стал ее плотью благодаря заучиванию наизусть мужниных строк.

Если перефразировать Одена, великая поэзия „ушибла ее в прозу”. Именно так, поскольку наследие этих двух поэтов могло быть разработано только в прозе. В поэзии оно могло стать достоянием лишь эпигонов. Что и произошло. Другими словами, проза Надежды Яковлевны Мандельштам для самого языка оказалась единственной средой, где он мог избежать застоя. Точно так же эта проза оказалась единственной из подходящих средой, в которой могла бы удержаться сама душа языка, как им пользовались эти два поэта. Таким образом, ее книги являются не столько мемуарами и комментариями к биографиям двух великих поэтов, и как ни превосходны они в этом качестве, эти книги растолковали сознание русского народа. По крайней мере той его части, которой удавалось раздобыть экземпляр.

Нечего удивляться в таком случае, что это растолкование оборачивается осуждением режима. Эти два тома Н. Я. Мандельштам действительно могут быть приравнены к Судному дню на земле для ее века и для литературы ее века, тем более ужасном, что именно этот век провозгласил строительство на земле рая. Еще менее удивительно, что эти воспоминания, особенно второй том, вызвали негодование по обеим сторонам кремлевской стены. Должен сказать, что реакция властей была честнее, чем реакция интеллигенции: власти просто объявили хранение этих книг преступлением против закона. В интеллигентских же кругах, особенно в Москве, поднялся страшный шум по поводу выдвинутых Надеждой Яковлевной обвинений против выдающихся и не столь выдающихся представителей этих кругов в фактическом пособничестве режиму: людской прибой на ее кухне существенно поприших.

Были открытые и полуоткрытые письма, исполненные негодования, решения не подавать руки, дружбы и браки рушились по поводу, права она была или не

права, объявляя того или иного типа стукачом. Выдающийся диссидент заявлял, потрясая бородой: „Она обосрала все наше поколение”; иные кинулись по дачам и заперлись там, чтобы срочно отстучать собственные антивоспоминания. Уже начинались семидесятые годы; пройдет лет шесть, и среди тех же людей произойдет похожий раскол по поводу отношения Солженицына к евреям.

Есть нечто в сознании литератора, что делает самую идею о чем-то моральном авторитете неприемлемой. Литератор охотно примирится с существованием генсека или фюрера, но непременно усомнится в существовании пророка. Дело, вероятно, в том, что легче переварить утверждение „Ты — раб”, чем „С точки зрения морали ты — ноль”. Как говорится, лежачего не бьют. Однако пророк дает пинка лежачему не с намерением его прикончить, а чтобы заставить его подняться на ноги. Пинкам этим сопротивляются, утверждения и обвинения ставятся под сомнение, и не для того, чтобы установить истину, но из-за присущего рабу интеллектуального самодовольства. Еще хуже для литератора, когда дело идет об авторитете не только моральном, но и культурном, как это было с Н. Я. Мандельштам.

Я рискнул пойти еще чуть-чуть дальше. Действительность обретает смысл и значение только посредством восприятия. Восприятие, вот что делает действительность значимой. И есть иерархия восприятий (и, соответственно, значимостей), увенчанная восприятиями, добываемыми при помощи призм наиболее чувствительных и тонких. Есть только один мастер, способный придать призмам подобную тонкость и чувствительность — это культура, цивилизация, с ее главным инструментом — языком. Оценка действительности, производимая сквозь такую призму, приобретение которой есть общая цель для всех представителей человеческого рода, стало быть, наиболее точна, возможно даже, наиболее справедлива. (Вопли „Нечестно!” и „Элитаризм!”, коими вышесказанное может быть встречено, и прежде всего в наших университетах, не следует принимать во внимание, ибо культура элитарна по определению, и применение демократических

принципов к сфере познания чревато законом равенства между мудростью и невежеством.

Но исключительность масштабов ее горя, а именно обладание такой призмой, полученной от лучшей русской поэзии двадцатого века, — вот что делает суждения Н. Я. Мандельштам относительно увиденной ею действительности неоспоримыми. Это гнусная ложь, что великому искусству необходимо страдание. Страдание ослепляет, оглушает, разрушает, зачастую оно убивает. Осип Мандельштам был великим поэтом уже до революции. Так же как Анна Ахматова, так же, как Марина Цветаева. Они бы стали тем, чем они стали, даже если бы Россия не пережила известных исторических событий текущего столетия: ибо они были о д а р е н ы. Талант, в принципе, в истории не нуждается.

Стала бы Н. Я. Мандельштам тем, чем она стала, не произойди революция и все остальное? Возможно, нет, так как она встретила со своим будущим мужем в 1919 году. Вопрос однако сам по себе некорректен: он заводит нас в туманные области теории вероятности и исторического детерминизма. В конце концов она стала тем, чем она стала, не благодаря тому, что произошло в России в текущем столетии, а скорее вопреки тому. Указующий перст казуиста непременно ткнет в то, что с точки зрения исторического детерминизма „вопреки” синонимично „потому что”. Ну и бог с ним тогда, с историческим детерминизмом, ежели он проявляет такое беспокойство по поводу значения обыкновенного человеческого „вопреки”.

Все это, впрочем, не без причин. Коль скоро слабая шестидесятипятилетняя женщина оказывается способной замедлить, если не предотвратить в конечном счете культурный распад нации. Ее воспоминания суть нечто большее, чем свидетельство о ее эпохе: это взгляд на историю в свете совести и культуры. История в этом свете съживается, а индивидуализм осознает свой выбор — между поисками источника света или совершением антропологического преступления против самого себя.

В ее задачу совсем не входило сыграть такую роль, ни тем более не стремилась она свести счеты

с системой. Для нее это было частным делом, делом ее характера, ее личности и того, что сформировало ее личность. А личность ее была сформирована культурой и лучшим, что она произвела: стихами ее мужа. Это их, стихи, а не память о муже, она спасала. Их, а не его вдовой была она в течение сорока двух лет. Конечно, она его любила, но ведь и любовь сама по себе есть самая элитарная из страстей. Только в контексте культуры она приобретает объемность и перспективу, ибо требует больше места в сознании, чем в постели. Взятая вне этого контекста, любовь сводится к обыкновенному трению.³ Она была вдовой культуры, и, я думаю, что к концу своей жизни любила своего мужа больше, чем в начале брака. Вот, наверное, почему эти книги так врезаются в сознание читателей. И еще, вероятно, потому, что отношения современного мира с цивилизацией также могут быть охарактеризованы как вдовство.

Если ей и не доставало чего-то, так это терпимости. В этом отношении она была совсем не похожа на своих двух поэтов. Но при них было их искусство, и само качество их достижений приносило им достаточное удовлетворение, чтобы быть или казаться смиренными. Она была чрезвычайно предвзятой, категоричной, придирчивой, непримиримой, нетерпимой; нередко ее идеи были недоработанными или основывались на слухах. Короче говоря, характера у нее хватало, что и неудивительно, если принять во внимание, с какими фигурами она сводила счеты в реальной жизни, а позднее в воображении. В конце концов ее нетерпимость оттолкнула многих. Что воспринималось ею как норма, поскольку она устала от поклонения, от восторгов людей вроде Роберта Макнамары или Вилли Фишера (подлинное имя полковника Рудольфа Абея). Единственное, чего она хотела, это умереть в своей постели, в некотором роде ей даже хотелось умереть, потому что „там я опять буду с Осипом”. — „Нет, — как-то сказала ей на это Ахматова, — на этот раз с ним буду я”.

Ее желание исполнилось: она умерла в своей постели. Не так уж мало для русского человека ее поколения. Несомненно, кто-то будет причитать, что она-де

не поняла свою эпоху, отстала от поезда, мчащегося в будущее. Что ж, как все русские ее поколения, она слишком хорошо знала, что мчащиеся в будущее поезда останавливаются в концлагерях или у газовых камер. Ей повезло, как, впрочем, и нам повезло узнать о станции его назначения.

В последний раз я видел ее 30 мая 1972 года в кухне московской квартиры. Было под вечер; она сидела и курила в глубокой тени, отбрасываемой на стену буфетом. Тень была так глубока, что можно было различить в ней только тление сигареты и два светящихся глаза. Остальное — крошечное усохшее тело под шалью, руки, овал пепельного лица, седые пепельные волосы — все было поглощено тьмой. Она выглядела, как остаток большого огня, как тлеющий уголек, который обожжет, если дотронешься.

Авторизованный перевод с английского

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ „Еж и лисица” — эссе известного английского историка и философа сэра Исая Берлина о Льве Толстом.

Isaiah Berlin. *The Hedgehog & the Fox*, New York, Mentor Book, 1957.

² Часть формулы, произносимой при бракосочетании в странах английского языка.

³ Намек на известную грубоватую шутку одного из друзей Мандельштам: „Она думает, что талант передается посредством трения”.

ТРОПА

Печатаемый ниже рассказ недавно скончавшегося В.Шаламова (1909-1982), автора знаменитых "Колымских рассказов" входил в рукописный сборник "Воскрешение лиственницы", циркулировавший в Самиздате.

Публикуется впервые.

В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил, летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много — конусообразные лиственницы, серые, как из папье-маше, были натканы в болоте, будто кольца. Избушка стояла на пригорке, окруженная стланиковыми кустами с зелеными хвойными кисточками — к осени набухшие орехами шишки тянули ветви к земле. Сквозь эти стланиковые заросли и проходила к болоту тропа, а болото когда-то не было болотом, — на нем рос лес, — а потом корни деревьев сгнили от воды и деревья умерли — давно, давно. Живой лес отошел в сторону по подножью горы к ручью. Дорога, по которой ходили автомашины и люди, легла с другой стороны пригорка, повыше по горному склону.

Первые дни мая мне было жаль топтать жирные красные ландыши, ирисы, похожие на лиловых огромных бабочек и лепестками и их узором, огромные толстые синие подснежники неприятно похрустывали под ногой. У цветов, как и у всех цветов Крайнего Севера, запаха не было — когда-то я ловил себя на авто-

матизме движения — сорвешь букет и поднимаешь его к ноздрям. Но потом я отучился. Утром я рассматривал, что случилось за ночь на моей тропе: вот распрямился ландыш, раздавленный моим сапогом вчера, подался в сторону, но все же ожил. А другой ландыш раздавлен уже навсегда — и лежит, как рухнувший телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами, и разорванные паутинки с него свисают, как сбитые провода.

А потом тропа вытопталась, и я перестал замечать, что поперек моего пути ложились ветки стланика, те, которые хлестали мое лицо, я обломал и перестал замечать надломы. По сторонам тропки стояли молодые лиственницы, лет по сту — они при мне зеленели, при мне осыпали мелкую хвою на тропку. Тропа с каждым днем все темнела, и в конце концов стала обыкновенной темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. Прыгали на нее синие белки, да следы египетской клинописи куропадок видал я на ней много раз, и треугольный заячий след встречался, но ведь птица и зверь — не в счет.

Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропке. Я привык к тропе, стал бывать на ней, как в лесном рабочем кабинете. Помню, как в предзимнюю пору холодом, льдом уже схватывало грязь на тропе, и грязь будто засахаривалась, как варенье. И двумя осенями перед снегом я приходил на эту тропу — оставить глубокий след, чтобы на моих глазах затвердел он на всю зиму. И весной, когда снег стаял, я видел мои прошлогодние метки, ступал в старые следы, и стихи писались снова легко. Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал — мороз не дает думать, писать можно только в тепле. А летом я знал все наперечет, все было гораздо пестрей, чем зимой, на этой волшебной тропе — стланик и лиственницы, и кусты шиповника неизменно приводили какое-нибудь стихотворение, и если не вспоминались чужие стихи подходящего настроения, то бормотались свои, которые я, вернувшись в избу, записывал.

А на третье лето по моей тропе прошел человек.

Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог или пеший горный почтальон, или охотник — человек оставил следы тяжелых сапог. С той поры на этой тропе стихи не писались. Чужой след был оставлен весной, и за все лето я не написал ни одной строчки. А к зиме меня перевели в другое место, да я и не жалел — тропа была безнадежно испорчена.

Вот об этой тропе много раз пытался я написать стихотворение, но так и не сумел написать.

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР

Печатаемый рассказ А. Платонова впервые опубликован в журнале „Октябрь”, № 9, 1929 г. С тех пор он нигде не перепечатывался и не вошел ни в один из сборников его произведений. Начиная с 1929 года творчество Платонова систематически подвергалось резкой критике. Особенно сильные нападки вызвали его рассказ „Усомнившийся Макар” и повесть „Впрок” (недавно переизданная изд-вом „Серебряный век”). Оба произведения „удостоились” знаменитой резолюции И. В. Сталина, начертавшего на полях крупными буквами: „Подонок!” Можно полагать, что именно эта резолюция в значительной степени определила дальнейшую судьбу Платонова, который до конца жизни, в сущности, был обречен на молчание — его произведения лишь изредка появлялись на страницах периодической печати. Но и сегодня, когда творчество Платонова официально реабилитировано, а сам Платонов причислен к классикам советской литературы, значительная часть его литературного наследия остается неопубликованной, а доступ к архиву писателя по сей день закрыт.

Г. П.

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся — товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии, к общему благу. Зато все население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

— Вон наш вождь шагом куда-то пошел, — завтра жди какого-нибудь принятия мер. Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет...

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище — народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволил бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

— Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому...

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй, — сказал Макар товарищу Чумовому, — я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок, — ответил Макар, не думая, а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее, — сказал Чумовой, — а то я тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе, думать он не мог, а вспоминал, где он видел железо, и не вспомнил, потому что вся деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

”Должно быть, оттого и железа нету, — догадался Макар, — что мы его с водой выпиваем”.

Ночью Макар полез в сухой, заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства. Макар был неподъемен — у него в руках оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке, никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще через день Макар сделал железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало: их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет, — говорит Макар, — я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — служебно воскликнул Чумовой. — Делай тогда жеребенка!

— Мяса нет, а то бы я сделал, — отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю, — ответил Макар. — У меня памяти нет. Чумовой тут обиделся.

— Ты что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты — единоличник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я ж не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь, — упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал, — сознался Макар.

— Вот именно! — подтвердил Чумовой. — Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

* *

*

Макар ездил в поездах девять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потому что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. "Езжай далее, — говорила ему, бывало, пролетарская стража, — ты нам мил, раз ты гол".

Нынче Макар, так же как и девять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдью и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начинали действовать, и поезд поехал в середину государства — в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи бежали навстречу поезду и никак не кончались.

"Замучают они машину", — жалел колеса Макар. — Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст".

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Пошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как по его предположению была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голо-

ду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился сгружать конверты и открытки из почтового вагона. Макар вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

“Чем вещь тяжелее, — сравнительно представлял себе Макар камень и пух, — тем оно далее летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы”.

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глубину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующуюся скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне, будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

— Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

— Ничего! — крикнул издали Сережка. — До Москвы недалече: не горит!

Поезд стоял на станции. Мастерские пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства — главный город Москву.

“Теперь я пешком дойду! — сообразил Макар. — Авось поезд домчится и без добавочной тяжести!”

И Макар тронулся в направлении башен, церквей и грозных сооружений — в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь.

* *
*

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел на видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов и удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревян-

ные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучились и мало росли. Макар понимал такую природу неотчетливо:

”Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рожает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?”

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли.

— Опять техники нет! — вслух определил Макар такое положение. — С молоком посуду везут — это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами, и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал, — он уважал людей из масс, — однако посоветовал Макару обратиться в Москву: там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

— Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

— Мое дело наряжать грузы, я исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел, усомнившись, вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на уборку урожая.

”Чего же они делать будут? — стоял и думал Макар в гуще сплошных людей. — Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!”

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям спасибо — без них он жил бы разутым и раздетым. Почти у всех людей имелись под мышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

”Только чего ж они бегут, силы тратят? — озадачился Макар. — Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!”

Но люди бежали, лезли в трамваи до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. ”Хорошие люди, — думал он, — трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!”

Трамваи Макару понравились, потому что они сами едут, и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без всякого усилия, так как его туда втолкнули задние спешные люди. Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

”Бедная работница! — думал Макар о машине. — Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет, живые ноги бережет!”

Женщина — трамвайная хозяйка — давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции:

— Я так! — сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтоб она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

— Хозяйка, дай и мне чего-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

— Вылазь, тебе по требованию, — сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин и чугунной пылью трамвайных тормозов.

— А где же тут самый центр государства? — спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папиросу в улич-

ное помойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Дома стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подвочика, везшего ржаную муку.

”Ржаную муку здесь не уважают, — заключил в уме Макар. — Здесь белыми жамками кормятся”.

— Где здесь есть центр? — спросил Макар у милиционера.

Милиционер показал Макару под гору и сообщил: — У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого — дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку невероятного дома.

— Что здесь строят? — спросил он у прохожего.

— Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! — ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

— Тебе чего, жлоб?

— Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отошал, — заявил Макар.

— Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты при-

шел без всякого талона? — грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

— Иди в наш барак к общему котлу, там ребята тебя покормят, — помог Макару каменщик. — А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а, стало быть, — никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из общего котла, чтоб: поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

* *
*

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля была всюду поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно, для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу — товарищ Лев Чумовдй, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова — нет, поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре — пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недоставало на постройке, что-то было утрачено, но что — неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и оттого, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую сельскую рощу, а что нужно, чего

не хватает на постройке — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон подавать наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и не уставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую научно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что он изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, а потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела. Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать, — сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете, товарищ изобретатель, что ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую, — доказал Макар.

Писец подумал что-то в тайне и послал Макара в конец коридора:

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался в еще более громадном доме, чем техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей, что был написан на бумаге, но началь-

ника не оказалось на служебном месте — он где-то заботился о прочих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно. На ней в числе прочих букв теперь значилось: "Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии".

Макар остался доволен, и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

— Товарищ милиционер, — обратился Макар, — укажи мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес пролетариата и сказал тот адрес благодарному Макару.

* *
*

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей а автобусах, трамваях и на живых ногах толпы.

"Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!" — рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар, наконец, достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время преклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс преклонял свою голову на простую землю, и над той

головой шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Нынче же голова бедного класса отдыхала на подушке, под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько новых чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

”Ничего себе властишка! — оценил Макар. — Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!”

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

”Пусть живут! — решил про них Макар. — Они же думают чего-нибудь, раз жалованье получают, а раз они от должности думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!”

— Тебе чего? — спросил Макара комендант ночлега.

— Мне бы нужен был пролетариат, — сообщил Макар.

— Какой слой? — узнавал комендант.

Макар не стал задумываться, он знал вперед, что ему нужно.

— Нижний, — сказал Макар. — Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

— Ага! — понял комендант. — Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь — либо с нищими, либо с сезонниками...

— Мне бы с теми, кто самый социализм строит, — попросил Макар.

— Ага! — снова понял комендант. — Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился.

— Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более, что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм, — будет ли в социализме удивительная ра-

дость, и какая?

— Дома-то строили раньше, — согласился комендант. — Только в них тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

— Верно, — обрадовался Макар. — Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на грудку кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

”Тоже... — рассуждал Макар. — Лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучился; мала советская власть — своего имущества не видит!”

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись, как воробьи исчезли с навоза на покой.

Стали, наконец, являться пролетарии: кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все милые от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от измождения.

Макар подождал, пока пролетариат разлегся на государственных койках и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

— Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, в центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей...

— Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтоб он стал нормальным...

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

— У вас не все выдумали, — говорил Макар. — Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние, их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса... То же и в строительстве домов и сараев — их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите... Я ту кишку придумал и вам ее даром даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорей...

— Какую кишку? — произнес тот же глухой голос невидимого пролетария.

— Свою кишку, — подтвердил Макар.

Пролетариат сначала промолчал, а потом чей-то

ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

— Нам сила не дорога, мы и по мелочи дома поставим, нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания — друг друга закону поручили... Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался, а это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную койку и затих от сомнения, что всю жизнь занимался непролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору, или возвышенность; и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по метровой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижно-научным и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неиз-

вестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзирателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетария, умывшегося из блюдца без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умыться горстью воды и спросил рябого:

— Все ушли на работу, чего ты один стоишь и умываешься?

Рябой промокнул мокрое лицо о подушку, высох и ответил:

— Работающих пролетариев много, а думающих мало, я наметил себе думать за всех. Понял ты меня или молчишь от дурости и угнетенья?

— От горя и сомнения, — ответил Макар.

— Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех, — соображая, высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми; также много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фазтонах, а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

— Ты небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? — робко спросил Макар.

Петр сосредоточил свое сознание.

— Я-то? Я надуваюсь существовать вроде Ильича-Ленина: я гляжу и вдаль, и вблизи, и вширку, и вглубь, и вверх.

— Да то-то! — успокоился Макар. — А то я намедни видел громадного научного человека: так он только в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы! — умно произнес Петр. — Он на уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет ни дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться и не удариться насмерть — и считать себя правым, а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков почвы не боимся!

— У нас народ теперь обутый! — подтвердил Макар. Но Петр держал свое размышление, вперед, не отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали! Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего же так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности почти научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим — без железа хлеб растет слабо. Понял ты меня, какой здесь ход в самый раз?!

— Понял, — ответил Макар.

Кто строит машины и заводы, тех он понимал сразу, словно ученый. Макар с самого рождения наблюдал глиносоломенные деревни и нисколько не верил в их участь без огневых машин.

— Вот, — сообщил Петр. — А ты говоришь: человек тебе намедни не понравился! Он и партии и мне не нравится, его ведь дурак-капитализм произвел, а мы таких подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только не знаю что! — высказался Макар.

— А разве ты не знаешь-что, то следуй в жизни под моим руководством, иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз.

Макар отвлекся взором на московский народ и подумал:

”Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут они обильно, они бы размножаться должны, а детей незаметно”.

Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь не природа, а культура, — объяснил Петр. — Здесь люди живут семьями без размножения, тут кушают без производства труда...

— А как же? — удивился Макар.

— А так, — сообщил знающий Петр. — Иной одну мысль напишет на квитанции — за это его с семейством целых полтора года кормят... А другой и не пишет ничего, просто живет для назидания другим.

Ходили Макар и Петр до вечера; осмотрели Москва-реку, улицы, лавки, где продавался трикотаж, и захотели есть.

— Пойдем в милицию обедать, — сказал Петр.

Макар пошел: он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорить, а ты молчи и отчасти мучайся, — заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделе сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А против всех сидел дежурный надзиратель и принимал народ в живой затылок. Иных он отправлял в арестный дом, иных — в больницу, иных устранил прочь обратно.

Когда дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:

— Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению. — Что ж он нарушил в общественном месте?

— А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет: суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник. — Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование...

Милиционер написал бумажку и загоревал:

— Не с кем вас препроводить, — все люди в разгоне...

— Давай я его сведу, — предложил Петр. — Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевноболящих Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может его оставить ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать, — указала добрая сестра-посиделка.

— Он ест много, — отказался Петр. — Ему надо щей чугуна и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды, и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы, как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание, — заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух:

— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки...

Другие больные душой тоже заслушались Ленина, они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.

— Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян, — читал дальше рябой Петр. — Социализм

надо строить руками массового человека, а не чиновничьи бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят...

— Видал? — спросил Макара Петр. — Ленина — и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем... Книгу я отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства.

После чтения Макара и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более, что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.

* *
*

Петр знал, куда надо идти, — в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат "Кто кого?", и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

— Раз говорится "кто кого?", то давай мы его...

— Нет, — отверг опытный Петр. — У нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

— Мы — классовые члены, — сказал Петр высшему начальнику. — У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой...

— Берите. Она ваша, — сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макара и Петра сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько про-

сто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам ликвидации учреждения. В ней тов. Чумовой проработал 44 года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его золотой гос-ум.

ЧЕРУБИНА де ГАБРИАК

Я начну с того, с чего начинаю обычно — с того, кто был Габриак. Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле, на берегу против мыса Мальчик. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. Тогда он переселился в Петербург на другую нижнюю полку.

Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах („Демонология” Бодена) и, наконец, остановились на имени — Габриах. Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла добродушному выражению лица нашего черта.

Лиле в то время было девятнадцать лет. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выгнутым лбом. Она была хромой от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве у всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: „Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки”.

„Брат мой был очень странный и необыкновенный. Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По, и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала, но всякий раз,

когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром.

Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, но он завизжал, прибежали старшие и его освободили. Однажды мы бросили в воду мамин браслет и потом сами с плачем рассказывали о случившемся.

Сестра умела свистеть, но няня ей не позволяла и говорила, что когда девочки свистят, то Богородица с престола спрыгивает. Брату это нравилось. Он свистел и спрашивал: „Что, уже спрыгнула?“ Учил меня, так как я была еще мала и свистеть не умела, и говорил: „Пусть попрыгает!“

Однажды недели на две брат стал „христианином“. Они со школьным товарищем решили бить жидов и вырезать у них на лице крест. Поймали мальчика еврея и вырезали у него на щеке крест, но убить не успели. Когда брату было десять лет, он убежал в Америку. Украл у отца денег и написал ему письмо: „Я беру эти деньги с тем, чтобы вернуть их через два года. Если ты честный человек, то никому не скажешь“. Он доехал до Новгорода, учился сапожному ремеслу и заходил в полицию спрашивать, нельзя ли там купить фальшивый паспорт. Но когда его вернули в Петербург, то домашние его оставили в покое, ни о чем не расспрашивали и не упрекали.

Когда мне было пять лет, брат задумал творить чудеса, но, чувствуя себя слишком грешным, обратился ко мне и потребовал, чтобы я поклялась, что не совершила ни одного преступления. Я поклялась. Тогда он взял воды и велел мне превратить ее в вино. Я приказала. „Попробуй!“ Я попробовала — „Совсем вино!“ Но так как я до тех пор вина никогда не пробовала, то он призвал сестру. Она сказала, что вино должно быть красным. Тогда брат очень рассердился, вылил воду мне на голову и остался в уверенности, что я уттила какое-то свое преступление.

Когда мне было десять лет, брат взял с меня расписку, что шестнадцати лет я выйду замуж, и что у меня будет 24 человека детей, которых я буду отдавать ему, а он будет их мучить и убивать. Тоня, сестра, сказала:

„А если никто не возьмет ее замуж?“ — „Тогда я найду человека, который совершил преступление, и под угрозой выдать его заставлю на ней жениться“.

Однажды он сказал мне очень таинственно: „Я узнал необыкновенную вещь, которой не знает еще никто. Взрослые об этом и не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону дьявола, так как всех тех, кто с Богом, будут мучить и убивать“. Я была потрясена этим известием, и несколько дней ходила сама не своя, а брат — точно забыл обо всем этом. Наконец, я спросила его: „А как же с Богом?“ — „Ах, с Богом... Ему удалось спастись. Он удрал через форточку“. На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу.

Лет до пяти меня одевали, как мальчика, в брюки и курточки. Брат посылал меня на дорогу и заставлял просить милостыню, говоря: „Подайте дворянину!“ Деньги потом отбирал, бросал в воду и говорил, что стыдно тратить милостыню на себя.

Брат страдал нервными припадками. Я помню, когда мы остались с ним одни, без старших, в квартире, он, чувствуя приближение припадка, ложился на диван и заставлял меня смотреть на него. Это, по его мнению, укрепляло нервы. Я должна была давать ему капли, но, наливая, испугалась и вылила ему все в глаза, так что потом капель не было. Он сам нюхал эфир и давал мне. Мне тогда становилось страшно и приятно и я ложилась где-нибудь на пол. Когда, недели через две, взрослые вернулись, брат все ходил по квартире и резал какие-то невидимые нити. Его отправили на несколько месяцев в больницу. Я тоже вскоре заболела дифтеритом, после которого год была слепая. Тогда я утратила воспоминания о предыдущей жизни, которые у меня в раннем детстве были отчетливы и ярки.

Когда брату было 15 лет, я, войдя в его комнату, застала его плачущим. Я была потрясена, так как раньше с ним этого никогда не было. Когда я спросила, что с ним, он ответил: „Я чувствую, что глупею“. С тех пор он очень изменился“.

Это — подробности детства Лили Дмитриевой, ставшей впоследствии автором Черубины де Габриака.

* * *

Летом 1909 года Лиля жила в Коктебеле. Она в то время была студенткой университета, ученицей Александра Веселовского, и изучала старо-французскую и староиспанскую литературу. Кроме того, она была преподавательницей в подготовительном классе одной из петербургских гимназий. Ее ученицы однажды отличились. Какое-то начальство вошло в класс и спросило: „Скажите, девочки, кого из русских царей вы больше всего любите?“ Класс хором ответил: „Конечно, Гришку Отрепьева!“ К счастью, это никак не отразилось на преподавательнице.

Лиля писала в это лето милые, простые стихи, и тогда-то я ей и подарил черта Габриаха, которого мы в просторечьи звали Гаврюшкой.

В 1909 г. создавалась редакция „Аполлона“, первый номер которого вышел в октябре-ноябре. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него, и стихи Лили казались подходящими. В то время в Петербурге не было молодого литературного журнала. Московские „Весы“ и „Золотое руно“ уже начинали угасать. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо, умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактору „Аполлона“ С. К. Маковскому удалось использовать Ушковых.

Маковский, „Рара Мако“, как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен, и элегантен. Я помню, он советовался со мною — не вынести ли такого правила, чтобы сотрудники являлись в редакцию „Аполлона“ не иначе как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы и Рара Мако прочил балерин из петербургского кордебалета.

Лиля — скромная, не элегантная и хромая, удов-

летворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.

Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи с письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу черта Габриаха. Но для аристократичности черт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу „де”: Ч. де Габриак.

Впоследствии Ч. было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на „ч”, пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной бретгартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубина. Чтобы окончательно очаровать Рара Мако для тайной светской женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение.

НАШ ГЕРБ

Червлёный щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последней — в роде дерзких волей.

Есть необманный путь к тому,
Кто спит в стенах Иерусалима,
Кто верен роду моему,
Кем я звана, кем я любима.

И, путь безумья всех надежд,
Неотвратимый путь гордыни,
В нем пламя огненных одежд
И скорбь отвергнутой пустыни...

Но что дано мне в щит вписать?
Датуры тьмы иль розы храма?
Тубала медную печать,
Или акации Хирама?

Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучом. На печати был девиз: „*Vae victis!*”

Все это случайно нашлось у подруги Лили — Л. Брюловой.

Маковский был в это время болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон.

Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: „Молчи. Уходи”. Он не замедлил скрыться.

Маковский был в восхищении. „Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для „Аполлона” необходимы”.

Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу, и на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов.

В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывая темы, выражения, давал задания, но писала только Лилия.

Мы сделали Черубину страстной католичкой, так как эта тема еще не была использована в тогдашнем Петербурге.

Св. ИГНАТИЙ

Твои глаза — святой Грааль,
В себя принявший скорби мира,
И облекла твою печаль
Марии белая порфира.

Ты, обагривший кровью меч,
Склонил смиренно перья шлема

Перед сияньем тонких свеч
В дверях пещеры Вифлеема.

И ты — хранишь ее один,
Безумный вождь священных ратей,
Заступник грез, святой Игнатий,
Пречистой Девы палладин!

Ты для меня среди дольных дымов,
Любимый, младший брат Христа,
Цветок небесных серафимов
И Богоматери мечта.

* * *

Я венки тебе часто плету
Из пахучей и ласковой мяты,
Из травинок, что ветром примяты,
И из каперсов в белом цвету.

Но сама я закрыла дороги,
На которых бы встретилась ты...
И в руках моих, полных тревоги,
Умирают и пахнут цветы.

Кто-то отнял любимые лики
И безумьем сдавил мне виски.
Но никто не отнимет тоски
О могиле моей Вероники.

* * *

Затем решили внести в стихи побольше Испании

Ищу защиты в преддверьи храма
Пред Богоматерью всех сокровищ
Пусть орифламма
Твоя укроет от злых чудовищ.

Я прибежала из улиц шумных,
Где бьют во мраке слепые крылья,
Где ждут безумных
Соблазны мира и вся Севилья.

Но я слагаю Тебе к подножью
Кинжал и веер, цветы, камни —
Во славу Божью..
O, Mater Dei, momento mei!

* * *

Кроме того, необходима была преступно-католическая любовь к Христу.

ТВОИ РУКИ

Твои руки со мной неотступно
Средь ночной тишины моих грез,
Как отрадно, как сладко-преступно
Обвивать их гирляндами роз.

Я целую божественных линий
На ладонях священный узор...
(Запеваает далеких Эриний
В глубине угрожающий хор.)

Как люблю эти тонкие кисти
И ногтей удлинённых эмаль,
О, загар этих рук золотистей,
Чем Ливанских полудней печаль.

Эти руки, как гибкие грозди,
Все сияют в камнях дорогих.
Но оставили острые гвозди
Чуть заметные знаки на них.

* * *

Так начались стихи Черубины.

На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку и он, вместо того, чтобы кончать разговор, сказал: „Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам все, что узнал по Вашему?“ И он рассказал, что отец Черубины — француз из Южной Франции, мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и т. д. Лиле оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.

Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Рара Мако избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: „Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук“.

Он прибегал к моей помощи и говорил: „Вы — мой Сирано“, не подозревая, до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Рара Мако, например, говорил: „Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет. Я должен написать sonetto di riposta, и мы вместе с ним работали над сонетом.“

Маковский был очарован Черубиной. „Если бы у меня было сорок тысяч годового дохода, я решил бы за ней ухаживать“. А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как преподавательница приготовительного класса.

Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно.

Переписка становилась все более и более оживленной, и это было все более и более сложно. Наконец, мы с Лилей решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали

самое скромное и самое дешевое из того, что можно было достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травы, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи.

Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону: „Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, ваше сердце вам подскажет, и вы узнаете меня”. Маковский ехал на острова, узнавал ее, и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле... Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях.

Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: „Я уверена, что вам понравилась такая-то”. И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал, как „выбивания шпаги из рук”.

Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповедовалась у отца Бенедикта. Вот стихотворения, посвященные ему и исповеди:

Его египетские губы
Замкнули древние мечты,
И повелительны, и грубы
Лица жестокого черты.

И цвета синих виноградин
Огонь его потухших глаз.
Он в глубине глазничных впадин
Истлел, померк, но не погас.

В нем правый гнев грохочет глухо,
И жечь сердца ему дано.
На нем клеймо Святого Духа —
Тонзуры белое пятно.

Мне сладко силой силу меря,
Заставить жить его уста,
И в древнем, в темном лике зверя
Провидеть гневный лик Христа.

Исповедь

В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.

Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз,
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.

Поправляя гребень в косах,
Я слежу мои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.

Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, —
Но так сладостно сознанье
Первородного греха...

* * *

Вот образцы стихов Черубины:

Красный плащ

Кто-то мне сказал: твой милый
Будет в огненном плаще...
Камень, сжатый в чьей праше,
Загремел с безумной силой?

Чья кремнистая стрела
У ключа в песок зарыта?
Чье летучее копыто
Отчеканила скала?..

Чье блестящее забрало
Промелькнуло там, среди чащ?
В небе вьется красный плащ...
Я лица не увидала.

* * *

Благовещение

О, сколько раз в часы бессонниц,
Вставало ярче и живей
Сиянье радужных оконниц
Моих немислимых церквей.

Горя безгрешными свечами,
Пылая славой золотой,
Там под узорными парчами
Стоял дубовый аналой.

И от свечей, и от заката
Алела киноварь страниц,
И травной вязью было сжато
Сплетенье слов и райских птиц.

И, помню, книгу я открыла,
И увидала в письменах
Безумный возглас Гавриила:
„Благословенна Ты в женах!”

* * *

Наряду с этим были такие:

Лишь раз один, как папоротник, я
Цвету огнем весенней пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточию,
В заклятый круг приди, сорви меня!

Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
Нежней, чем смерть, обманчивей и зорче.

* * *

Были портретные стихи:

С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой.

Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.

Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.

И я умру в степях чужбины,
Не разомкнув заклятый круг.

К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

* * *

Легенда о Черубине распространялась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что все вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Рара Мако. Были, правда, подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского.

Нам удалось сделать необыкновенную вещь — создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать впоследствии, так как эта женщина была призрак.

Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, т. к. такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников „Аполлона“, на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи „Цветы“ и письмо.

Цветы

Цветы живут в людских сердцах:
Читаю тайно в их страницах
О недочитанных страницах
О нерасцветших лепестках.

Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.

В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь черных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий,
И их греховные уста.

Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей,
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах.

Акаций белые слова
Даны ушедшим и забыты,
А у меня по старым плитам
В душе растет разрыв-трава.

* * *

Когда я в это утро пришел к Рара Мако, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: „Я послал, не посоветовавшись с вами, цветов графине Черубине Георгиевне, и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!”

Письмо гласило приблизительно следующее: „Дорогой Сергей Константинович! (Переписка приняла уже довольно интимный характер.) Когда я получила Ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов”.

„Но, право же, я совсем не помню, сколько там было цветов, и не понимаю, в чем моя вина!” — восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.

Перед Пасхой Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Рара Мако заключил, что она будет Христовой невестой.

Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умо-

лять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказывался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова. Трубников на вокзале был, Черубины ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Пара Мако с накладной бородой, но вместо него увидела присланного друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был в восхищении. „Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале”.

В Париже Черубина остановилась в специально католическом квартале, в отеле возле Saint-Suplice. Она прислала несколько описаний квартала, описала несколько встреч. Эта часть — ее дневники — выпадает, так как погибла при обыске. Остались только стихи.

В отсутствие Черубины Маковский так страдал, что И. Ф. Анненский говорил ему: „Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто, ну двести рублей, оставьте редакцию на меня... Отыщите ее в Париже...”

Однако Сергей Константинович не поехал, что лишило историю Черубины небезынтересной страницы.

Для его излиятий была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюлова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготавливала его к мысли о пострижении Черубины в монастырь.

Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришел ее исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре на каменном полу возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких.

Кризис болезни Черубины намеренно совпал с заседаниями Поэтической академии в Обществе Ревнителеев Русского Стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произ-

ведет на Маковского известие о смертельной опасности.

Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины, во время доклада Вячеслава Иванова, Маковского позвали к телефону. И. Ф. Анненский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: „Она будет жить”.

Все это происходило в двух шагах от Лили.

Как-то Лиля спросила меня: „Что, моя мать умерла или нет? Я совсем забыла и недавно, говоря с Маковским по телефону, сказала „моя покойная мать” и боялась ошибиться...” А Маковский мне рассказывал: „Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать ее жива и живет в Петербурге, но она отвергла мать и считает ее умершей с тех пор, как та изменила своему мужу, и недавно так и сказала мне по телефону: „моя покойная мать”.

Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Черубины, к которому Рара Мако страшно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве и носил такое странное имя, что надо было быть так влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимания на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила приглашенный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дону Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда „он” распишется. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине.

В высших сферах редакции была учреждена слежка за Черубиной. Маковский и Врангель стали действовать подкупом. Они провели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов Маковский мне сказал: „Знаете, мы нашли Черубину. Она — внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он ее назвал каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл, как. А когда мы спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что, действительно, Черубиной”.

Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа. Вот два стихотворения, которые тогда, конечно, не были поняты Маковским.

Лиля о Черубине.

В слепые ночи новолунья
Глухой тревогою полна,
Завороженная колдунья
Стою у темного окна.

Стеклом удвоенные свечи
И предо мною, и за мной,
И облик комнаты иной
Грозит возможностями встречи.

В темно-зеленых зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон
Чуть отражен, и смутный страх

Мне сердце злою нитью вяжет.
Что, если дальняя гроза
В стекле мне близкий лик покажет
И отразит ее глаза?

Что, если я сейчас увижу
Углы опущенного рта,
И предо мною встанет та,
Кого так сладко ненавижу?

Но окон темная вода
В своей безгласности застыла
И с той, что душу истомила,
Не повстречаюсь никогда.

Черубина о Лиле.

Двойник

Есть на дне геральдических снов
Перерывы сверкающей ткани,
В глубине анфилад и дворцов
На последней, таинственной грани

Повторяется сон между снов.
В нем все смутно, но с жизнью схоже..
Вижу девушки бледной лицо,
Как мое, но иное, и то же
И мое на мизинце кольцо.
Это — я, и все так непохоже.
Никогда среди грязных дворов,
Среди улиц глухого квартала
Переулков и пыльных садов —
Никогда я еще не бывала
В низких комнатах старых домов.

Но она от томительных будней,
От слепых паутин вечеров —
Хочет только заснуть непробудей,
Чтоб уйти от неверных оков,
Горьких грез и томительных будней.

Я так знаю черты ее рук,
И во время моих новолуний
Обнимающий сердце испуг,

И походку крылатых вещуний,
И речей ее вкрадчивый звук.

И мое на устах ее имя.
Обо мне ее скорбь и мечты,
И с печальной каймою листы,
Что она называет своими,
Затаили мои же мечты.

И мой дух ее мукой волнуем...
Если б встретить ее наяву
И сказать ей: „Мы обе тоскуем,
Как и ты, я вне жизни живу”.
И обжечь ей глаза поцелуем.

С этого момента история Черубины начинает приближаться к концу. Прямое развитие темы делает крутой и неожиданный поворот. Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от ее имени какие-то письма, писанные не нами. И мы решили оборвать.

Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: „Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то это гениально”. Он рассчитывал на то, что „ворона каркнет”. Однако я не каркнул. А А. Н. Толстой давно говорил мне: „Брось, Макс, это добром не кончится”.

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение, которое не сохранилось. В нем были строки:

Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали.

Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже обо всем давно знал, „я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму”. Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.

Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилию давно, и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. За год до этого, в 1909 г. летом, будучи в Коктебеле вместе с Лилей, он делал ей предложение.

В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стала расти сплетня.

Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених ее Воля Васильев бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле „очную ставку” с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на „ты” и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это и с разрешения Воли, после совета с Леманом, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.

Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления „Фауста”. Головин в это время писал портрет поэтов, сотрудников „Аполлона”. В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, в том числе — Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к „Орфею”. Все уже были в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел „Заклинение цветов”. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услы-

шал голос И. Ф. Анненского, который говорил: „Достоевский прав. Звук пощечины действительно мокрый”. Гумилев отшатнулся от меня и сказал: „Ты мне за это ответишь”. (Мы с ним не были на „ты”.) Мне хотелось сказать: „Николай Степанович, это не брудершафт”. Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: „Вы поняли?” (То есть поняли, за что?) Он ответил: „Понял”.

На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной речки, если не той парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелили, боясь, по неумению стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.

После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить.

Редакция альманаха “Часть речи” благодарит профессора Бориса Андреевича Филипова за предоставленную нам возможность впервые опубликовать воспоминания М.Волошина.



Наталья БЕЛИНКОВА

СУДЬБА ОДНОЙ КНИГИ

Через несколько месяцев после кончины Аркадия Белинкова я оказалась в Лондоне и там познакомилась с молодым англичанином — специалистом по русской литературе, который собирался в Москву "по обмену". Молодой человек хорошо говорил по-русски, а Россию знал плохо. Больше всего его волновали КГБ и холодный климат — он ехал туда зимой. Я рассказала, как надо одеваться, в каких библиотеках он может достать интересующие его материалы, а КГБ посоветовала не остерегаться, конечно, если ничего нелегального он делать не собирается.

На следующий год я опять была в Лондоне. Мой знакомый, к тому времени уже побывавший в Москве, разыскал меня и попросил приехать. Я постеснялась отказаться, но ехать мне не особенно хотелось. Я знала, что мы теперь обменяемся ролями. Он с видом знатока будет мне рассказывать о Москве, в которой пробыл месяц, а я буду задавать наивные с его точки зрения вопросы о стране, в которой прожила всю жизнь.

Помню его большую квартиру, пустоватую,

с высокими потолками и старинной мебелью, помню полутемную комнату, обставленную книжными полками, — не то кабинет, не то комната для гостей. Здесь мы пили кофе. А может быть, чай. И все было, как я предполагала: вежливые вопросы и вежливые ответы. Время тянулось медленнее, чем обычно. Я уже готова была уходить.

“А вот самое главное, из-за чего я позвал вас сюда”, — сказал хозяин дома, протягивая мне тяжеловатый сверток.

Я его развернула и время остановилось совсем. Нет, поплыло вспять. У меня на коленях была обложка “Методических указаний по выполнению дипломного проекта”. Наверху стояло: “Московский полиграфический институт”. Работая в этом институте несколько лет тому назад, я иногда пользовалась бракованными обложками вместо папок. В серой обложке, которую я недоуменно узнавая держала в руках, лежала рукопись. Страницы ее были разной длины и скреплены скрепками, что образовывало несколько тугих пачек. Бумага была сухой и пожелтевшей, а скрепки поржавели.

Передо мной лежали черновики Аркадия Белинкова к книге об Ахматовой.

На первой же странице от руки был набросан черновой план работы: “Подобрать куски... соединить их по плану... Отобрать все планы... Сделать сводный план... Наблюдения над стихом Ахматовой... Свести тексты “Величайшие живописцы” и “Безнравственность, ханжество, растленность”...”

Все выглядело так, будто папку только что взяли с письменного стола писательского дома недалеко от Белорусского вокзала, будто мы в Москве и никаких архивов на произвол судьбы не бросали и никуда совсем не уезжали. Но все происходило в чужом доме на берегу Темзы, а автора незаконченных записок уже не было в живых.

По святому неведению, не видя ничего нелегального в том, что делает, привез эту папку молодой специалист? Или, несмотря на КГБ, совершал подвиг? (Как нелепо и трагично усматривать подвиг в том, что кто-то привозит вдове пачку незаконченных черновиков с рассуждениями о назначении поэта.)

Я не стала спрашивать, как была переправлена папка и откуда он ее достал. Больше того, я как могла естественнее изобразила радость по поводу того, что все так благополучно обошлось. Но сколько бессмысленности, казалось мне, было в этом! Папка, набитая пачками бумажек, была доказательством необходимости продолжения писательской судьбы умершего человека. Но что мне делать с незаконченными фразами, с отдельными словами, с несведенными текстами, расположенными в неизвестном мне порядке? Беспокоила также мысль, что автор этих записок всегда возмущался родственниками, стремящимися во что бы то ни стало опубликовать литературное наследие. Он боялся не сделанных работ. Я и сейчас не совсем уверена, что правильно делаю, публикуя эти материалы.

А теперь время рассказать, как Аркадий Белинков начал писать книгу об Ахматовой. После книги о Тынянове, писателе лояльно относящемся к советской власти, он решил, что непременно нужны еще две: о художнике, сдавшемся власти, и о художнике, противостоящем ей. Все три книги должны были составить трилогию, которая исчерпала бы возможные варианты взаимоотношений поэта и власти. Предполагалось, что о четвертом типе художника, принявшем господствующую власть безоговорочно, нечего было и говорить: таковой был рядовым автором журнала "Октябрь".

Было самое начало 60-х годов. "Оттепель". Правда, уже разгромили Дудинцева, уже расстреляли венгерское восстание, уже погубили Пастернака, но начиналась Пражская весна, но было издано постановление ЦК КПСС об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца", уже была исполнена опера Шостаковича "Катерина Измайлова", и один шустрый журналист издал очерк о птичнице передового колхоза, который вопреки цензуре назвал "Белая стая". Ожидалось постановление об исправлении ошибок в оценке журналов "Звезда" и "Ленинград", сделанных ВКП(б) в 1946 г. Слава "Нового мира" щекотала нервы редакторов других журналов. "Вопросы литературы" в ожидании отмены постановления 1946 года попробовали опередить Твардовского и зака-

зали Аркадию Белинкову статью об Анне Андреевне Ахматовой.

Он начал писать статью по канве волошинской строчки: "Тяжек жребий русского поэта". Попытался придумать, что можно показать в статье об Ахматовой открыто, а что надо прятать в подтекст. Он записывал: "Прочитывать куски из статей, где говорится, что она великий поэт. Цитировать якобы не для этого". "Блок — искусство — ноша на плечах". "Написать об Эльсберге, Самарине, Никулине и т. д. в контексте с историческими лицами, известными такого рода деятельностью. Или же в контексте с рассуждениями о такого рода деятельности". На столе стали накапливаться стопочки бумаг с цитатами, отдельными фразами, с темами будущей статьи: "Об одностемности Ахматовой", "Причины распри Ахматовой с веком".

Как известно, постановление о переоценке взгляда на Ахматову и Зощенко не состоялось. "Вопросы литературы" от статьи об Ахматовой отказались. Накопленный материал просился в книгу.

Во время работы над книгой Аркадий Белинков часто бывал у Ахматовой, когда она приезжала к своим московским друзьям. В ее маленькой узкой комнатке помещалась узкая кровать, столик у окна и один стул. В углу — иконка. На стене — известный ее портрет работы Модильяни. Если гостей было больше чем один, то они садились вместе с Анной Андреевной на кровать. Так однажды сидела и я.

К моему удивлению, Аркадий Белинков отправлялся туда с большой неохотой. Однажды он мне объяснил, что неприятное чувство, с которым он идет и возвращается, связано вовсе не с Ахматовой, а с ее окружением: курят фимиам и не дают поговорить серьезно...

Он аккуратно ходил к Ахматовой, как ходят на работу. Потом садился за письменный стол, переключал стопочки бумаг, пересматривал однотомники поэтессы и писал: "Главное заключается в том, чтобы показать, как сложный душевный мир, тонкость ощущений, глубина переживаний могут возникнуть в результате сложнейшего исторического развития... Таким образом возникает главный вопрос: "Как связать поэтическое

творчество с историей, с историей культуры, с искусством...”

Одна из особенностей черновики Аркадия Белинкова к книге об Ахматовой состоит в том, что Ахматова в них почти не цитируется. Он как бы боялся сломать хрупкость ахматовских строчек, сопоставив их с рассуждениями на исторические и современные политические темы. В одном месте он пишет: ”следует опасаться выводить творчество Ахматовой только из исторических мотивов”. Но судьба книг писательницы вынуждала писать именно об истории: ”Связывать выход сборника 1940 года с резким изменением идеологической концепции. Это изменение... было вызвано тем, что близилась война, и это требовало иных взаимоотношений государства и общества, нежели революция. Подготовка к войне в государстве, покончившем с борьбой классов, оказалась связанной с необходимостью объединения всего народа вокруг привычных представлений о родине, патриотизме, величии народа, исторического прошлого и пр.”

С одной стороны у Ахматовой:

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле

.....

Здесь всего сильнее от Ионы
Колокольни Лаврские вдали

.....

И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись – и там зеленый дым

С другой стороны у Аркадия Белинкова:

”История не может вызвать определенный эстетический ответ, но история может выбрать и усилить подавленные явления”.

Трепетные лани поэзии и тяжелые кони литературоведения в одну телегу впрягались с трудом. Особенно это было заметно, когда он читал работы других исследователей. ”До сих пор все, что мне приходилось читать о стихах, в частности о стихах Ахматовой, весьма определено тяготело или к анализу темы или к анализу морфологии. Изредка и к тому и к другому. Причем

и то и другое не соединялось. Об искусстве, то есть о явлении идеологической истории человечества, я не читал. Но, очевидно, нужно писать именно об этом. Особенно это касается Ахматовой, потому что Ахматова это не только художник, но и судьба художника. И об этом надо писать: об искусстве и о судьбе художника”.

Медленно и постепенно Аркадий Белинков преодолевал сопротивление двух различных материалов — лирики и литературоведческого текста. Стали появляться наблюдения над творчеством Анненского, Блока, Пастернака. И, наконец, он находит точку, в которой могли бы сойтись и история, и морфология, и искусство, и личность художника: ”связующим звеном должен быть Пушкин”.

Думаю, что стилистического противоречия между ”лирикой” Ахматовой и ”критикой” Белинкова не было бы. От черновиков до законченной книги долгий путь. Аркадий Белинков писал литературоведческие работы трудно, долго и тщательно, как пишут прозу, как пишут стихи. Он обдумывал по нескольку дней, каким словом лучше кончить предложение: из двух слогов или из трех, с ударением на первом слоге или на последнем. Убедительность исследовательских работ Аркадия Белинкова держалась обычно не на логических построениях, а на сложном комплексе художественных средств, который включал в себя и литературоведческий анализ и публицистику и лирику, как форму самовыражения. Он иронизировал над критиками, которые писали: ”замечательный писатель в своем замечательном произведении замечательно отразил”.

Между догадкой (Пушкин!) и воплощением ее оставалось обширное пространство будущей книги, которое должно было заполниться не только анализом исторического процесса на тонкость ощущений героини, но и гневом, восторгом, болью, отчаянием, решимостью автора.

В процессе работы над книгой между Аркадием Белинковым и Анной Андреевной иногда возникали недоразумения. Например, он сердится на потуги Хрущева руководить искусством, вмешиваться в выставку в Манеже, устраивать встречи с писателями, а Анна Андреевна недовольно отвечает: ”А мы с вашей мамой

и н о г о мнения о Хрущеве!” Аркадия Белинкова и сына Ахматовой посадили в тюрьму и освободили более или менее в одном возрасте и в одно время. Как два бывших зека, они, может быть, и нашли бы общий язык. Анна же Андреевна апеллировала к матери Аркадия. Не случайно, очевидно, что однажды она одарила нас (Аркадия Белинкова и меня) чтением своего “Реквиема”, который тогда вся Москва повторяла наизусть.

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
Но туда, где молча мать стояла
Так никто взглянуть и не посмел...

К концу чтения мы плакали все трое.

Однако разлад между героиней книги и живой Анной Андреевной нарастал. Это беспокоило Аркадия Белинкова и он записывал: “В книге будут исследованы не декларации, а книги, эволюция творчества, сложные взаимодействия исторического факта и художественного явления, определенного этим историческим фактом. Что же касается субъекта исторического воздействия писателя — то к его собственному отношению следует подходить с особой внимательностью и не переоценивать его значения. Потому что волюнтаризм всегда процветает там, где одному человеку приписывается решение задач, которые выполняются всем человеческим обществом в процессе политического развития”.

Нет сомнения, что Ахматова смотрела на время, на искусство, на книгу о себе иначе, чем думал об этом Аркадий Белинков. В конце концов они были людьми разных поколений. Шестидесятые годы, которым принадлежал Аркадий Белинков, обкраденные и искалеченные социалистическим реализмом мышления, нуждались в прошлом как в прерванном истоке, но и не принимали его безоговорочно. Ей же, царскосельской воспитаннице, думаю, не нужны были “вторичные” открытия “диссидентов” периода “оттепели”, как и их запальчивость, их разъедающий скептицизм, который они переносили даже на то, что противопоставляли режиму. “О чем волнуются эти молодые люди? — как бы недоумевала она. — “Октябрь” или “Новый мир”? Но на них

на всех написано: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"¹

Думаю, что Анна Андреевна разочаровалась в авторе книги о ней. Однажды после ухода Аркадия Белинкова, раздраженного тем, что опять не удалось поговорить серьезно, она с огорчением произнесла: "Елка погасла!"²

Работа над книгой об Ахматовой прервалась сама собой. Некоторые куски из черновых заметок оттуда попали впоследствии в книгу "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша", ставшей второй частью трилогии о взаимоотношениях поэта и власти:

"Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, это правда, которую он обязан говорить обществу. Эта правда в разные эпохи выражается по-разному. Иногда она может выражаться так:

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеня...
(Пушкин. Стихотворение "Нимфа")

иногда иначе:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ...
(Ахматова. Поэма "Реквием")

Это ничего не меняет. Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предает его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья".³

Книга об Олеше завела Аркадия Белинкова дальше, чем он предполагал, — в эмиграцию. Над последней частью трилогии — о несдавшемся художнике — он продолжал работать в Америке. Но положительным героем этой книги стал Солженицын, а не Ахматова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 . Последняя фраза приписывается молвой Анне Андреевне Ахматовой. Будто бы это был ее ответ на вопрос, почему одно из своих стихотворений она поместила в журнале "Октябрь".

2. Со слов покойного Анатолия Якобсона, автора книги "Конец трагедии", о Блоке.

3. А. Белинков. "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша", Мадрид, 1976.

Соломон ВОЛКОВ

ВЕНЕЦИЯ: ГЛАЗАМИ СТИХОТВОРЦА

ДИАЛОГ С ИОСИФОМ БРОДСКИМ

Публикуемый ниже диалог — суть фрагмент из подготавливаемой к печати книги „Беседы с Иосифом Бродским”. Жанр беседы, традиционный для западной литературы, в русской — по ряду причин — еще не откристаллизовался. Отрывок о Венеции, как и уже опубликованный в „Части речи” № 1 диалог („Нью-Йорк: пейзаж поэта”), есть один из первых опытов в этом направлении.

Соломон ВОЛКОВ

Волков. Я давно хотел спросить: почему на обложке вашей книги „Часть речи” изображен лев святого Марка?

Бродский. Потому что я этого зверя очень люблю. Во-первых, это Евангелие от Марка. Оно меня интересует больше других Евангелий. Во-вторых, приятно: хищный зверь — и с крылышками. Не то чтобы я его с самим собой отождествлял, но все-таки... В-третьих, — это лев грамотный, книжку читает. В-четвертых, этот лев, если уж на то пошло, просто замечательный вариант Пегаса, с моей точки зрения. В-пятых, этот зверь, ежели без крылышек, есть знак зодиака, знак одной чрезвычайно милой моему сердцу особы. Но поскольку ему приходится летать там, наверху, то крылышки определенно необходимы. И, наконец, просто уж хорошо собой! Просто красивый зверь! Не говоря уж о том, что этот лев венецианский — явно другой вариант

Copyright © 1982 by Solomon Volkov

ленинградских сфинксов. Вот почему на обложке „Конца прекрасной эпохи” — ленинградский сфинкс, а на обложке „Части речи” — венецианский лев. Только ленинградский сфинкс куда более загадочный. Лев Венеции не такой уж загадочный, он просто говорит: „Pax tibi, Marcel!”

Волков. Рим тоже приветлив.

Бродский. Я недавно из Рима, жил там четыре месяца как стипендиат Американской Академии в Риме. У меня был двухэтажный флигель, на отшибе, с огромным садом. Панорама оттуда открывалась совершенно замечательная: справа Рим дохристианский, языческий, то есть Колизей и прочее. Слева христианский — святой Петр, все эти купола. А в центре — Пантеон. В Риме, идя в город — идешь домой. Город есть продолжение гостиной, спальни. То есть, выходя на улицу, ты опять оказываешься дома.

Волков. Почему же, по-вашему, у Ахматовой — после ее поездки в Италию в шестьдесят четвертом году — от Рима осталось впечатление как от города сатанинского? „Сатана строил Рим — до того, как пал”, — говорила она...

Бродский. У Ахматовой и не могло быть иного впечатления: ведь ее при выездах за границу окружал бог знает кто. К тому же в таких городах надо жить, а не проезжать через них. Если на два-три дня очутишься в Ленинграде, то и от него вынесешь не менее сатанинское впечатление.

Волков. Но ведь ваш любимый итальянский город Венеция, а не Рим?

Бродский. Безусловно.

Волков. Лидия Чуковская вспоминает об одном разговоре с Ахматовой. Дело было в пятьдесят пятом, и Анна Андреевна сказала: „Мы отвыкли от голубей, а в Царском они были повсюду. И в Венеции”. И Чуковская добавляет, что Царское с голубями она еще могла вообразить, но Венецию — никак. Лидия Корнеевна подумала тогда: а существует ли в самом деле на свете эта Венеция?

Бродский. Это старая русская мысль.

Волков. Сколько раз вы были в Венеции?

Бродский. Не знаю, не упомяну. В первый раз я приехал туда на Рождество семьдесят третьего года. Дело в том, что попасть в Венецию было моей идеей фикс. Когда мне было лет двадцать, а может быть, немного больше, я прочел несколько романов Анри де Ренье. Это замечательный писатель, о котором никто ни сном, ни духом не ведаёт — даже во Франции. Может быть, специалисты, но ни в коем случае не читатель. Полагаю, что по-русски он оказался тем более замечательным, что его переводил Михаил Кузмин. Меня-то как раз привлекло имя переводчика, скорее чем писателя. И так получилось, что из четырех романов де Ренье, которые я прочел, в двух местом действия была Венеция зимой.

Относительно де Ренье я хочу сказать ещё вот что. Это уже чисто личные дела, но я думаю, что если научился у кого-нибудь конструкции стихотворения, то это был именно де Ренье. Хотя он и прозаик. По части конструкции главные учителя для меня — это де Ренье и Бах. До известной степени Моцарт. И если назвать последних двух — хвастовство, то с первым это не так. Потому что он менее известен.

Волков. Может быть, вы должны числить среди своих учителей также и Кузмина, потому что русский де Ренье — это в значительной степени Кузмин.

Бродский. Не думал об этом. Может быть, это и так. Хотя на творчестве самого Кузмина, как ни странно, конструктивное умение де Ренье никак не сказалось. Работа Кузмина с де Ренье — это, конечно же, перевод. Мы имеем дело с автором, самим де Ренье. Это удивительная комбинация плутовского романа с детективным, с психологическим. Самое потрясающее в том, как все это сделано, как эти составные части организованы. В художественном произведении это самый главный элемент — что за чем следует. Не что именно говорится, а что за чем следует. Возникает кумулятивный эффект, и становится важным, что говорится.

Прочитавши у де Ренье про Венецию зимой, я очень сильно на этом заторчал. Прошло некоторое время и кто-то принес мне журнал „Лайф”. Там был фоторепортаж — Венеция зимой. Снег и вода. Когда я это увидел, то отключился. Потом одна из моих приятельниц

подарила мне на день рождения такую гармошку из открыток, опять-таки с видами Венеции; они были выполнены в сепии. Наконец, последнее — четвертое по счету — несколько надавившее мне на мозги впечатление: „Смерть в Венеции”, фильм Висконти с Дирком Богартом. В Ленинграде этот фильм показывали на каком-то полузакрытом просмотре в Институте театра, музыки и кино, на Исаакиевской площади. Причем прокручивали черно-белую пленку. То ли цветной пленки, как всегда, не хватало. То ли не хотели платить авторские.

Фильм начинается с такой высокой ноты, что после нее все превращается в плато. Когда этот пароходик тащится по плоской воде, помните? После этого все прочее гораздо хуже. На музыку Малера я тогда, по правде говоря, и внимания не обратил. И вот — задолго до моего отъезда, до всего, до всего, возникла у меня идея фикс — отправиться в Венецию. Конечно, это была чистая фантазия, ни о какой Венеции не могло быть и речи, совершенно естественно. Поэтому, когда я оказался в Штатах, в Анн-Арборе, отпреподавав первый же семестр, на первые свободные деньги я сел в самолет и полетел в Италию, тудое.

Это оказалось гораздо лучше, чем я воображал. То есть гораздо более интересно. Конечно, внешне у Венеции есть параллели с местами знакомыми. То есть можно сказать, что Венеция похожа на родной город. Но она совершенно не похожа на родной город, это совершенно другая опера. Абсолютно иной принцип организации пространства. Прежде всего, его меньше, этого пространства...

Волков. И краски другие, они гораздо более, я не скажу — яркие, но более свежие, что ли. Даже вода ярче...

Бродский. Нет, у воды в Венеции особая роль. Сначала о другом. О плотности, если угодно, искусства на квадратный сантиметр. Очень интересно сравнить венецианскую архитектуру с римской того же периода. В Риме между фигурами апостолов на фронте — километр, да? В Венеции эти же апостолы — плечо к плечу, тесными, сомкнутыми рядами. Как в армии. Эта невероятная плотность создает особый венецианский феномен:

уже не барокко, а что-то совершенно другое, специфически венецианское.

И все-таки самое потрясающее в Венеции — это именно водичка. Ведь вода, если угодно, это сгущенная форма времени. Ежели мы будем следовать Книге с большой буквы, то вспомним, что там сказано: „и Дух Божий носился над водою”. Если Он носился над водою, то значит, отражался в ней. Он, конечно же, есть Время, да? Или Гений времени, или Дух его. И поскольку Он отражается в воде, рано или поздно H₂O им и становится. Доотражалось, то есть. Вспомните все эти морщины на воде, складки, волны, их повторяемость... Особенно, когда вода — серенького цвета, то есть того именно цвета, какого и должно быть, наверное, время. Если можно себе представить время, то скорее всего оно выглядит как вода. Отсюда идея появления Афродиты-Венеры из волн: она рождается из времени, то есть из воды.

Волков. И все это происходит в Венеции?

Бродский. Конечно, там же всего этого навалом, все во всем отражается. И отсюда — постоянные трансформации. Не знаю, как это объяснить... Скажем, птичка летит над водой. Слетает она вниз как голубь, а на другом берегу — смотришь — появляется уже в виде чайки. Полет над водой — особенный, это полет с налогом на отражение. Помимо всего прочего, это невероятно красиво. И красиво именно потому, что существует этот антитезис, эта возможность трансформации. Когда в Венеции садится солнце и закат отражается в окнах, то окна похожи на рыб с блестящей, сверкающей чешуей. Помните все эти квазиготические окна, вернее, романские, переходящие в готические? А позднее — вечером, когда в окнах зажигается свет, то они — словно рыбы, освещенные изнутри, с полузашторенной чешуей.

Волков. Имела ли для вас значение русская поэтическая традиция описания Венеции — Ахматова, Пастернак?

Бродский. В общем, нет. В данном конкретном случае Ахматова и Пастернак не так значительны; вот у Вяземского, кажется, около дюжины стихотворений про Венецию! То есть ахматовская „Венеция” — совершенно

замечательное стихотворение, „золотая голубятня у воды” — это очень точно в некотором роде. „Венеция” Пастернака — хуже. Ахматова поэт очень емкий, иероглифический, если угодно. Она все в одну строчку запикивает. У Пастернака Венеция плывет „размокшей каменной баранкой”. Это не совсем так. Эти два острова и мостики между ними скорее напоминают двух рыб на синей тарелке.

Волков. Когда вы рассказываете о Венеции, то говорите только о воде и об архитектуре. А люди?

Бродский. Люди, в общем-то, отсутствуют. Разумеется, итальянцы очаровательны — черные глазки, помесь трагедии и жульничества и все прочее, как полагается. Но на самом деле люди не так уж интересны. От них — более или менее — известно чего ожидать. В конце концов люди, как бы это сказать, несравненно более синонимичны, нежели искусство. То есть у людей гораздо больше в знаменателе, чем в числителе, да? В то время как искусство — это постоянная перемена знаменателя. Люди, конечно, связаны с городом, но могут совершенно с ним не совпадать. С другой стороны, на приезжих Венеция действует магнетически. Мне всякий раз интересно наблюдать, как в Венецию приезжает неопит.

Волков. Встречать Рождество в Венеции — это ваш ритуал?

Бродский. Никаких ритуалов у меня вообще нет. Просто всякий раз, когда я бывал в Венеции, я ездил туда на Рождество. На протяжении последних девяти лет, думаю, не пропустил случая, за исключением двух раз. Каникулы потому что. Оба раза я оказался в больнице. Это не ритуал, конечно же. Просто я считаю, что так и должно быть. Это мой пункт, если угодно. Новый год. Перемена года, перемена времени; время выходит из воды. Об этом неохота говорить, потому что это — уж чистая метафизика. Эти заскоки — насчет времени и воды — начались у меня еще с Крыма. Там я впервые что-то понял. Помню, я встречал Новый год в Гурзуфе у Томашевских. И ближе к полночи — то есть без четверти двенадцать — я вышел из дома. Смотрел на море, на залив. Из залива на сушу шло о б л а к о. Причем я высоко был на склоне, поэтому облако как бы ниже

шло, я его хорошо видел. Оно двигалось — как те библейские облака, внутри которых Господь или я не знаю кто. Помню ощущение, что это облако — туман, поднявшийся с воды, превратившийся в огромный шар. Точнее, такой расхристаный шар. И ровно в двенадцать он коснулся суши. Да? Конечно, к этому можно по-всякому относиться. Все на свете химия. Но можно взглянуть на это и несколько иным образом. Думаешь о родном городе, который тоже на воде стоит. Хотя в Ленинграде всегда зима, холодно. И там вообще уже ни о каком времени не вспоминаешь.

Волков. Там замерзаешь и думаешь, как бы...

Бродский. ...выпить, да?

Волков. В Венеции многие годы жил и умер там Эзра Паунд. Он похоронен на Венецианском кладбище Сан Микеле, поблизости от могил Дягилева и Стравинского. Этот отсек Сан Микеле называют иногда „кладбищем изгнанников”...

Бродский. Мы с Паундом почти увиделись. Он участвовал в „Фестивале двух миров” в Сполето, куда и я был приглашен. Паунд вроде хотел меня видеть, мне об этом говорили. Вообще-то говоря, в Сполето меня приглашали дважды. Первый раз, когда я был в Советском Союзе. Тогда устроителям сообщили — буквально, — что я где-то в Балтийском море, на подводной лодке. Вероятно, собираюсь вторгаться в территориальные воды Швеции. Во второй раз — я уже в Лондоне, билеты в Сполето куплены. Вдруг паника, телефонные звонки от Джан Карло Менотти, заправляющего фестивалем. Выясняется следующее: в Сполето приглашена балетная труппа из Перми, так сказать, с родины Дягилева. А советский посол в Италии пригрозил — если на фестивале появится моя милость, пермскую группу в Италию не выпустят. Менотти, как полагается, до чрезвычайности испугался и взывает: „Что делать?” Я, подумавши, говорю: „Господи, что тут волноваться! Я в Сполето буду не раз. А для балетных из Перми это единственный, может быть, случай увидеть Италию”. И таким образом randevu с Паундом не состоялось. Поскольку он умер в том же, семьдесят втором, году. В семьдесят седьмом в Венеции проходила Биеннале,

на которую среди прочих пригласили меня и Сьюзан Зонтаг. Раз она меня спрашивает: „Иосиф, что ты делаешь вечером?“ Я говорю: „Вечером? Что я могу делать, ничего не делаю...“ Сьюзан: „Слушай, я тут столкнулась на улице с Ольгой Радж, знаменитой в некотором роде подружкой Паунда. Она приглашает в гости, а идти одной ужасно не хочется; может, составишь компанию?“

Мы заявили в дом, где жил Паунд, на улочке за Санта Мария делла Салюте. Этот сестьер в Венеции довольно замечателен во многих отношениях: там жили люди, чрезвычайно мною любимые — тот же Анри де Ренье, например. Дом Паунда небольшой, на двух уровнях: внизу гостиная, кухня; лестница наверх — там, кажется, две спальни, плюс выше — рабочий кабинет Паунда. Гостиная небольшая, похожая на пещеру тролля. Это впечатление — пещера горного короля — объясняется, видимо, тем, что первое, на что натыкаешься, входя в гостиную, — мраморный бюст Паунда работы Годье-Бржеска. Бюст здоровенный, стоит на полу. Налицо какое-то нарушение пропорций. Между прочим, не умри этот Годье-Бржеска в молодости, был бы у нас еще один замечательный монументалист-фашист. Бюст немногим меньше самой Ольги Радж, которая выставляет чай с пирожными. И вдруг — с места в карьер — начинает излагать следующее. Что, дескать, Эзра вовсе не был фашистом, как все считают. И как они боялись за то, что Эзру в наказание за его коллаборационизм посадят на электрический стул. Какой это был полный ужас. Эту песню Ольга Радж поет на протяжении часа. То есть даже не поет, а довольно толково и внятно, а также убедительно и энергично объясняет, что с Эзрой обошлись несправедливо. Потому что, дескать, Паунд во время войны жил в Рапалло, в Рим приезжал раза два в месяц, если не реже. Выдавал эти свои радиовоззвания, после чего возвращался домой. Что ж, может быть, с ее и Паунда точки зрения действительно ничего особенного и не происходило в этом самом Рапалло. Жизнь шла...

Между прочим, я сегодня вышел на улицу — опустить какие-то письма. Солнечный день, все нормально. И пролетел вертолет. Военный, причем. И я подумал —

а что если это уже началось? И как будет выглядеть день новой мировой войны? А так и будет выглядеть: солнышко будет светить, вертолеты летать, где-то будут стрелять пушки. И мир будет катиться к гибели. Да и происходит же этот ежедневный Апокалипсис где-то в Бейруте...

Волков. В Афганистане...

Бродский. И вот постольку поскольку Паунд с Ольгой Радж в кино не ходили, весь этот ужас их не касался. Хотя она и привирает, я думаю. Были там немецкие войска, особенно в Тоскане. Думаю, что Паунд все видел и понимал. Но это неважно. Вы знаете, когда перед вами сидит живой человек... и когда он говорит что-то — даже если вы с ним совершенно не согласны... но если этот человек не вызывает в вас определенного отвращения чисто физиологического, то в конце концов вы понимаете — да, это правомерный взгляд на вещи. Вот я сижу у Ольги Радж — слабак не слабак, русское воспитание. И думаю — в конце концов никто не виноват. Все просто большие несчастные сукины дети, да? Всех нас надо простить скопом и отпустить душу на покаяние. Ну, думаю, Господи, конечно... чего там...

И вдруг Сьюзан говорит... Надо сказать, в Сьюзан есть это потрясающее качество — когда разговор уже кончается, все в порядке, все успокоились — вдруг! Тут-то все и начинается!

Волков. Это как у Достоевского — „вдруг“...

Бродский. И выкладывает Сьюзан Зонтаг Ольге Радж следующее: „Вы же не думаете, Ольга, что американцы были так возмущены Паундом из-за его радиопередач. Если бы дело было только в радиопередачах, он был бы всего лишь навсегда еще одной Токийской Розой...“

Волков. Это та дамочка, которая во время войны по радио увещевала американских солдат, сражавшихся против Японии?

Бродский. Я чуть не упал со стула! По-английски это звучало убийственно. Сравнить поэта, которого считают столь крупной величиной, с Токийской Розой! Я даже не знаю, какой эквивалент подобрать этому...

Волков. Все равно, что сравнить Лоуренса Оливье со стриптиз-герл.

Бродский. Нет, со Смоктуновским. Или со Стриженовым-Кадочниковым, что-то вроде этого. Но Ольга Радж скушала все это совершенно замечательно. И спросила: „Так что же так отвратило американцев от Эзры?“ Сьюзан говорит: „Ну, очень просто: это антисемитизм Эзры“.

Тут Ольга включилась на следующий час: Эзра не был антисемитом, среди его друзей была масса евреев. И даже Муссолини был не таким уж антисемитом. На самом деле у него здесь, в Венеции, был адмирал еврей. Что само по себе довольно замечательно. Еврей — адмирал! Ну, для Венеции это как раз естественно. Что касается Паунда, то мы выслушали рассказ Ольги о том, как Эзра приехал на похороны Элиота в Лондон. И я не помню — то ли Паунд с кем-то поздоровался, то ли не поздоровался. И мы откланялись.

Для меня это было чрезвычайно интересным опытом. Невероятно интересным! Ибо впервые в жизни я увидел живого фашиста. Конечно, я видел в России немцев-военнопленных. Но, во-первых, сколько мне тогда лет было? А, во-вторых, ну, какой тут фашизм — просто немцы, солдаты бывшие. И вдруг в Венеции — из всех прочих мест — я вижу фашиста по убеждению, по идеологии. И этот фашист — американская дама с более или менее определенным достатком, большую часть своей жизни прожившая в Италии. То есть этот дом в Венеции ей принадлежал, кажется, с двадцать восьмого года. И единственное, что ее интересовало на свете — это как сохранить собственный статус-кво. Мир сквозь призму своего класса, сквозь призму мелкого буржуа. Что, в общем, само по себе не так уж и плохо. И вовсе не надо кидаться из-за этого на мелкого буржуа с кулаками. Но когда ради сохранения статус-кво начинают массовым порядком уничтожать людей... Но до Ольги Радж это как бы не доходит. Что, в общем, вполне понятно — так просто удобней во многих отношениях. Не говоря уж о том, что ты обитаешь в Венеции и жизнь прекрасна.

Волков. Чем вы объясните поддержку Паунда такими разными людьми, как Оден (который голосовал за присуждение ему премии Боллингена) и Роберт Фрост

(который добивался помилования для Паунда)?

Бродский. Ну, во-первых, к нему относились как к человеку, ушибленному судьбой. Тому, кто находится в беде, надо помогать, независимо ни от чего. Все-таки Паунда держали в сумасшедшем доме чуть ли не тринадцать лет. Держать поэта, каких бы убеждений он ни был, в сумасшедшем доме — это ни в какие ворота не лезет. Оден говорил, если великий поэт совершил преступление, поступать, видимо, следует так: сначала дать ему премию, а потом — повесить.

Волков. Недавно были опубликованы материалы, которые показывают, как привольно Паунду было в этой самой психиатрической лечебнице. Вся операция была провернута его поклонниками с тем, чтобы Паунд избежал суда.

Бродский. Чтобы его не посадили на электрический стул!

Волков. И хорошо, что не посадили. Европейцы приравнивали бы это к Хиросиме, и американцы — вся нация — стояли бы на коленях, били бы себя в грудь и посыпали головы пеплом.

Бродский. Не вся нация... Дело не в этом. Все-таки Паунд — худо-бедно — поэт. Особенно это касается первой трети его творчества; "Hugh Selwyn Mauberley" — совершенно замечательные стихи, безотказные. Похоже на Заболоцкого, но с устертвением.

Волков. К стыду своему, я никогда не мог продраться сквозь "Cantos".

Бродский. И не надо сквозь них продираться. Их даже руками трогать не надо, потому что это совершенно бесполезно. Местами там есть потрясающие по элоквенции куски. Но на самом деле это фиктивная реальность. Эти стихи, кстати, так же фиктивны, как многое в европейской живописи XX века. Нечто, чего могло бы и не быть, существует. И без этого можно жить не то что счастливо, но даже и несчастливо.

Нет, в общем, с Паундом поступили по справедливости. Как поэт он был вознагражден. И как человек — получил то, что заслужил. С моей точки зрения, как поэт он получил даже больше того, что заслужил. Следовало бы издать полное собрание сочинений Паунда: все ранние

стихи, полностью "Cantos". И разумеется, том его итальянских радиопиелей. И тогда все станет на свои места. И никто больше не будет психовать, что вот-де какая несправедливость совершена по отношению к поэту. **Волков.** Ольга Радж, говорят, неплохо играла на скрипке. Сам Эзра Паунд живо интересовался музыкой и даже написал оперу на стихи Франсуа Вийона. Одним из любимых композиторов Паунда был Стравинский; он любил повторять, что у Стравинского он учится своему ремеслу поэта. Кроме того, оба они были поклонниками Муссолини.

Бродский. Я в этом не нахожу ничего удивительного.

Волков. Стравинский отзывался о Муссолини с большим восторгом, особенно после того, как дуче принял его в Palazzo Venezia. Известно, что в тридцать шестом году Стравинский открыл свой авторский вечер в Неаполе исполнением „Джовинещы”, фашистского гимна.

Бродский. С итальянским фашизмом все не так просто. Просто, конечно, но... Вы знаете, почему Муссолини зовут Бенито? Его папаша был человек весьма левых убеждений. И по одной версии окрестил сына в честь Бенджамина Франклина. А по другой — в честь Бенито Хуареса, которого называют, в свою очередь, мексиканским Линкольном. В фашистской Италии, в общем, не преследовали евреев. Антисемитизма там вообще нету. Конечно, при Муссолини итальянским евреям пришлось пережить много тяжелых дней. И, например, римское гетто — только недавно, лет тридцать спустя, стали в него евреи понемногу возвращаться. Но все-таки — ничего похожего на то, что творилось, скажем, во Франции. Желтых звезд в Италии просто не было. Я это не к тому говорю, чтобы защитить Стравинского. Наоборот, это была колоссальная глупость с его стороны. Но от музыканта не следует требовать слишком многого.

Волков. В общем, следует. Или курица не птица, музыкант не человек?

Бродский. Дело в том, что музыка — как и архитектура — это искусство, в сильной степени зависящее от финансов. Если вы композитор, для исполнения вашей симфонии нужен оркестр. А кто ж даст оркестр? И ра-

дио из кармана не вынешь. Наверное, поэтому черт знает что творится иногда в головах у этих людей! Самые лучшие архитекторы работали для самых чудовищных заказчиков. Поэт, литератор — это другое дело, с них и спрос другой.

Волков. Мережковский, по воспоминаниям писателя Василия Яновского, рассказывал о своей встрече с Муссолини так: „Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гете: "Кто ты такой? Wer bist du denn?" А Муссолини в ответ: "Пиано, пиано, пиано"”.

Бродский. Пиано, пиано... Да, все они хороши!

Волков. Возвращаясь к Венеции — можно ли сказать, что этот город стал одним из ваших миров?

Бродский. И да, и нет. Знаете, человек смотрит на себя — вольно или невольно — как на героя какого-то романа или кинофильма, где он — в кадре. И мой заскок — на заднем плане должна быть Венеция.

Волков. И голуби на Сан-Марко?

Бродский. Голуби необязательны. Просто Венеция — лучшее, что на земле создано. Если существует некая идея порядка, то Венеция — наиболее естественное, осмысленное к ней приближение. Из возможных вариантов. И постольку поскольку у меня есть шанс ко всему этому приблизиться, я стараюсь — ну, не знаю, покрутиться там хоть некоторое время, потому что все время — невозможно, да и не нужно это.

РАЗГОВОРЫ С ШЕСТОВЫМ

ЧАСТЬ 1

НА БЕРЕГАХ ИЛЛИСЫ

Шестов, надо сказать, никогда не был хорошего мнения об учениках. Он говорил, что они обращают наставника в болтуна, заставляя его говорить то, чего они от него ожидают. Они держат его под своей стражей, навязывают ему положение мудреца, оракула. Они превращают его жизнь в непрерывное поучение. Держат в своих руках вплоть до самой смерти, вплоть до того момента, когда бы надлежало оставить учителя наедине с самим собою, в размышлениях только о себе, а не о других и не для других.

— Гегель, — говорил Шестов, — в предисловии к „Феноменологии духа” писал, что надлежит остерегаться стремления „назидать”. Но кто же из философов когда-либо остерегался? Самое Главное не является ли у них предметом назидания?

Шестова, правда, с оговорками признали и „историком философии”. А между тем, он вопреки всем уважаемым традициям, отвергает эту историю. Можно было бы сказать, что он отвергает и саму философию. Но во всяком случае он различает то, что философ думает, когда он наедине с собою, покинутый, несчастный, бессильный, оттого что он мыслит, когда волей-неволей устанавливается диалог между ним и людьми. Когда из человека-одиночки превращается в человека общест-

венного. Нет, Шестов никогда не подозревает добросовестности философа. Но ведь может быть, что сама „передача мысли”, база социального общения, глубоко искажена, поражена неизлечимым недугом.

— Все можно преподавать, — говорил Шестов. — Добродетель, порядок, подчинение, долг, жертвенность... все, кроме „самого важного”. Оно же чаще всего заключается в том, что человек едва осмеливается сказать себе самому, вполголоса, при потушенных огнях. Мгновения эти редки, и кому охота о них вспоминать. Земля ушла из-под ног, исчезли критерии, хорошо еще если не чувствуешь над головой великого взмаха крыла безумия, как свидетельствует Бодлер...

Слишком точное изучение автора, слишком точное цитирование его не всегда продвигает нас вперед, по существу. Изучить — значит попытаться переместить мысль существа, в своем роде единственного, неповторимого, в историческую, психологическую и техническую перспективу коллектива, выделить влияния, которые она испытала, — отзвуки, ею вызванные, свести свойственное ей частное к общему, выявить, что в этой мысли является поучительным — ее назиданием. Как же выполнить это, не у м е р т в и в саму мысль? И, однако, надо изучать, надо верить в искренность мысли, которую изучаешь, но исходя из идеи, что эта искренность пребывает там, где ее меньше всего ищут, в намеках, в преувеличениях, в незаметных „передержках”, накладываемых на смысл банальных истин, в мании подписываться псевдонимом, в предосторожностях, принимаемых, дабы снять с себя ответственность, в грубо подкрашенных противоречиях, в небрежности стиля, в выпадах, в как бы случайных противоречиях и кажущихся з а б л у ж д е н и я х...

Так примерно наставлял Шестов...

В течение 15 лет вопреки себе самому Шестов был моим наставником, я же, сам того не подозревая, был его учеником. И некая субстанция от него перешла в меня, но меньше всего это было „обучением”, хотя и было больше и лучше, чем таковое...

Все это шло само собою. Я отлично понимал самый „вопрос”, но пребывал в полном неведении относительно его истории, материала, путей исследова-

ния, доказательств и т. д. Хотя для Шестова ничего не существовало на свете, кроме самого „вопроса”, хотя он всегда страдал, что „вопрос” остался непонятым...

Этот вопрос, центр его мысли, он ставил непрестанно, но каждый раз давал ему разное обличье. Только **п о н я т ь** этот, относящийся по преимуществу к существованию, вопрос не значило, по Шестову, его **р а з р е ш и т ь**. Понять — это значит, сначала **в ы я в и т ь** во всей их исторической значительности такие странные идеи, как невозможность, принцип противоречия, необходимость, „смысл истории”. Это означает глубоко проникнуться значительностью работы спекулятивного мышления, страхом перед тем, что ускользает от нашей власти, установив очевидности...

Когда некий философ, якобы все понявший, заявил: „Я не верю ни в истину, ни в принцип противоречия. Может быть, дважды два и не четыре”, — Шестов сказал: „Какое легкомыслие! Наоборот, надо выявить неизменность истины, в порядке ли успокоения или возмущения духа; тот, кто не выявил этого, никогда не был философом. Нужно **в е р и т ь** в очевидность, в законы, в невозможность, но вместе с тем ощущать в себе напряженное сопротивление, неизъяснимую тревогу, чувствовать себя уязвленным этими пределами, восставать против их всемогущества, против захвата, чаровства нашего мышления ими. Экзистенциальная философия существует только тогда, когда препятствия, вскрываемые нашим мышлением, чувствуются громадными, непреодолимыми. Нет истинной веры, если чудо не чувствуется как невозможное, как абсурд. „Мыслью, существую. Истинно то, что невозможно”. Такова, по мысли Шестова, была громадная мысль Декарта, которую он прозревал и не постиг...

Шестов бывал профессором **п о м и м о** себя, преподавал скрепя сердце, для заработка. Мне было 26 лет, ему 57, когда мы встретились. Я закончил свое образование и наметил свой путь. Меньше всего я помышлял о философии... Долгое время Шестов относился скептически к моему быстрому пониманию, он опасался энтузиазма. Можно ли доверять человеку, который не читал в подлиннике Аристотеля и Платона,

Лейбница и Гегеля, который не узнал из истории философии, какие препятствия могут возникнуть на пути? Стоявший перед ним молодой человек преисполнен добрых намерений, не выражает желания стать философом. А если бы выразил таковое, то обязан пройти всю науку. И вот Шестов случайно решил немного культивировать этого молодого человека. Но вот что странно. То, что он решил преподавать мне, было не его собственная доктрина, но учение других. Он хотел в меня внедрить основные принципы спекулятивного мышления. Возможно, он приступил бы к делу иначе, если бы решил сделать из меня философа. Он посоветовал бы мне те или иные руководства. Но, возможно, он боялся этого метода, ибо не с такового и сам-то он начал. К своим обширным знаниям греческих и латинских первоисточников он обращался лишь для удовлетворения собственной жажды. Меня же он понуждал читать современников, о которых говорила наша эпоха, — Гуссерля, Хайдеггера, направлял меня изучать их в том направлении, в каком они могли бы пригодиться для моих литературных опытов, а еще более — журнальных отзывов, если бы мне пришлось заняться ими. В течение ряда лет, советуя прочитать то или другое, он предупреждал, что это выше моих возможностей, нелегко мне дастся...

Признаться, до сих пор не могу понять, откуда у меня взялась покорность, с которой я „засел за уроки“. Месяцы протекали в тяжелой и, казалось, бесплодной работе. Мысль стать философом мне отнюдь не улыбалась, хотя я и привязался к работе, но не придавал никакой ценности для себя лично... Казалось мне тогда, да и теперь кажется, что я подчинялся Шестову, дабы доставить ему удовольствие, мне не хотелось отплатить неблагодарностью за б е с к о р ы с т н у ю дружбу, которую он ко мне проявлял. Часы, проведенные в его обществе, были самыми счастливыми в моей жизни. Во всяком случае, эта наука мне не повредила: подобно „экзерсисам для пианино“ философы были для меня средством развития рук над Трудностями. Также возможно, что в глубине сознания я чувствовал себя уязвленным презрением, которое проявлял Шестов к недоучкам, отдавая высокую честь знатокам

текстов. Впрочем, мне лично этого презрения он не выражал, находя смягчающие обстоятельства. А может быть, я просто старался стать достойным его уважения...

До этой работы, как большинство людей, я ничего не понимал в философии в чистом смысле этого слова. Я видел в ней сфинкса без тайны: диалогах Платона, значение их я тогда не понимал, думалось мне, дискутируется ли действительный конфликт? Платон упрекает противников в том, что они признают только то, что видят, что могут схватить руками, и это мне казалось правильным. Но как же случилось, что Платон и с ним все философы именуют себя высшими реалистами, а между тем совершенно ничего не видят, ну, совершенно ничего из того, что все другие видят собственными глазами. И в то же время эти философы жаждут осязать руками непостижимое разумом...

Шестов разъяснил мне, что настоящим путем является не тот, которым я шел, не путь пренебрежения спекулятивным мышлением. Наоборот, надо доходить до истоков конфликта, вызывать Минотавра на бой у него. Он говорил... и вдруг музей восковых фигур, покрытых пылью, которые доселе были для меня только фигурами из истории философии, пробуждались... Нет, то уже не были восковые фигуры индифферентных мудрецов, то были живые люди, исполненные жажды обладать чем-то, удержать что-то в своих неверных руках, в этом широком потоке сотворенного тленного, пребывающего в безостановочном движении...

Чем дольше я общался с ним, тем менее представлял себе Шестова как философа, а себя как ученика его. Ученик, но чего? Он ничему не обучал меня. Он один борется перед Богом. Не утешения он требует, но милости, дабы исчез наконец кошмар из нашего постижения существования, чтобы осуществилось обетование: „Не будет для вас ничего невозможного“. Или он единственный среди философов, который признает Бога? Оставив в стороне Платона, признающего Бога только наполовину, все остальные взыскуют только мудрости, писал Шестов в предисловии к „Власть ключей“. Этот вопрос был для него мучением. Его вопрошание осталось без отклика, оно было пережитком минувшего: и с т о р и я

не пожелала. Но большой писатель развивал свои идеи; в парижской комнате более одинокий, чем в песках Египта, но — г л а с вопиющего в пустыне. Этот большой мыслитель не пробудил никакого реального эха в мире. Вначале заметили, что это большой писатель, хвалили его за отвагу. Когда же он ударился в „химеры“, все его покинули, даже друзья, на его книги не отзывались, перестали о них говорить, не отмечали даже их появления и он не находил издателей. Он не проявлял страдания, однако, совершенно законного, видя себя непризнанным, труд свой отвергнутым. Но его всегда мучил, а под конец жизни более чем когда-либо, отказ услышать „его вопрос“. Он с радостью соглашался остаться анонимом, быть обкраденным и материально, и литературно, через плагиат, дабы вопрос, но правильно поставленный, внедрился в сознание людей. Убедившись, что его больше не слушают, не открывают больше его книг, и чувствуя, что ко мне несколько прислушиваются, он понуждал меня писать, напоминать о его проблемах, но его не упоминать, дабы и передо мной не захлопнулись двери... „Вас слушают, — говорил он, — надо, чтобы вы поставили вопрос, не только для них, но и для себя самого. Не думайте, что вы уже преодолели трудности, они еще в вас...“

Во „Власти ключей“ Шестов писал: „Что является объектом философии: исследовать значение общего и стараться всеми силами возвести Теодицию по образу Лейбница и других известных мудрецов или проследить до конца судьбы индивидуумов, иначе говоря, поставить вопросы, заранее исключающие рациональные ответы, каковы бы они ни были. Разумеется, тут мы имеем дело с астрономической революцией в истории философии — в спекулятивном мышлении, с теми грозowymi мыслями, которые рвут покойные причалы годов, одна из тех вспышек интуиции, которые встречались на пути Бергсона...“ Но то, что Шестов писал о Шеллинге, полностью приложимо к Бергсону, не ему дано было быть „Лютером философии“...

Таинственно время-длительность, чреватое грядущим! Но не менее таинственна материя, таинствен дух и таинственно Таинство Бога, согласно древним евреям, все сотворившего, и продолжающего творить: и время,

и дух, и материю. Бог живой ничего не имеет общего с неподвижным мотором Аристотеля, с богом, который уже не творит личностей отдельных и живых, который и сам не ипостась и не живой. Бог, в системе Шестова, не простое л о г и ч е с к о е следствие доктрины, зашедшей в тупик, благодаря своим безумным предпосылкам. Он есть реальность, проявленная в жизни через единицы, через личности единственные и незаменимые. Среди этих избранных одни нашли Бога в несчастье, шругие в радости. Он открывался тем, кто Его не искал, и не всегда являлся страстно взывавшим к Нему. Одни призваны только к радостям земным, другим уготована радость небесная. Много путей, дабы идти к Нему. Много путей, чтобы вернуться к Нему...

Не желание, не „любовь”, но н е о б х о д и м о с т ь в Боге стоит в центре шестовской мысли. Необходимость Бога творящего и всемогущего, того Бога, который имеет власть и, может быть, желает сделать страдания Иова не бывшими, как и костры Инквизиции и смерть Сократа. Может быть, Он желает также вернуть Кьеркегору потерянную невесту, человеку — потерянный рай. Допустимо ли, чтобы человечество никогда не приняло такого Бога?..

Даже те, кто довольно долго был или следовал за Шестовым, не могли выдерживать все время такого н а п р я ж е н и я мысли. Тяжко нести страшное сознание, что невозможно примирение между Иерусалимом и Афинами, между верой и разумом, между наукой и метафизикой. Мучительно жить в мире произвольном, без малейшего островка твердой земли, без малейшей уверенности в порядке, в структуре, в вечной истине. Пусть изменяется мир, если тут ничего не поделаешь, но должно же, по крайней мере, остаться незыблемым звездное небо наших концепций. Мир не зависит от нас, он создан Другим. Но идеи-то созданы нами. Они созданы по нашему образу и подобию, и нам необходим бог успокаивающий, бог, гарантирующий возможность природных законов и структуры естества, бог, добровольно отказавшийся в пользу нашего разума от той страшной, пугающей силы, каковой является свободная воля. Бог п о л н о с т ь ю н а й д е н н ы й, и который установил раз навсегда условия жизни... Иначе над историей

висит меч арабской „Тысячи и одной ночи”: приходится каждую ночь выдумывать новую теодицию, дабы держать врага на расстоянии и без конца отодвигать фатальную гибель, которая все-таки придет. Но наука, которую мы создали, чтобы удержать на ногах мнимый мир, богами которого мы одни являемся, разве она то, в чем мы нуждаться будем в великий час смерти?

— Знаете, — сказал мне однажды Шестов, — голландский писатель, напечатавший обо мне диссертацию,* изменил свой взгляд. Он написал мне, что боится, как бы, борясь против очевидностей, не утратить самое ясное из той энергии, которая нам необходима для борьбы с эмпирическим. Это верно. Но вот чего он не заметил в этом вопросе: против очевидностей борются только тогда, когда эмпирическое победило.

ЧАСТЬ 2

РАЗГОВОРЫ С ЛЬВОМ ШЕСТОВЫМ

В первый раз я встретил Шестова весной 1924 г. в одном философском салоне Парижа. За два года до этого я напечатал на румынском языке шесть статей о его последней работе. Я не имел никакого понятия, жив ли он или уже умер в веке предшествующем или в нашем. И вот передо мною высокий старик, сухой, тощий. Трудно передать чувства, которые я тогда испытывал.

Был общий разговор, и, мне кажется, Шестов был удивлен горячностью и задором, которые я вносил в беседу. Мы вышли вместе, и его дочь Татьяна взяла мой адрес, чтобы пригласить меня к ним при случае.

С 1924 г. по 1929 г. в моих бумагах я нахожу лишь одно письмо от самого Шестова:

3.5.1924

М. Г.

Завтра у меня будет маленькое собрание друзей, французских и русских. Мне доставит большое

удовольствие, если приедете и Вы.

Все остальные приглашения написаны его дочерью Татьяной, другом которой я считался в семье. Лично со мной Шестов редко говорил о философии. Редко я виделся с ним с глазу на глаз. Он проявлял ко мне некоторую симпатию, но обескураживал. Особенно после одного разговора, когда он посоветовал мне отвергнуть философа, которого я любил.

Только в 1926 г. между нами установился некоторый серьезный контакт. Он подарил мне экземпляр его книги, появившейся на французском языке, „Достоевский и Ницше” (Философия трагедии). Благодаря его, я писал, что тяжело идти по его стопам, ибо по собственному же его утверждению, для сего надо пережить внутренний разгром... И я прибавлял: какой же человек осмелится пожелать самому себе подобный разгром из любви к истине? Кто же согласится стать его учеником?

Спустя несколько дней я получил приглашение от Татьяны. Было довольно много народа. Шестов взял меня на бордаж.

— Я привык, — сказал он, — к тому, что мне пишут о моем таланте, о моем проникновенном понимании Достоевского, что мой стиль... И вот, вероятно, в первый раз, кто-то коснулся самого вопроса.

Он показал мое письмо всем и обратил его в событие. Тогда мысль записывать наши разговоры еще не родилась во мне. Я был далек от нее, я страшился дневников. И забвение налегло на большинство наших встреч, которые становились все более частыми.

Только в 1934 г. меня охватило глубокое, волнующее чувство, что мысль Шестова никто никогда не понял, что труды его читаются мало или совсем не читаются, что он жил и живет в абсолютном и терзающем одиночестве, что я один допущен им слышать и понимать его, и если я не буду записывать наши беседы, никто этого не сделает. С тех пор я и начал, приходя домой, записывать мысли, наиболее примечательные из тех, что он бросал в разговоре.

У меня сохранилось около 120 писем от него за период 1929—1938 гг. Должен сказать, что в общем письма эти не представляют особого интереса... Шестов не любил

писать и чаще всего кончал свои письма словами „приходите повидаться и поговорим об этом...”.

Летом 1930 г. Шестов уехал, как обычно, в Шатель-Гюйом. Его супруга, доктор медицины, работала там массажисткой во время сезона. Шестов оттуда пишет:

22.8.30

...У меня ничего нового. Теперь моя жена зарабатывает на нашу жизнь. Я же ничего не делаю. Гуляю, даже развлекаюсь в кино. Не ждите меня. Этой зимой я поеду в Краков на заработки.

29.7.1932

Отель „Пале-Рояль”. Шатель-Гюйом

...Вы спрашиваете, как мое здоровье. Все в порядке. Однажды, когда моя жена работала у известного врача, тот сказал одному из своих пациентов, которому он запрещал все, что тому было приятно, и прописывал все противное: „В наши годы (доктор и больной были стары) нужно совершенствоваться”. Вот я и совершенствуюсь. Без особой скромности могу вас уверить, что еще немного и я стану образцом совершенства: я буду ложиться рано спать, курить мало, никогда не буду пить кофе и ничего не читать, кроме Кейзерлинга и т. д. ...

Первые записи

17.4.1933

Шестов: Хорошо читать время от времени второстепенных философов. Они превосходны. У них нет искусства великих учителей, нет их осторожности. Взять хотя бы нашего Соловьева, ученика Гегеля. Он дает маху, высказывая то, что Гегель только думает... Применяя к смерти Пушкина рассуждения Гегеля о смерти Сократа, Соловьев выводит, что морально поэт не был на той высоте, которая соответствовала бы его гению. И если он погиб, то в силу справедливого возмездия за свои ошибки и недостатки. Таких вещей Гегель никогда не высказывал, хотя фактически думал, как Соловьев.

У г-жи Ловцкой, сестры Шестова. Прием Мартина Бубера.

...Живописная фигура старого равви. Благой лик мудреца, покрывающий внутренние глубины, откуда слова, на прекрасном французском языке, мелодичном, немного грассирующем, текут медленно, обдуманно, отделенные от их внутреннего формирования, разделяются на момент и бросаются в разговор. Разговор идет о событиях немецких, европейских, о фашизме и коммунизме.

— Мы заблуждаемся, — говорит Бубер, — думая, что мы выше событий, полагая, что мы знаем, что хорошо, что плохо, считаем, что свет у нас, что дух говорит через нас. Мы не выше гитлеризма, ибо мы не знаем, что делать. Я не доверяю индивидуализму и еще меньше коллективизму. Мы дошли до предела. Не знаем, куда идти. Надо бы и а й т и, что надлежит делать. Но никто еще не смог найти. Здесь большое различие с появлением христианства. Тогда Иоанн Креститель возвещал, что Царствие Божие приближается к нам. Что-то свершалось, что-то становилось осязаемым... Теперь столп, поддерживавший свод, рухнул... Ничего не приближается. Мрак тот же, но без столпа, без дороги. Конечно, я не говорю о чуде, о возможности спасения Богом. Я говорю об участии человека в деяниях человечества, и эта доля его опорочена. Для начала надо бы осознать мрак, проникнуться идеей, что он всего лишь мрак. Только это позволило бы начать поиски выхода, света. Во всяком случае, попытки спасения через дуализм, через резкое разграничение мысли и труда, нас не спасут. Я не протестую против труда, это наша земная доля. Но концепция труда плоха: человек в ней рассматривается только как продолжение машины. Это ад! И работает ли человек только один год в жизни, или час, или день — одно и то же. Не длительность работы важна, а качество. Такая концепция труда — ржавчина, разъедающая все. Она пропитывает весь остаток времени. Часы отдыха, развлечения, радость. Даже когда рабочий идет в кино, он идет в ад. Его жена — женщина ада. Он не может иметь свободы духа, ибо тогда бы он обладал свободой от этой концепции труда. Однако

я не утверждаю, что я знаю, что делать. Я говорю только, что надо искать. Может быть, найдут... Нужно было бы, по возможности, децентрализовать, вернуться к свободе корпораций, обществ, коммун. Коммунизм с этого начал, начал реализировать древнюю мечту человеческого рода. Увы! спустя немного он все централизовал наново и произвел карикатуру этой мечты. Мы живем в эпоху активности, человечество осуществляет все свои мечты, но в карикатурном виде. Я полагаю, однако, что оно могло бы быть достаточно счастливым. Земля велика и щедра, и вот... Что делать? В отчаянии человечество свершает самые безумные попытки. Получается впечатление, что собираются убить библейского змия.

— Именно с этого и надлежало бы начать, — промолвил Шестов. — Днем и ночью я борюсь с этим змием. Что значит Гитлер по сравнению со змием познания?

— Но змий — только несчастный случай, — возражает Бубер. — До этого все было иначе, хотя я и не знаю, как было.

— До этого не было ни вас, ни меня, — говорит Шестов. — Мы п о с л е змия. Вот почему его надо убить.

— Признаюсь, я плохо понимаю вас, — пожимает плечами Бубер, — и по правде сказать, не уверен, полезно ли возвратиться назад. Надо ли убить змия.

— В этом вам препятствует именно змий, гнездящийся в вас.

6.10.1934

„Сумма” св. Фомы Аквината на столе

— Прочитав Жильсона, я снова принялся за „Сумму”. Какая вещь! Кафедральный собор! Каждая деталь, каждый кусок, каждая страница закончены. И однако все участвует в целом. Какое искусство! Советую прочитать, есть над чем подумать... Полезно читать своих противников и восхищаться ими... Не следует их недооценивать. И Гуссерль, с которым я сражался, был учителем для меня, он мой учитель. Без него я никогда бы не посмел бороться с очевидностью!

О Жильсоне

— Превосходная работа, проникновенная, во всеоружии знания. Он говорит о метафизике Исхода, но ничего о метафизике г р е х о п а д е н и я. Этого он уже не понимает. Потерять рай за ничто — за плод! Он не осмеливается видеть, что дело идет о Познании. Через него говорят греки, но не прямо, а через отрывки Спинозы, а он думает, что опирается на Библию. Участвует тут и Лейбниц...

О Кьеркегоре

Нетрудно говорить о Кьеркегоре теперь, когда он признан. Но вот в Киеве, в мое время был бедный русский профессор. Чтобы подработать, он устраивал публичные доклады на волнующие темы. В моде тогда был Ницше. Он говорил о Ницше. А незадолго до этого известный московский профессор князь Трубецкой (Сергей Николаевич) дал своему брату (Евгению Николаевичу) тоже философу, нагоняй за то, что тот позволил себе говорить публично о Ницше-афористическом авторе! Как-то я зашел к бедному профессору в Киеве, он ликовал: „Загляните в последнюю книгу Вундта. В предисловии он посвящает Ницше четыре страницы!”

Отныне мой профессор получил право говорить о Ницше.

27.17.1934

Я навел Шестова на воспоминания о революции.

Года через полтора после начала революции в Киеве Шестов был приглашен на митинг в честь Маркса. Он пошел нехотя, но... он пользовался большим престижем в Киеве, особенно в то время. Правда, его квартиру отнимали несколько раз, но всегда возвращали.

Один за другим выступали товарищи и говорили, что если и бывали философы и писатели, то революция всех их сметет. Они намекали на Шестова, но имени его не произносили. В заключение председатель собрания,

который был поумнее, сказал, что революция сметет Аристотелей и Платонов и даже Шестовых, если... если они откажутся предоставить свой талант на службу революции. Впредь им не придется думать, о чем говорить. Им скажут. Их дело только исполнять приказания, иначе...

Тут Шестов, будучи назван, попросил слова. Он сказал, что эта революция не первая. Аристотель и Платон выметались уже не раз и радикально. Однако спустя столетия люди принялись выкапывать из земли кусочки творений Аристотеля и Платона и обожать их. Он прибавил также, что так понимаемая революция есть не диктатура пролетариата, но диктатура над ним.

— Если, — сказал он, — рабочий приходит ко мне, то для того, чтобы узнать, что Я имею ему сказать. Он хочет знать плоды моих раздумий, а не то, что ему скажут по приказу свыше. Если же он желает узнать мысли господ товарищей, которые мне предписывают, он спросит их непосредственно. Он не удовлетворится моим изложением чужих мыслей, как бы талантливо я их ни излагал. Он потребует НАШЕЙ мысли, иначе заставит нас молчать или выметет нас.

— Признаюсь, — продолжал Шестов, — что не заслуживаю похвал за смелость. В то время никто не осмелился бы напасть на меня. Я имел друзей среди вожаков революции. Все они объявляли себя моими поклонниками, хотя совершенно меня не понимали, ибо смешивали Аристотеля, Платона и Шестова... Для них это было все равно.

21.11.1934

Об издательстве

...Книга Шестова о Кьеркегоре, переведенная на французский язык, была принята одним издательством, зависящим от Мальро, который неоднократно проявлял к Шестову уважение и восхищение. Три года назад он упрекал Шестова в том, что тот занимался персонажами вроде Бергсона и Гуссерля, недостойными занимать мысль столь высокую... И вот, вернувшись с конгресса советских писателей, на котором он защищал писатель-

скую свободу... Мальро наложил вето на книгу Шестова, напечатать которую согласился другой участник издательства. Шестов не негодует, он огорчен.

— Это факт — в буржуазном обществе писатель лишен свободы, не говоря уже о любви. Только благодаря случаю, иногда ему удается говорить свободно. Вот Шопенгауэр, Ницше, скажем, случайно обладали небольшими средствами и издавали книги за свой счет. Имею шанс и я — моя жена работает. Иначе я бы умер с голоду. Другой мой шанс — я встретил Леви-Брюля, который меня печатает, не знаю, по какому недоразумению. Возможно, он просто не читает моих статей. Но с режимом Гитлера и Сталина и такого рода шансы оказываются упраздненными. Тут ни деньги, ни недоразумения больше невозможны...

— Я не имею права жаловаться, даже если бы мои книги вообще больше не выходили в свет. Я стар, сказал почти все, что имею сказать. Мои книги вышли, переведены на несколько языков. Их найдут... Одной книгой больше, одной меньше... Но вы-то что будете делать? Мальро отзывался обо мне почти как о Платоне, Аристотеле. Да что я говорю „почти“?! И, однако, он должен повиноваться Сталину.

О Бергсоне

— Бергсон мог бы быть после первой своей книги „Непосредственные данные сознания“¹ прекрасным философом. Когда я читал эту книгу в Швейцарии (вероятно, в 1920 г.), это чтение доставило мне большое удовольствие. Но затем он написал „Творческую эволюцию“. После этого было видно, что совершенно не нужно было ему писать „Два источника морали и религии“.

...Не приходится говорить, что книга Бергсона „Два источника“ — книга слабая. Надо поставить вопрос — почему? Почему Бергсон, хороший писатель, хороший философ, взявшись писать о религии и морали, написал слабую книгу. Он всегда стремился сойти за иррационалиста, а вот когда он говорит о Боге, он говорит резонно.

...В течение двадцати лет ждали книгу Бергсона о морали и религии... Она появилась, и тут все заметили, что Бергсон ложный ученый, что он не имеет ничего сказать. Банальна не только его мысль, но даже и его эрудиция... Так, он боится признать **н а с т о я щ и м и мистиками еврейских пророков, апостолов, людей некультурных и философски необразованных...** Если он и цитирует мистиков, то это уже мейстер Эккегард, христианские святые, философы и т. д., с которыми можно по крайней мере разговаривать. Как жаль, что невозможно уничтожить если не оба Завета, то хотя бы Ветхий!.. Гитлер желал бы того же.

... Человеческий разум создан, по-видимому, природой единственно в целях действия. Но вдруг этот разум взлетел над тем, для чего он был создан, и начал на свой страх и риск раздумывать. И добрался таким образом до создания богов. Значит, боги, по Бергсону, были созданы, сфабрикованы, в Коллеж де Франс, вроде тех богов, которых Библия именует идолами. Но если люди не желают богов, сфабрикованных в Коллеж де Франс? Бергсон преклоняется перед этими богами и одновременно сохраняет все другие ценности, он даже свидетельствует свое большое почтение к Библии. Но в итоге, для чего сохранять богов, свидетельствовать им почтение, если в наших „свободных” глазах они оказываются безобразными и никуда не годными.

Вот уже два года я читаю только Кьеркегора, Лютера, Платона и т. д. Читая Бергсона после этих гигантов, я снова оказался на земле. Зачем же Бергсон написал это?

О Мартине Бубере

Шестов: Он говорит, что хасидизм есть великий еврейский ответ Спинозе. Но он цитирует, осваивая ту хасидскую легенду, согласно которой основатель хасидизма Баалшем будто бы избежал адамической участи, ускользнул от первородного греха. По-моему, Спиноза был бы доволен таким объяснением, он тоже хотел бы ускользнуть от греха прародителей.

С другой стороны, хасиды, согласно Буберу, говорят, что молитва не только общение с Богом и т. д.,

но что м о л и т в а есть Бог. Но это же целиком Спиноза!

Здесь я расхожусь с Бубером, который желал бы отложить в сторону первородный грех, наследственность и т. д. Я тоже знаю, как и он, что наследственный грех абсурден, возмутителен, невероятен и т. д. И я сказал ему это. Тогда он ответил, что для него этот грех начинается не с древа познания, но с преступления Каина. Для меня это не имеет смысла. Грех — это знание. Я сказал бы по этому поводу, что не Кант написал истинную Критику чистого Разума, но сам Бог, сказавши: „Если ты имеешь Познание, ты умрешь”. Знаю, мне возражат, что это не критика и так далее.

В момент, когда человек съел плод познания, он приобрел Знание и потерял Свободу. Человек не имеет нужды познавать. Спрашивать, ставить вопросы, требовать доказательств, ответов, как раз и означает, что он не осмеливается быть свободным. Знание и Свобода непримиримо противоположны. А Бердяев мне говорит: почему вы хотите отнять у меня с в о б о д у п о з н а н и я?

О хасидизме, по правде говоря, я узнал только от Бубера. Я слыхивал, как о нем говорил мой отец, который был знатоком вопросов гебраизма, но индифферентен к религии.

Январь 1935

Профессор Ростовцев

Шестов: Однажды звонит мне Ш. де Бос, приглашая провести у него вечер. Прихожу. Общество. Среди прочих известный русский ученый Ростовцев, написавший историю скифов, говорят, замечательную, но я ее не читал. После взаимного представления Ростовцев сразу же начинает яростную атаку на мою персону и на мои идеи. Я был весьма смущен, но, принимая во внимание его персону и из опасения скандала, я пытаюсь уклониться от беседы. Ростовцев это замечает, но принимает за признак моей слабости. Его же аргументы касались опыта и т. д. Словом, все это были банальности, которые он разливал с большим убеждением. Наконец, он вынудил меня на отпор. Я не оспари-

вал перед ним важности опыта, я даже приветствовал твердость его убеждений. Как же можно быть ученым, не веря в опыт. Но сказал, что для НАС проблема начинается не с опыта, а р а н ь ш е. Мы обязаны спросить себя, что такое опыт? Что такое теория? Что такое факт? Ведь факт ничто. Я могу ошибаться, факт может быть миражем. Надо выделить ч т о - т о из бесконечной множественности материи. Это нечто покоится на противоречии и так далее... Ведь чтобы иметь факт, от которого можно исходить, я должен иметь предварительно какую-то теорию, устанавливающую, что есть факт и что не есть факт. Значит, не факт устанавливает теорию, а наоборот, и так далее... Но Ростовцев, как почти все ученые, был совершенно несведущ в философии. Из нападающего он превратился в осажденного и через десять минут утратил всю самоуверенность. На этот урок он сам напросился и притом невежливо. А когда мы встретились с ним через десять лет, он едва поклонился мне.

Каждый раз, когда меня атакуют, мне хотят доказать, что дважды два — четыре. На экзамене в подготовительный класс, мне было тогда восемь лет, требовалось только сложение и вычитание. Я же знал и умножение, и когда меня спросили, сколько будет шесть раз восемь, я сразу ответил — сорок восемь. В восемь лет я уже знал то, чему хотят меня научить в шестьдесят.

Март 1935

Уг-жи Ловцкой

О Маймониде в связи с поездкой в Палестину

Шестов сообщает мне, что переговоры о его поездке в Палестину продвигаются хорошо. Его освободят от всех издержек, взамен чего он прочтет доклады во всех городах и колониях Палестины. Переговоры касались двух вопросов: фунты стерлингов и „широкая публика” желает, хочет, понимает и так далее.

Шестов сперва подумывал о докладе „Авраам и Сократ”. Но сразу же выяснилось, что „широкую публику” этим не привлечь. Читая лекции в Париже, он говаривал, что его слушатели по-русски-то говорят, но того, что он говорит, не понимают. Что делать...

Он накопил трудов Маймонида и решил говорить о нем в связи с семивековой годовщиной.

Я спрашиваю...

— Нет, я ограничусь пересказом трудов Маймонида, ничего от себя не прибавляя.

— Но это вам не удастся, — говорю я.

— Нет, нет, так нужно. Мне очень хочется побывать в Палестине, я переломлю себя... Поездка состоится осенью. Шести месяцев достаточно, чтобы изучить Маймонида, ибо я знаю о нем столько же, сколько вы.

— Ваше решение прекрасно, но мне кажется, что вряд ли оно выполнимо. Вы все-таки отыщете в тексте что-либо, что ваши добрые намерения опрокинет.

— Да, я уже нашел. Он пишет, когда Библия находится в противоречии с разумом и очевидностями, надлежит толковать ее в смысле очевидностей и разума.

— Вот ключ, — говорю я. — Вы кончите тем, что заявите — лучше было бы в этом случае отказаться от очевидностей.

— Нет! Ибо к чему же это послужило бы. Этот текст надо бы поставить в центре доклада, но так как это невозможно... Хоть раз я сойду за мудреца. Это еще не поздно.

И, обратившись с чудесной иронией к шурина, он сказал:

— Вот он часто говорит, ты никогда не поумнеешь. Кто тебя слушает? Твои разговоры? Ну, конечно, Фондан. Но он один-единственный. Ведь он так молод и глуп. Будь он не столь глуп, он давно бы связался с Валем* или с Бердяевым, этим образцом всех добродетелей и достоинств, который даже увенчан Академией, и он — Фондан — сам стал бы мудрецом. Но мой шурина ошибается. Вы-то молоды и глупы, но я стар и... интеллигентен.

— Увидите, — говорю я, — придет день, когда создадут общество имени Шестова.

— Оно будет иметь одного члена — Фондана.

— Ошибаетесь, в нем будет много членов, которые будут так хорошо отстаивать вашу мысль, что именно Фондан-то и не будет туда допущен.

О Сталине и пророках

Шестов: У меня теперь есть радио. То Германия, то Россия. На немецких станциях слышно одно: „Хайль Гитлер!“ На русских — „пророческие слова товарища Сталина“. Даже в царское время лесть и низость до этого не доходили. П р о р о ч е с к и й! Если бы они хоть на момент задумались над этим словом, они никогда бы его не произносили.

Писательская манера Шестова

Говорим про его книгу о Кьеркегоре. После Андре Жида от нее отказалось издательство Грассе. Это не для широкой публики. Сказали, что она очень хороша, но это книга о Шестове, а не о Кьеркегоре.

— Вы понимаете, — говорит Шестов, — когда Валь пишет о Кьеркегоре, то это „о Кьеркегоре“. Издательство Галлимар напечатало книгу Андлера о Ницше, ибо там идет дело о Ницше, а не об Андлере. Мне же кажется, чтобы сказать правду о Кьеркегоре и Ницше, не следовало бы как раз говорить о них, надо говорить только о себе.

Без даты

Об Андре Жиде

Шестов: Это самый умный человек из моих знакомых. Ему все ясно. Когда появилась его книга о Достоевском, он спросил меня, что я о ней думаю. Я сказал, что книга написана отлично. Он сразу понял и переменял тему разговора. Но с тех пор никогда не говорил со мною...

Шестову сообщили, что, прочитав его „Достоевского и Ницше“ (Философия трагедии), Жид сказал: „Со времени Ницше я никогда не был так потрясен..“ После разговора, приведенного выше, Жид прислал Шестову свой только что опубликованный этюд о Монтене с милой надписью. Но когда его попросили написать небольшое предисловие к „Избранным отрывкам Шестова“, Жид уклонился под предлогом отсутствия времени и так далее. По-видимому, тут повлияла его ориентация на Советы.

По окончании доклада мы вышли вместе...

Шестов: Это теория наполовину Канта, наполовину Шопенгауэра. У первого он взял „момент незаинтересованности”, у второго — его бегство от страдания и наслаждения. Но почему докладчик не дошел до конца мысли Шопенгауэра? Он все время повторяет: „Я испытываю ужас перед моралью!” Но по существу он любит мораль и страшится существования. Он отвергает мораль, потому что она не любит существования. Лучше довести мысль до конца и для уничтожения страдания и наслаждения объявить, что мир есть зло, и призвать к нирване. Мораль против жизни, вот упрек, который Ницше ставит Шопенгауэру.

16.7.1935

О Габриеле Марселе*

Шестову указали, что в последней книге Марселя ясны следы шестовской мысли. Марсель со своей стороны это признал, сказав: „Эта книга написана давно, тогда я был потрясен Шестовым. Но вдруг я заметил, что он стучится в „фальшивую дверь”. А затем установил, что там, куда Шестов стучится, нет не только фальшивой двери, но вообще никакой.

Шестов: Это замечание Марселя весьма тонко. Однако, если бы он захотел посмотреть хорошенько, то заметил бы, что сделанное им открытие было уже предложено моими писаниями. В том только и состояло мое дело, что я неустанно твердил — двери нет, и все же надо стучать в эту несуществующую дверь. Стучите, и откроют вам, говорит Евангелие. Но Оно не говорит, стучите в таком-то месте, в такую-то вещь. Ясно, что если бы дверь нам была дана и мы видели ее, мы бы туда и постучались. Открылась ли нам дверь или не открылась, и даже если бы нас оттолкнули, не важно! Она бы существовала, и нужно было бы в нее стучать. Но требуется, чтобы мы стучали, не зная, где надо стучать. Вот что следует понять. Если бы я боролся с чем-либо иным, Марсель был бы прав, но я выбрал борьбу с очевидностями, то есть борьбу со всемогущей н е-

возможностью.

Вот книга Рудольфа Отто. Признаюсь, я давно знал о существовании этого автора, но никогда не читал. Он написал известную книгу *Das Heilige* — вы понимаете, *Das!* Случайно ли, или меня отталкивало заглавие, но я не читал этой книги... — Однажды ее Шестову вручили. — Ладно, я взял ее, опять прочел заглавие... и, конечно, то, чего опасался, нашел дальше. Там идет речь о святости, но не о Святом... надо сказать, что в этой толстой книге, о Библии говорится три-четыре раза. Так же, как Мейстер Эккегарт, замечательный мыслитель, Отто избегает опираться на Библию. У обоих речь идет больше о божественном, чем о Боге. Да, с божеством спекуляция допустима, но в присутствии Бога она прекращается. Бог твой смертельный враг, говорит Кьеркегор. Значит, какая же спекуляция возможна в присутствии такого Бога? Также и псалмопевец говорит о *вопле*, и пророки. Они вопиют к Богу, а не спекулируют. Можно спекулировать на божестве, ибо оно неизменяемо, оно не движется, не отвечает и, значит, все допускает. Но Бог (пусть даже злой, капризный, своенравный, Он все-таки есть) пусть Он не слышит сегодня. Он, может быть, услышит завтра. Если бы имелось божество, имелась бы и дверь... Но кричите, стучитесь к своенравному Богу: тут нет двери... (пропуск)... Если я и борюсь, то не против какой-то вещи, но против самого себя, во мне самом я должен убить истину „факта”. Я стучу, хотя и не знаю, где Бог.

Позднее

О Гитлере и Советах

— Я не люблю войны, — говорит Шестов, — но если бы ее пришлось вести против Гитлера, я взял бы ружье, несмотря на мои годы. Вы знаете, как я отношусь к большевизму. Так вот, если бы Гитлер атаковал Советы, нужно было бы их защищать, чтобы помешать Гитлеру стать хозяином Европы. Из двух зол я выбираю меньшее.

Об А. Толстом

Я говорю Шестову об Интернациональном Конгрессе писателей и об Алексее Толстом, который утверждал, что идея смерти — только буржуазная одержимость.

— Толстой, — говорит Шестов, — превосходный писатель, но он никогда не проявлял склонности к мышлению. Помнится, однажды в России, мы были приглашены к Гершензону, известному в то время историку литературы. Гершензон и Толстой сидели на одном конце стола, я же с Бердяевым и Вяч. Ивановым — на другом. Гершензон был неосуществившимся профессором, он любил поучать. В какой-то момент среди нас воцарилось молчание и стал слышен разговор: Гершензон говорил Толстому, что тот очень талантлив, однако недостаточно мыслит.

— А вы полагаете, что необходимо мыслить? — спросил Толстой, проводя рукою по лбу со скужающим видом.

Тогда я ему откликнулся:

— Если вы мне поверите, вы получите отпущение мысли: пишите, что вы чувствуете и как вы чувствуете.

Тогда Толстой перекрестился:

— Вы полагаете, что я могу не мыслить! Спасибо!

— И однако он человек очень ловкий и умеет вести свои дела лучше любого Ситроена.

Леви-Брюль и Шестов

— Леви-Брюль, — говорит Шестов, — однажды обмолвился: „Я совершенно не согласен с Шестовым. Но он талантлив и имеет право высказывать свои мысли“. Это очень любезно с его стороны. Увы, такой образ мысли стремился исчезнуть в мире.

Андре Жид

Шестов: Жид слишком интеллигентен, и эта интеллигентность мешает ему ясно видеть.

Процесс писания

— Люблю ли я писать? Ненавижу. Мне случалось бросать работу на полужае, так было противно.

Поездка в Палестину

— Поздравьте меня, — говорит Шестов, — я не еду в Палестину. Евреи не смогли собрать 4000 франков для залога, который потребовали англичане. Если бы дело шло о христианине, скажем, Мережковском или Бунине, они бы заранее всех обегали. Но я никогда не имел удачи с евреями. И так часто на это жалуясь, что мой шурин утверждает, что я стал антисемитом.

Автобиографические данные

Шестов затрагивает философские вопросы без моего наведения. Но приходится настаивать, чтобы он заговорил о самом себе, о том, как он начал, о его воспоминаниях.

— Мое призвание к писательству и философии проявилось довольно поздно. Мне было уже 27 лет,* когда я опубликовал книгу „Шекспир и его критик Брандес“ (до этого я написал только диссертацию на звание кандидата права, темой которой были новые рабочие законы). В это время я читал Канта, Шекспира и Библию. Я сейчас же почувствовал себя противником Канта. Шекспир же меня перевернул так, что я потерял сон. И вот однажды я прочитал в одном русском журнале несколько глав Брандеса в переводе, посвященных Шекспиру. Я пришел в бешенство. Несколько позже, находясь в Европе, я читал Ницше. Я чувствовал, что в нем мир совершенно опрокидывался. Я не могу передать впечатление, которое он произвел на меня. И вот я вижу в витрине книгу Брандеса о Шекспире. Я ее покупаю, читаю, и гнев снова распаляется во мне. Брандес был тогда крупной личностью. Он открыл Ницше, он поддерживал связь со Стюартом Миллем и так далее... Но это был род под Тэна; маленький Тэн, конечно, не лишенный некоторого таланта. Но читал он, не углубляясь, и скользил по поверхности вещей. „Мы чувствуем с Гамлетом“, „мы испытываем с Шекспиром“ и так далее и так далее... Словом, Шекспир не мешал ему спать.

— А вы сами? Какова была установка вашей книги?

— Я в ней еще стоял на точке зрения морали, которую оставил несколько времени спустя. Эта точка зрения достигла уже того градуса, что можно было предвидеть, что рамы начинают рушиться. Вы помните строки: „Время сорвалось с петель”? Ладно! Я все же пытался водворить время в его петли. Но только позже я понял, что надлежит оставить время вне петель. Пусть оно разлетится в куски. В этом надоумил меня Брандес, он был далек от такой проблемы.

— Когда после этой книги я захотел возвратиться к Ницше и особенно к его биографии, я понял, что с моими моральными проблемами я никогда бы не смог к нему приступить. Моральная проблема не выдерживает столкновения с Ницше. Для Брандеса трагедия Шекспира была развлечением, наслаждением искусством, и против такой установки я был вынужден защититься эпиграфом: „Я ненавижу лодырей!”

— А до этого вы ничего не писали, кроме вашей тезы?

— Да, несколько рассказов. Но они были очень плохи.

— А ваша теза?

— Я окончил юридический факультет. Мне было 24 года. На выпускных экзаменах я получил в среднем четыре с плюсом. Чтобы стать кандидатом права, я написал диссертацию на тему о новых Рабочих законах, которые были опубликованы и по поводу которых начали появляться рапорты инспекторов труда. Моя диссертация прошла в Киевском университете, и для того, чтобы ее напечатать, я должен был представить ее в Московский Цензурный Совет. Но докладчик Совета дал заключение, что если моя диссертация появится, она послужит сигналом к революции во всей России. Чтобы защитить ее, я поехал в Москву. Один из членов Совета мне рекомендовал затребовать рукопись для изменения в духе, указанном цензурой. Но докладчик убедил Совет, что никакие исправления не могут изменить революционной сути книги. Мне не вернули рукопись. Другая копия находилась в университете. Мои черновики исчезли. Книга вообще не появилась... В ней шла речь о крайней нищете русского крестьянства и так далее и так далее...

— Вы изучали философию систематически?

— Никогда. Никогда я не посещал лекций. Меньше всего на свете я воображал себя философом. Кроме того, когда я начал этюдом о Шекспире, затем о Толстом, о Чехове, меня принимали за литературного критика, да и я сам отчасти так думал.

— Самоучка?

— Да. Как Мейерсон. Но должен сказать, что Мейерсон читает страшно много, он все прочел. Я же наоборот — я изучал. Приступив к автору, скажем, к Канту, к Ницше, я долго изучал все, что с ним связано.

О Бердяеве

— Мне было 30 лет, когда я познакомился с Бердяевым. Ему было тогда около 24. Мы вместе встречали Новый год — 1900-й. В эти годы, выпивши немного, я становился задирой. Мои друзья знали эту слабость и всегда находили способ меня подпоить. В этот вечер Бердяев сидел со мной рядом. Я дразнил его невероятно, вызывая взрывы общего хохота. Но когда мой хмель прошел, я сообразил, что Бердяев, вероятно, обижен. Я извинился перед ним и предложил выпить на „ты”. Кроме того, я просил его для доказательства, что он меня простил, зайти ко мне завтра. Он приехал. Так началась наша дружба. Никогда мы не были согласны. Мы всегда сражались, кричали, он всегда упрекал меня в шестовизации авторов, о которых я говорю. Он утверждал, что ни Достоевский, ни Толстой, ни Кьеркегор никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он приписывает мне слишком большую честь, и если я действительно изобрел то, что утверждаю, то я должен раздуться от тщеславия. С этого времени он стал в глазах моей жены образцом: поступай, как Бердяев. Бердяев не сделал бы этого. Бердяев говорит, что вот это ты можешь есть и пить, а этого не должен. Достаточно было бы мне уговориться с Бердяевым, чтобы он сказал, что кофе метафизично, и моя жена разрешила бы мне пить кофе.

Госпожа Шестова, присутствующая при разговоре,

добродушно смеется. Я обращаюсь к ней:

— По секрету — я предпочитаю философию Шестова Бердяевской.

— Я тоже, — говорит она. На этот раз смеется Шестов. Она же добавляет: — Каждый раз, когда Бердяев к нам приходит, начинаются невероятные споры. Оба становятся красными. И так — тридцать лет.

Шестов: Жаль, что он так сдавлен немецкой философией. Только потому, что я не изучал философии в университете, я сохранил свободу духа. Мне всегда ставят в упрек, что я цитирую тексты, которых никто не цитирует, и выкапываю заброшенные отрывки. Возможно, если бы я проходил курс философии, я цитировал бы только то, на что наука наложила свою печать. Вот почему все тексты я привожу в оригинале — латинском или греческом. Чтобы не сказали, что я их шестовизирую.

14.12.1935

О Мережковском и Дягилеве

За столом. В тоне юмора.

Шестов: Вы знаете, какой сегодня день! Вечером празднуется семидесятилетие Мережковского.

— Кстати, — говорю я, — мне сказали, что он когда-то написал книгу о Толстом, говорят, первоклассную...

— Это верно. О Толстом и Достоевском. Книга чисто ницшеанская, подражающая Ницше даже в ошибках до того, что он сохраняет в русском переводе итальянский шрифт, который Ницше употребил для латинских слов, дабы выделить их в немецком шрифте. В то время я также выпустил книгу „Добро в учении графа Л. Толстого и Ф. Ницше” (Философия и проповедь. СПб, 1900). Я безуспешно искал издателя для моей книги „Достоевский и Ницше” (Философия трагедии). И вот однажды я получаю письмо от Дягилева, который до своих оперных и балетных предприятий издавал в России журнал по искусству. Это письмо посетило разные города, следуя за мной по Европе, прежде чем попало ко мне. Кажется, в Швейцарии. Дягилев, прочитав моего „Толстого”, предлагал мне сотрудничать в журнале. В это время в моем портфеле уже находи-

лась рукопись „Философия трагедии”, которую я и послал ему. Дягилев пришел в восторг. Я запросил у него 50 рублей аванса, которые он тут же выслал. Конечно, в то время я был богаче, чем сейчас, но все же деньги эти мнегодились. Но он меня предупреждал, что вследствие печатания двух книг Мережковского, которые он также принял, моя появится не ранее января, а мы переписывались в мае. Он кроме того просил меня, если возможно, дать отзыв о первом томе Мережковского, уже появившегося. Я дал отзыв положительный, без указаний на недостатки. Надо сказать, что Мережковский читал моего „Толстого” как раз в то время, когда он заканчивал свою первую книгу. Он был поражен моим: „Нужно искать Бога” и, делая с а л ь т о м о р т а л е, пытался предоставить место Богу у себя. Это Бердяев, которому было тогда 27 лет, сказал мне: „Он у тебя заимствовал Бога”. Во второй книге Мережковского эта идея стала уже центральной. Он склонял слово „бог” во всех падежах и временах. Он говорил о Боге, как Ницше говорил об Антихристе, громким голосом, с криками, гневом и так далее. Но Ницше был уже полубезумным, когда писал Антихриста. Но и в безумном Ницше было еще что-то от Ницше. Но Мережковский не был Карузо. Это был только небольшой тенор.

— Приехав в Москву, я нанес визит Дягилеву. Он принял меня весьма любезно и тут же вручает мне вторую книгу Мережковского, напечатанную в его журнале. Я откровенно высказываю свое мнение. Он был озадачен, но все же просил дать отзыв, что я и сделал. Мережковский немедленно прилетел в редакцию журнала и устроил истерический скандал.

— Я позабыл сказать, что до того я встретил Мережковского на одном вечере. Он просил меня зайти к нему. Я пришел. Сегодня вечером, — сказал он, — приемный день у Розанова. Хотите пойти со мною? Я согласился. И вот мы у Розанова. Он меня представляет всем, но никто еще обо мне не слышал. Мережковский разгневался: как! вы не знаете лучшего из наших авторов, которые писали о Ницше, и так далее, и так далее... Это было после моего первого отзыва. Но после второго он обозлился надолго. Я высказал слишком много

правды. Но ведь он сверх всего взвинтил меня своим Богом и говорил, что Толстой заслуживает пощечины за то, что сказал... (Фондан не может указать, что именно)... Этот отзыв первоначально составлял часть моей книги „Апофеоз беспочвенности”. Я исключил его во французском издании. К чему? Ведь мы же оба писатели и оба в изгнании... Возможно, что мой отзыв мог бы ему здесь повредить...

— Мы с ним никогда не видались. Как-то встречаю его с супругой на улице. „Как поживаете”, и так далее. Затем он спрашивает: „А вы собираетесь вернуться в Россию?” — „Как? — отвечаю. — Розанов еще мог бы, он не занял твердой позиции. Но я, который ругал большевизм...” — „Нет, — говорит он, — я думаю не о Советах. Но если их режим упадет...” — „И вы на это еще надеетесь?” — спрашиваю я. „Но политика Лавалья ведь прогитлеровская. Гитлер вступит в Россию и свергнет большевиков!” — „Ну, — говорю я, — как бы мало я ни любил Сталина, Гитлера еще меньше. Такое разрешение вопроса удовольствия мне не доставило бы...” Мережковский пришел в ярость, и мы расстались.

Вот почему я не пошел сегодня вечером на его юбилей, хотя и получил приглашение. Я даже не поздравил письменно.

— Вам известны мои политические идеи. Я ничего не ожидаю ни от капитализма, ни от социализма. Но прежде всего я хорошо знаком с капитализмом и страдал от него. Так как социализм пока еще не может вредить, мы имеем право надеяться на него. Но, к несчастью, расстреливают и тут, и там. Свободы нет и тут, и там. Сталин такой же самодержец, как царь, и так далее...

По поводу биографии

В связи с тем, что сестра Ницше отказалась опубликовать „Дневник” ее брата.

Шестов: „Дневник” недостаточно благороден. Он не увеличит престижа Ницше. Вот и все... Все биографы поступают так же. Сообразно тому, что они понимают под храбростью, благородством и так далее, они фальсифицируют жизнь писателя, чтобы спасти его престиж.

Так же поступает писатель, когда говорит о себе... часто, если не всегда.

Шестов говорит смеясь: Когда мы поженились, все шло хорошо. Но с тех пор как она стала доктором, она третирует меня по-докторски. Я не обязан подчиняться жене. Но я вынужден повиноваться медицине. Вот где моя непредусмотрительность.

Без даты

Шестов и Гуссерль

Шестов встретил Гуссерля в Амстердаме, где чествовали последнего.

Гуссерль Шестову: Почему вы меня атакуете (Во „Власти ключей“)? Вы же отлично поняли, что когда мне приходится всходить на кафедру, я чувствую, что мои руки пусты, что я не вижу, чему я должен поучать, за что зацепиться, и мне приходится наново открывать философию по крошкам... О! Какой ценой мне было дано найти первые очевидности.

Шестов Гуссерлю: Никто не знает этого лучше меня. Но и я никогда бы не начал борьбу с очевидностями, если бы не был спровоцирован вашей манерой их ставить, даже вынужденно. Это ваши автономные очевидности, вне разума и вне человека, истинные даже тогда, если бы человек не существовал, и вызвали меня на борьбу... И вот если в ином мире мне будет предъявлено обвинение в том, что я вступил в борьбу с очевидностями, я непременно сделаю вас ответственным. Вы будете гореть вместо меня!

Шестов о Гуссерле

— Это единственный человек в мире, который, по моему представлению, не обязан понимать поднимаемых мною вопросов. И один из тех редких людей, которые их поняли; лучше тех, которые услышали эти вопросы.

21.12.1935

Шестов и Гуссерль во Фрейбурге. Гуссерль разговаривает стоя. Шестов, несмотря на усталость, тоже стоит. Потому что, говорил он, тут имеется разница в годах (Шестову было 63, Гуссерлю — 73) и в Учителе.

Хотя Гуссерль являлся в своей философии антиподом Шестова, последний признает за ним огромное достоинство — отважно додумать до конца требования разума, и через это, в силу реакции, утвердить ту основу непреклонного сопротивления этим требованиям, которое является центром мышления Шестова. Без очевидностей Гуссерля, охватывающих всех ангелов, чудищ, людей и богов, не было бы опоры для „борьбы против очевидностей”.

...Воспоминание о посещении Гуссерля во Фрейбурге Шестовым.

— Присутствовали американские философы, приехавшие почтить Гуссерля. „Вот господин Шестов, — сказал Гуссерль. — Это человек, который осмелился написать самую резкую критику против меня, и она явилась основанием нашей дружбы”.

Без даты

О Бергсоне

Как-то Шестов рассказал Фондану, что его отец был хорошим знатоком габраизма, но к религии относился индифферентно.

Шестов: Мой отец любил и умел рассказывать анекдоты. Он часто рассказывал про одного еврея, который в глазах окружающих казался знатоком религиозных вопросов. И вот этот еврей решил опубликовать книгу. Но необходимо было иметь утверждение ее раввином, к которому он и отнес свою рукопись. Ждет, проходит шесть месяцев, но ответа, несмотря на напоминания, нет. Обозленный еврей влетает к раввину. Тот признается, что рукопись прочел. „Но, — говорит, — простите за откровенность, все считают вас великим ученым. Если вы желаете, чтоб вас таковым больше не считали, печатайте свою книгу...”

— Совершенно так же двадцать лет ждали книгу Бергсона о морали и религии... Она появилась, и тут все заметили, что Бергсон ложный ученый, что ему нечего сказать. Банальна не только его мысль, но даже его эрудиция... Так, он боится признать *настоющимися* мистиками еврейских пророков, апостолов, людей некультурных и философски необразованных... Если он

и цитирует мистиков, то это уже мейстер Эккегард, христианские святые, философы и так далее, с которыми можно по крайней мере разговаривать. Как жаль, что невозможно уничтожить, если и не оба Завета, то хотя бы — Ветхий!.. Гитлер желал бы того же.

О Кьеркегоре

— В „Фаларийском быке” я хотел бы рассказать откровенно историю отношений Кьеркегора к Регине. Но большинство людей как раз любят такие истории, забавляются ими. Я ненавижу людей, которые находят в этом забаву! Я рассказал историю эту, прикрывши вуалью... А теперь боюсь, что ее не очень-то поймут.

Без даты

Шестов как мистик

Шестов: Пишут, что я мистик, чтобы избавиться от меня, и даже прибавляют великий, дабы все образовалось. Ведь после этого говорить не о чем... Я очень не люблю, когда меня именуют мистиком, да еще великим. Это означает: вы поймете тут то, что сможете; однако нет никакой необходимости что-либо тут понимать. Мистик — это все объясняет, ибо это ничего не значит... Под мистикой разумеется, что вопросы, поставленные в ней, находятся вне философии и не стоит затруднять себя их разрешением... Вы помните, конечно, Ренана, который сказал, что по сравнению с пророками мы пигмеи. Однако в глазах того же Ренана пророки были невеждами, простолюдинами, малейшая доля истины им была чужда. В то время, как он, Ренан, был ученым, настоящим ученым... Почему же тогда он, Ренан, не является также пигмеем по сравнению с невежественными, темными людьми. Что же особенного было в этих не знающих людях, что их выделяло, за что их так возносят, гораздо выше, чем самого Ренана? Чтобы несколько укрыться, Ренан, который не может приписать им открытия истины, резервированного только для ученых, убегает во всеуспокаивающее слово „мистики”! Оно все объясняет, ибо ничего не выражает. Ведь если истина дана нам, ученым, мистики же облада-

ют Бог вещь чем, то почему же мы, ученые, пигмеи по сравнению с ними?

Без даты

Толстой о Шестове

— Вы читали, конечно, в „Воспоминаниях” Горького, что думал Толстой о моей книге „Добро в учении гр. Толстого и Ницше”? По-моему, Толстой прочел только первые главы, относящиеся к нему. Ницше его не интересовал. Иначе он не мог бы сказать: „Шестов — еврей... как же еврей может отойти от Бога?” Ведь в конце книги я прямо пишу: „Нужно искать Бога”.

О Гете

— Гете был Спинозист, он остановился там, где остановился Спиноза, но Спиноза знал, что здесь надо остановиться, знал и то, что за этим пределом.

Курциус говорит, что Гете был протестантом. Вы воображаете себе: Гете и Лютер!

13.1.1936

О студентах

— Гляжу я на слушателей моих курсов. Они надеются, что я сделаю за них трудную работу, снабжу их легкими решениями. Но для меня самого эти решения с каждым годом становятся труднее... Как-то один русский философ пришел ко мне и спросил: „А теперь что делать?” А я ответил: „Теперь ваша очередь меня убедить в том, в чем я пытался убедить вас”.

О бессилии

— Кьеркегор страдал половым бессилием. Я же всегда страдал бессилием общим, всегда страдал, чувствуя себя связанным, неспособным пошевелиться.

— Я вспоминаю доктора Боркмана у Ибсена. Он покинул невесту. Позднее, когда он ей объясняет, почему он ее покинул, та ему говорит: „Вот где первородный грех”. Она хорошо поняла, что предпочесть идеи

жизни и значит совершить первородный грех.

О Фрейде

Моя сестра (госпожа Ловская) была ученицей, по психоанализу доктора Эйтингона, который в молодости колебался между Фрейдом и мною. Он писал мне в то время, собирался переводить моего „Толстого и Ницше” на немецкий язык. Не помню, почему это ему не удалось. Потом он сказал мне, что Фрейд, став врачом, был обязан мыслить, как мыслит. Теперь Эйтингон усвоил даже философию Фрейда. Он обязан считать мою философию только „обольщением”, как говорит Кант о Сведенборге.

О Канте

— Кант говаривал, что три вещи наиболее важны для человека: Бог, бессмертие души и свобода воли. Но как установить цену этих вещей? Пойдем к судье, к разуму, конечно. Но нуждаюсь ли я в судье между мною и тем, чего я хочу? Канту случалось говорить, что разум дает ему некоторого рода удовлетворение. Поставив вопрос: „Почему не существует теодиции?”, он считает, что люди, прожившие так же долго, как он, как я — 70 лет, не пожелали бы сызнова пережить свою жизнь. Он больше говорит об удовлетворении, он говорит о нежелании жить. Совсем как Шопенгауэр. Но Ницше хотел жить, хотел пережить ту же жизнь, хотел вечного возвращения. Если хотя бы один Ницше не соглашался с Кантом, как можно говорить — „все люди”. А Ницше тоже жил долго.

— Гейне был прав, говоря, что Кант более ужасный революционер, чем Робеспьер. Тот рубил головы только людям, Кант же обезглавил самого Бога.

Без даты

О Фрейде

Однажды вечером говорили о Фрейде, которому я ставил в упрек „научный оптимизм” в духе Геккля, Бюхнера, Дарвина... По этому поводу Шестов рассказал,

что он послал свою книгу „Власть ключей” Фрейду. Тот, перелистывая эту книгу, наткнулся на место, где Шестов довольно свободно отзывается о Дарвине. Фрейд отбросил недостойную книгу и больше не брал ее в руки. Однако он не без удовольствия прочел от начала до конца работу „Гефсиманская ночь”.

Христос и Гегель

Шестов: Если бы Христос пришел в наши дни, Он был бы для Гегеля только бедным евреем, которого, правда, неплохо читать и так далее.. Но как „историческому событию” которому 2000 лет, Гегель не может отказать ему в аудиенции. Все-таки Христос гений как-никак. На том же основании официальный Университет разрешает себе говорить о Бреме, о Кьеркегоре. Но если бы были только современниками...

18.1.1936

Не люблю писать

Шестов: Не люблю писать. И вот доказательство — ч и с т о с л у ч а й н о, в двадцать восемь лет я начал заниматься этим делом. Если бы для заработка я стал адвокатом, я никогда бы ничего не писал. Никогда это мне не приходило в голову. Писание для меня не работа, а страдание. Мне приходится переламывать себя, привязывать к столу, тороплюсь закончить и никогда не отделяю написанное. Мне неведома радость писания. Это потерянное время. Думается мне, что книги мои вызывают в читателе ту же скуку и тоску, которые я сам испытываю, когда пишу. Так как я не забочусь о стиле, он, вероятно, весьма среднего качества. И я был очень изумлен, когда в Берне один русский студент в первый раз мне сказал про „Толстого и Ницше”, что непозволительно писать о столь серьезном вопросе столь хорошим слогом. Я был озадачен... Даже чтение у меня машинально: я регистрирую, не углубляясь. И только позже приходит на память то, что я прочитал, и тогда начинаю раздумывать.

О разуме у Плотина

— Закончив писание книги о Кьеркегоре, я перечитал Канта, Шопенгауэра, даже всего Лейбница для моей статьи о Жильсоне. Наконец, Плотина. Все это замечательно. Плотин сохраняет великие греческие традиции, часто придавая Разуму и Знанию неизмеримо большее значение, чем всему остальному; подчеркнуто преувеличенное, сказал бы я. Но бывают у него моменты, когда он хочет расстаться с разумом, тогда он бросает вызов греческой мысли. Но этого никто не желает видеть. Аристотель, тот откровенно сказал, что в „Фаларийском быке” никто не может быть счастливым. Стоики, наоборот, поняли лучше, что если этика автономна, н а д о б ы т ь счастливым даже в „Фаларийском быке”. Аристотель говорил, что с необходимостью ничего не поделаешь, просто ей надо подчиниться, и философию следует основывать не на добродетели, а на каком-то ином основании. Но стоики видели, что только добродетель и долг соответствуют необходимости, нельзя отказаться от них даже в „Быке”. Это менее благородно, но более последовательно. Плотин же пытался перешагнуть Разум стоиков и Аристотеля. Ему создали репутацию счастливого человека. Это ложно. Его биографы, ученики ясно говорят, что он страдал, его мучила болезнь. В итоге, Плотин понял, что поскольку он связан с телом, он вынужден подчиняться Разуму, вынужден принимать участие в „Фаларийском быке”, но не потому, что блаженство — награда добродетели, а потому что ничего не поделаешь. Но потом... потом Разум не будет иметь никакой власти.

.....
.....
.....

Без даты

„Два источника” Бергсона

... Однако Бергсон преклоняется перед богами, сфабрикованными сериями, соглашается заменить ими все... ничто его не останавливает, он даже свидетельствует свое большое почтение Библии. Но в итоге, для чего сохранять богов, свидетельствовать им почтение, если в наших „свободных” глазах они оказываются безобраз-

ными и никуда не годными. Кто держит его в курсе намерений Провидения? Утверждает ли он то, что сам видел? Но факты? Я не знаю, а Бергсон еще менее знает, что такое Факт. Дабы иметь факт, надо решить проблемы возможного и невозможного, принципа противоречия и так далее... Вот уже два года я читаю только Кьеркегора, Лютера, Платона и так далее. Читая Бергсона после этих гигантов, я снова нахожусь на земле. Зачем же Бергсон написал это?

Без даты

Горький

После съезда писателей СССР. О Горьком после его последних деклараций о Достоевском.

— Теперь-то он осмеливается. Он счастлив отомстить Достоевскому за сорок лет непонимания его. Тридцать лет он думал то же самое, но не смел говорить. Тогда он был труслив, принижен сознанием своего невежества. Однажды кто-то из моих друзей просил переслать Горькому рукопись одного писателя, бедного. Я послал. Горький ответил и просил моих книг. Я исполнил просьбу. Горький снова написал, в тоне униженном и уклончивом, свидетельствующем, что он боится обнаружить свое невежество. Я потерял это письмо, как и многое другое во время войны. Это писатель с определенным талантом, бесспорно, но и только. Можно ли сравнивать его с Чеховым! Он не понял Достоевского, не понял Ницше. Он думал, что вся суть в физической силе, давать затрещины и так далее... На этой базе он создал героев одного из своих романов.

Эйнштейн

В Берлине, куда Шестов приехал, чтобы сделать доклад в „Обществе имени Ницше”, вечером он оказался за столом соседом с Эйнштейном. Он знал его только по имени, мало что понимая в математической физике. Эйнштейн же имя Шестова услышал впервые на этом вечере: большой русский философ, друг Гуссерля и так далее... Сидя рядом, Эйнштейн просил Шестова, если возможно, объяснить в нескольких словах фило-

софию Гуссерля.

— Но, — ответил Шестов, — для этого потребуется час или полтора.

— Я располагаю временем, — сказал Эйнштейн. — С чего же начать?

— Скажем, вы сегодня встретились с Ньютоном на этом или на том свете, — начал Шестов. — О чем бы вы с ним заговорили? Об очевидности, о проверке, об истине или, скорее, о массе света, о кривизне земли и так далее...

— Конечно, о последнем, — согласился Эйнштейн.

— Так, — продолжал Шестов, — а философ спросил бы Ньютона, что такое истина, бессмертна ли душа, есть ли Бог... Но вы, вы считаете, что все это вещи известные...

— Без сомнения.

— Так вот, — повторил Шестов, — эти вещи, вам столь хорошо известные, философу известны гораздо менее. Он ставит все разрешенные вопросы так, будто они не были разрешены.

Он попытался далее говорить с Эйнштейном об очевидности Гуссерля, коснулся своей борьбы с очевидностями... Но Эйнштейн уже не следил за его мыслью. Они встретились еще раз, и Эйнштейн просил Шестова продолжить объяснения. Но он уже ничего не помнил из того, что ему было сказано в первый раз.

1.2.1930

Подготовка к 70-летию

Шестов пришел домой обедать после своих лекций. Теперь он в курсе приготовлений, которые делаются в связи с его семидесятилетием. Как я и предвидел, он радостно принял намерение издать его книгу о Кьеркегоре, но отверг банкет, предложенный „Русской молодежью“.

— К чему банкет? — говорит он. — Все хотят говорить. Будут сравнивать меня с Платоном, с Аристотелем, и все будут довольны. Несомненно проявят много теплоты и будут думать, что поняли меня. Леви-Брюль, Жан Польхан и Жюль Голтье охотно согласились войти в комитет по изданию книги... конечно, за счет подпис-

чиков, если таковые найдутся.

Переубедить его, кажется, нельзя.

Макс Шеллер

—...Очаровательный человек, — говорит Шестов. — Когда я познакомился с ним, я читал его „Вечное в людях“. Католик из школы Гуссерля!.. Я находил это странным и сказал ему. „Это уже прошло“, — ответил Шеллер. Он уже не был католиком. Католиком, как мне потом рассказывали, он стал в момент женитьбы, а потом перестал — дабы получить возможность развестись. Возможно, что это была лишь злая острота, но факт, что женщины играли большую роль в его жизни. Он любил о них говорить. Затем я видел его во Франкфурте. Он был в компании нескольких профессоров и решил угостить нас хорошим обедом. Долго выбирал ресторан и, наконец, повел нас в кабачок, который назывался „Фальстаф“. Меню было потрясающее и обед был слишком обильным для меня. Я ограничился двумя блюдами, но остальные ели все. Шеллер также, хотя по болезни ему был предписан строгий режим. Он забыл роль философа и ел, как поэт. Через два месяца он умер.

5.2.1938

Плотин

Шестов показывает мне статью о мистическом опыте, появившуюся в одном католическом журнале.

— Удивительно, — говорит он, — автор говорит о феноменологии и опирается на Гуссерля. Мне сдается даже, что цитаты из Плотина он заимствовал из моего второго этюда о Гуссерле, хотя он меня и не указывает, но ведь я же не академик... А так как я противопоставляю Плотина Гуссерлю, то кажется мне, отсюда ему и пришла идея доказать, что между Плотиним и Гуссерлем нет настоящего противоречия. Конечно, у него имеется достаточно текстов для обоснования тезы традицией платонизма, она же Аристотеля. Под этой этикеткой Плотин проводил все, что ему хотелось высказать, а это не всегда было столь ортодоксально, как

утверждают. Он боялся сойти за мисолога — ненавистника разума. И вот время от времени он пользуется неоспоримыми аргументами: должно и необходимо. Смотрите, с какой нежностью наш автор, который прекрасно знает свое дело и тексты, пишет, что философия не может познавать опыт, **п е р е ж и т ы й** мистиком, но она может **о п и с а т ь** его, изобразить, и это изображение ценно, но при условии, что Плотин и Жан-Крест Jean de la Croix бесспорно искренни. Без сомнения они искренни. Но если он понимает, а он именно так и понимает, под искренностью идентичность внутреннего опыта с его внешним изъяснением, с признанием, с откровенностью! Как же можно быть искренним в этой форме? Откровенное признание для Плотина было невозможно — его объявили бы мисологом. А считаться мисологом в его время было опаснее, чем в наши дни. Он пытался ставить свои вопросы так, как если бы они были ортодоксальными, так, как если бы их поставил сам Аристотель. Не сказал ли он, что философия есть то, что в мире является „самым главным”. Не говорил ли он о „последней борьбе”. Он говорил также, что перед Единым все должно умолкнуть, что следует возвыситься над Знанием. Да, он объяснял мир эманацией Единого, он писал, что **ЕДИНЫЙ**, будучи переполнен собственной мощью, вынужден был породить мир, который является только нисходящим движением... Но как он мог знать, что **ЕДИНЫЙ** переполнен? что **ОН** должен был породить? Нет ли тут идеи, рожденной эмпирическими фактами?.. Как видите, „искренность” Плотина выходит за пределы его текстов! Совсем как Сократ: его ученики пошли посоветоваться с Дельфийским оракулом. Что же сказал оракул? Читайте „Энеиду”. Он говорил о любви, а не о необходимости. И однако никто не считался с проникновенными словами оракула.

— Я знаю, что биографы Плотина, включая Порфирия, говорят, что он стыдился своего тела. Но знаете ли вы, что к концу жизни Плотин был болен, тело его было покрыто язвами, и так как он имел обыкновение целовать своих друзей, а вонь его язв и запах больного желудка им претили, они отдалились от него, оставив Плотина в одиночестве, так что он отошел от мира,

уединившись в деревне. Не чувство стыда перед телом он испытывал, а бессилие! Он был бессильным, как Кьеркегор в половой области, как я в... Не мочь ничего, когда ты подвергаешься задушению, оплеванию со стороны необходимости! Ну, конечно, „возвышаются” над необходимостью, „господствуют” над нею, объявляя, что стыдишься своего тела, стыдишься своего пола, и таким образом доходят до величия, до высшего... Я также в моей первой книге „Шекспир и его критик Брандес” дошел до высот... Те же проблемы, что и сегодня, встали передо мной, но я разрешал их философическим способом, объяснял короля Лира через личность Брута, говоря об Иове, стоял на стороне его друзей. Позже я бросил „высоты”. И вот после опубликования моих „Идеи добра” и „Философии трагедии”, а также „Апофеоза беспочвенности” (1905 г.) один русский профессор с удивлением сказал: „Было бы понятно, если бы вы, начав с этих книг, закончили возвышенным в вашем „Шекспире”. Но так как я свершил путь в обратном направлении, это было для него непонятно. Правда, мне многое прощалось за мою честность или искренность: я всегда говорил, что стена остается, разбивается только бьющая в нее голова... Но ведь ничего не потеряно, если разбита только голова. Важно, что стена осталась...

— Толкуют об описании. Но что такое описание? Каждый там видит то, что его трогает. Например, для меня самое главное в этой комнате портрет Толстого. Но он самый маленький из других портретов. Наоборот, в этой комнате имеется (он смотрит вокруг и считает) один, два, три, четыре стула. О них можно было бы говорить, спорить, определять мой вкус. Но мне-то на что они, тогда как портрет Толстого и вот этот Чехова — для меня самое важное, хотя они так малы, так незначительны.

Понимание Шестова

Шестов: Когда появилась моя „Идея добра”, одна студентка спросила меня, сможет ли она читать эту книгу. трудная ли она? Я ответил, не знаю, попробуйте. Она попробовала. Встречаю ее потом, а она говорит:

— Но ваша книга очень легкая. Я задаю себе вопрос, разрешается ли философу писать о таких простых вещах?

В тот же день я встретил русского философа, он говорит:

— Очень хороша ваша книга! Один упрек могу сделать, почему вы не облегчаете работу читателя? Ваша книга слишком сжата, слишком кратка, в ней теряешься.

Правда, другой читатель однажды сказал:

— Странно, ваша книга читается легко, все понимаешь. Но когда кончишь, оказывается, ничего не понял.

Без даты

Хлеб насущный

Шестов: Чтобы понять Кьеркегора, расскажу вам про одну фразу Дессена. В своей „Истории философии” он пишет, что в „Отче наш” семь прошений, из которых только одно материального характера, низменного: „Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Остальные прошения пребывают в области чистых идей, вот где возвышенность. Но Кьеркегор был недоволен, что всюду, вплоть до мистиков, преобладают возвышенные прошения. Ибо философия всегда мыслила, что дела земные не зависят от Бога, никакой власти Он не имеет над ними. Хочешь получить хлеб насущный — работай, кради и так далее... Во всяком случае, не молитвой ты его обретишь. По нашим молитвам Бог может нам дать вечность, бесконечность, блаженство, любовь и так далее. Но не хлеб. Хлеба Он нам дать не может.

Без даты

Шестов: Я был революционером в восемь лет, к великому огорчению моего отца. Быть таковым я не перестал и позже, когда „научный” социализм, марксистский, объявился у нас.

О Сократе

— Для определения критерия Добра и Зла Сократ ссылался на поварское искусство, которое может или

отравить тебя или способствовать твоему здоровью. Не такова ли роль философа? Но тот же Сократ говорил, что философия есть приготовление к смерти, что надо презирать плоть и так далее... Значит, его сравнение с поваром ложно. Ведь как раз когда повар работает, возбуждая наш аппетит для нашего здоровья, он х о ч е т в а м з л а. Чего же стоит критерий, добытый таким способом?

21.3.1936

О молодости

Я сказал Шестову, что не могу понять, как можно в 70 лет быть таким молодым...

— Я молод в некотором смысле, да. Но совсем в ином, чем вы думаете. Вот уже сорок лет я так же бессилён перед вещами, те же вихри, что сегодня. Ничего не изменилось. Поседели волосы. Но седина, какое она имеет значение, не правда ли?

Отвержение Бога

Я читаю Шестову в черновике мою статью „Шестов в поисках потерянного иудаизма”. В ней привожу цитату из Ницше, ссылаясь на недавно появившееся издание Ницше: „Отвержение Бога: в итоге, отвергается только м о р а л ь н ы й бог”.

— Где вы там отыскиали этот текст? Он мне неизвестен, — говорит Шестов.

Я указываю.

— Вот видите! И всегда будут говорить, что я заставляю Ницше выражаться моими словами. Ведь в этом тексте вся моя книга о Толстом и Ницше!

Без даты

Философ ли Шестов?

Шестов написал мне, чтобы я заглянул к нему до его отъезда в Палестину. Его поездка туда все-таки состоится, наконец! Я видел его неделю назад, когда его чествовала Русская академия: речи Милюкова, Лазарева, Леви-Брюля. Шестов, который сперва отка-

звался присутствовать на этом „празднике”, в конце концов сдался ввиду присутствия Леви-Брюля. Он боялся его обидеть. Эта любезность со стороны Леви-Брюля была столь же неожиданной и необъяснимой, как и то, что он печатал в своем журнале длинные этюды Шестова. В своей речи он поставил вопрос: Шестов, философ он или нет, и ответил утвердительно. Он с достоинством „вручил” Шестову даже „диплом” историка философии. Шестов историк. Но своеобразный, конечно, сказал он, который так трактует свои модели, что их больше не узнаешь. Речь Леви-Брюля была добросовестной, но одновременно проникнута желанием доставить удовольствие Шестову, как он потом и признался мне.

Чтобы поставить вопрос, философ или не философ Шестов, Леви-Брюль сослался на его разговоры с Мейерсоном.

Шестов мне говорит:

— Мейерсон мне тоже это сказал, но в двусмысленном духе, когда говорилось об отказе философов читать меня: „Может быть, они не знают, что вы философ и принимают ваши книги за литературу?” Мейерсон человек удивительный и читал удивительно много. Но для использования в философии из того, что он читал, он удержал только научные вещи. Все другое для него было недостаточно строгим. Ценят ли его еще?

Я ответил, что его критика науки еще в силе.

— Но не в ней он сам находил свою ценность, а в его „конструкции”. Он был убежден, что его философия самая лучшая и оригинальная. Спиноза, считал он, не был ученым, ибо не считался с астрономией и так далее... Он доказывал, что наука не может достичь истины, и тем не менее он только разуму предоставлял это право... И вот я ему сказал однажды, что у него разум с ума спятил. Он так был обозлен, что я испугался...

„Апофеоз беспочвенности” и Айхенвальд

Я говорю Шестову, что читал о нем большую статью Ремизова в „Гиппократе”.

— Эта статья старая, — говорит Шестов. — Она появилась лет тридцать назад, когда напечатан был „Апо-

феоз беспочвенности”. Кажется, тогда это был единственный положительный отзыв.

— Почему?

— Книга произвела скандал. Я осмелился писать афоризмами. Тогда это не было принято. Кроме того, я презрел заключение. Я говорил, что отлагаю заключение на потом... Наконец, это не было серьезно, признавая, что до тех пор я был серьезен. Но Айхенвальд, прекрасный профессор, который мне благоволил, обиделся. Он был крещеный еврей и уже известный критик, хотя жизнь для еврея, даже крещеного, не была сладка. Но он имел слушателей, преобладали женщины... Что-то в нем было, что „легонько ласкало” слушателей. Ну хорошо, прочтя мою книгу, в которой я написал про Сократа и Ксантиппу: „позанявшись философией, все равно чувствуешь себя облитым помоями”, — Айхенвальд написал 10 строк в большой московской газете,* объявляя, что я расточаю свой талант на несерьезные вещи, ну, совершенно несерьезные. Все были довольны.

Ремизов

— Часто это первоклассный писатель. Но так же часто он публикует рассказы, действительно, слабые... Верно, что слабые рассказы у него охотнее берут и платят за них, в то время, как, например, „Смерть Авраама”, которую он написал, я думаю, по болгарской рукописи IV века, он не может пристроить.

Без даты. Иерусалим, 1936

— Вот я и в Иерусалиме. Уже говорил здесь на немецком языке. Теперь буду говорить по-русски. Палестина, должен вам признаться, а я уже много видел, превыше всех слов. Сегодня я был в Гефисманском саду... Расскажу вам все, когда буду в Париже. Целую и так далее...

Тель-Авив. 10.5.1936

...Рассказывать о моих „впечатлениях от Палестин” весьма трудно, тем более, что я мало видел. Вы, конеч-

но, читали о „боях” между арабами и евреями. В последние недели жизнь здесь весьма тягостна. Толкуют только о беспорядках, и я был прикован к Тель-Авиву, ибо путешествие по стране опасно. Пока мне посчастливилось повидать Иерусалим и несколько деревень поблизости, до Красного моря, ибо первый мой доклад состоялся в Иерусалиме. Но вот уже три недели, как я не двигаюсь. Когда я приехал в Хайфу, вспыхнули беспорядки. Хотя мои доклады не были отложены, но все интересовались больше беспорядками, чем моими докладами. Теперь уже гораздо спокойнее, и два моих выступления в Тель-Авиве привлекли довольно много народу. Через три дня мы уезжаем. Может быть, я из Парижа напишу вам о впечатлениях, но не уверен. Я вообще не люблю писать, а писать письма ненавижу. Что поделаешь?!

12.11.1936

Индусская метафизика

Мы говорим об индусской метафизике, которой начал заниматься Шестов, возвратясь из Палестины.

— Видите, моя библиотека увеличивается. Я читаю теперь книги об индусах и их творения. Совершенно изумительно! Все сильнее у меня создается впечатление, что здесь сила спекулятивного мышления гораздо выше, чем в греческой философии. Конечно, у меня не хватает времени использовать это изучение, но оно меня весьма интересуется...

Кьеркегор

В связи с обменом письмами между Шестовым и Жаном Валем по поводу книги Шестова „Кьеркегор и экзистенциальная философия”, Шестов говорит:

— ...он избегает говорить о бессилии Кьеркегора. А я говорил, я даже указал на визит Кьеркегора к врачу... Вот где трудность вопроса. Если бы Кьеркегор встретил интеллигентного врача, который сказал бы ему: „У вас все в порядке”, ибо р е а л ь н о Кьеркегор не был бессильным, все, все бы изменилось, конечно. Он женился бы, узнал бы, что Регина, как все женщи-

ны, перестал бы любить ее этой великой любовью и так далее... и никогда бы не раздумывал о вещах, о которых нам сказал. Вы помните, что сказал Шопенгауэр об Иване да Марье. Кьеркегор, может быть, видел, представлял себя женатым, что Регина, может быть, была глупа, и прежде всего жена кого бы то ни было. Она была обаятельна, но вы никогда не поймете, почему ее так любил Кьеркегор, и во всяком случае, вы бы никогда не согласились, что для такой женщины можно все перевернуть. Но кто поведает нам, от каких богов получил Кьеркегор свой разум? Кто нам скажет, что Иван глуп, находит Марью красивой, любя ее, а перестав — находит ее же глупой и дурнушкой?

Ноябрь 1936

Цари и Сталин

Шестов: Я видел ужасы при царях, но видел и людей непреклонных, отважных, не боявшихся смерти. Страшно не то, что Сталин убивает людей, страшно, что он убивает в них все, вплоть до отваги. Князь Мирский (Святополк), например. Это человек храбрый, он не страшится смерти. Он в тюрьме. Но хуже тюрьмы обращать людей в трусов.

Блюм

— Он избран. Он должен командовать, а он просит, умоляет. Совершенно в тоне Керенского.

Хлеб и свобода

— В 1919 году еще можно было говорить в России. Были еще две свободные газеты. Одна из них устроила анкету среди писателей о режиме. Я ответил — в нашей бывшей революционной партии мы требовали свободы и хлеба. Но вот что надо знать ныне: там, где нет свободы, нет больше хлеба.

Нет читателей

Говоря об одном несчастном молодом крестьяни-

не, который пришел повидаться с ним, Шестов сказал мне:

— Мой читатель... ведь я могу перечесть их по пальцам.

5.1.1937

Слушатели и читатели

Шестов говорит о своих лекциях в Славянском институте о Кьеркегоре.

— Как хотите, но не могу же им говорить об отвержении этики. Они бы поймали меня на этом и отправились в кафе-шантан.

Бердяев и Маритен — профессора. Они обязаны обучать, то есть обязаны отвечать на молчаливый вопрос своих учеников: что делать? Можно ли быть свободным в таком случае?

Помнится, давно уже один читатель начал свои письма ко мне с того, что объявил меня героем мысли и так далее... Затем написал: „Что делать?“ А как раз тот же вопрос я собирался поставить ему.

Мне случалось, говоря, чувствовать, что аудитория враждебна, чужда. Тогда я незаметно менял тему. Конечно, мы, как и музыканты, можем вводить некоторые промежуточные аккорды. И вот я уже больше не говорю о Кьеркегоре, говорю о Соловьеве. Зал тут же облегченно вздыхает. На следующей лекции число слушателей двойное. Бывало до восьмидесяти человек в зале.

21.1.1937

Экзистенциальная философия

Шестов: О многом надо сказать... и так как меня больше не читают, а вас читают, вы должны об этом сказать. Слишком поспешно избавляются от Кьеркегора. Он опасен и стараются его обезвредить. Потому-то и надо настаивать на том, что является экзистенциальной философией. Нельзя уступать им философии, с презрением надо настаивать на том, что экзистенциальная философия есть ф и л о с о ф и я. Их философия игнорирует, что философия имеет два измерения. Вера — второе измерение философии, а не мистика. Я вам рас-

сказывал, что Жане в одном из своих курсов именовал меня не просто мистиком, но большим мистиком. Это должно означать — он говорит глупости, но он мистик! Он имеет право на глупости. Мы же, интеллигентные люди, должны опасаться глупостей.

Это напоминает мне рассказ мадам Гиппиус, супруги Мережковского. В свое время Зинаида Гиппиус была весьма хороша собой. За ней ухаживал молодой человек, которого она держала на дистанции. Тогда тот ей написал однажды, если вы не разрешите мне повидаться с вами, я... и буду читать Шестова. Вот высшая глупость, на которую он был способен.

Индусская философия

— Подумать только! Эти люди были такими же невеждами, как библейские пророки. Они ничего не знали ни по химии, ни по физике и так далее... но в чистом мышлении они достигли мощи, тонкости изумительной. Элегантность, точность их напоминает святого Фому Аквината. Это почти система мышления.

17.2.1937

Достоевский

— Думаю о „Братьях Карамазовых"... Странно! Достоевский, так хорошо нарисовавший Ипполита, Инквизитора и других, когда подходит к старцу Зосиме, утрачивает свой дар изобразительности. Ему нечего сказать. Он извещает, что эта книга только первый том, где он пока описывает плохо, но во втором он все поставит на место. Во время создания „Карамазовых" он уже был знаком с Соловьевым, часто бывал у наследника, будущего Александра III, у прокурора Святейшего Синода... Последний, прочитав „Карамазовых", сказал, что невозможно вылечить, как собираются, вторым томом болезнь, которую открыл Достоевский первым томом. Он верно узрел.

Булгаков

— Он с Плехановым, Бердяевым, Бухариным

был одним из первых социалистов-марксистов в России. Они были в оппозиции к социал-революционерам, которые не были марксистами, если и не с точки зрения экономической, то метафизической, этической и так далее... Позже Булгаков открыл Канта и пытался примирить его с Марксом, как пытались согласовать Маркса и Ницше. В итоге он, как и Бердяев, стали православными христианами. Булгаков очень известен даже здесь, но главным образом в Англии. Недавно он сделал доклад о евангельских чудесах и объяснил их самым натуральным образом... Что поделаете? Ведь всем известно, что дабы получить свой хлеб, надо работать, просить подаяние, воровать, но недостаточно молиться „Отче наш”...

26.7.1937

Апостол Павел

Я рассказываю Шестову о румынской книге Зиссу „Логос, Израиль, Церковь”. Резюмирую: Павел фальсифицировал тексты, дабы заместить священство левитов священством духовным. Иисус, будучи из племени Иуды, не мог, согласно Закону, ставить священников. Отсюда новый чин Мелхасидека. Упразднение Закона не согласуется с Ветхим Заветом и так далее...

— Я думаю, — говорит Шестов, — что Гитлер обладает большой интуицией, он ненавидит, презирает святого Павла, как настоящего представителя иудейской мысли. Да, я думаю, что апостол прав, говоря, что Закон пришел, чтобы был грех. Несомненно желали бы, чтобы Библия начиналась только Второзаконием. Уже во времена Моисея забыли историю о первородном грехе. Нельзя забывать, что Моисей принес не только веру, но и гражданский и уголовный законы. Кроме того, всегда толковали Ветхий Завет, толковали не только позже, но и когда он выработался. Каждый переписчик его „толковал”. Внесена масса интерполяций.

— Думаете ли вы, — говорю я, — что Павел предал дух Библии, передав язычникам преимущества избранного народа. Не сказал ли Бог: „Я возлюбил Иакова, Я ненавижу Исава”?

— Несомненно! И однако... Вначале не было ни

иудеев, ни неиудеев... Бог хотел также наказать Содом, и вспомните вмешательство Авраама. А также: „Я открылся тем, кто меня не искал”. Несомненно, предпочитают Закон. Нуждаются в опоре на некоторую систему мира. А Бога волевого, свободно волящего, никто не желает.

Христос и атеизм

Шестов: Я получил несколько писем от одного молодого бельгийца по фамилии Жильбер. Он пишет, что в связи с моим „Фаларийским быком” ему пришла идея, что именно библейский Самсон является личностью, лучше всего выразившей дух Библии. Я ответил, что по странному совпадению, один американский писатель de Casseras напечатал обо мне статью под заглавием „Самсон в Храме Судьбы”. Тогда Жильбер изложил мне свою философию. Потому что он атеист, пишет Жильбер, он пришел к вере во Христа. По существу, это так. В Христа верят, как в Сократа, в Сократа в сто, в тысячу раз более великого. Но не в том дело. Верят в Христа, дабы отгородиться от веры в Бога. Они знают, что Христос умер за наши грехи, но из этого извлекают лишь одно: Он умер во имя этики. Но забывают, что Он умер за наши грехи. А в этом-то и заключается самое важное. Ибо тогда Христос, а не Давид, прелюбодействовал, Он, а не Петр, отрекся, Он, а не Адам, вкусил запретный плод. И все это для того, чтобы мы не имели греха, чтобы греха не существовало вообще. Послушайте, это вроде Бердяева, который говорил в своих книгах только о Богочеловеке, а теперь, я чувствую, он говорит только о Человекобоге. Этот Жильбер имеет что-то в голове. Хорошо если он не пошлет мне своей рукописи. Я так устал, мои глаза отказываются работать.

Когда через год Жильбер прислал свою напечатанную брошюру, Шестов был разочарован.

Изолированность

— С каждой книгой, — говорит Шестов, — я чувствую себя все более изолированным. Возможно, что меня

еще напечатают там или здесь. Но я чувствую, что я изолирован.

Стена разума

— Я борюсь, а она все стоит, стена разума: *muro locutus, causa finita*. Признать поражение было бы выходом. Все были бы удовлетворены. Но не понимают, что можно снова начать борение в той же точке. И так изо дня в день! Борьба не ведает лет. Я также верил, что со временем... Но чем больше утекает время, тем больше надо бороться, тем тяжелее борьба...

Усталость

— Многое надо бы сделать, но я устал. Я должен написать статью о Бердяеве. В русской печати о нем не появилось ничего серьезного. Я должен приготовить для радио несколько сообщений о Кьеркегоре... Не знаю, смогу ли я все это выполнить.

Бергсон-католик

Мы говорим об обращении Бергсона в католичество. Два профессора раввинистической школы, в их числе Левинас, уверили Шестова, что Бергсон обратился. Я изумляюсь, что об этом ничего не сообщалось в печати.

— Вероятно, он просил их не сообщать до его смерти. Он стар, он ждет смерти.

Я чувствую, что Шестов думает о своей смерти и напоминаю, что Леви-Брюль и Гуссерль старше.

— Что с того, они здоровяки. Но в мои годы... Меня будут фальсифицировать и после смерти. Меня заставят говорить то, чего я не говорил.

Я настаиваю на ясности, на отсутствии противоречий в его доктрине.

— И однако посмотрите, что они сделали с Кьеркегором?

Стена

Шестов: С каждым годом мне все труднее верить, что можно опрокинуть стену, разбить невозможное. Не в моих привычках находить в борьбе добродетель и смирение, борьба является для меня все более тяжелой, болезненной, исполненной страдания. Но пока во мне остается хотя бы волосок надежды, я отказываюсь именовать необходимость „святой”, как ее называл Шеллинг... и даже если бы не осталось никакой надежды...

Бердяев — Кьеркегор

— Бердяев называет себя философом-экзистенциалистом. Но он всегда возвращается к вопросу, получил ли Кьеркегор Регину Ольсен? Иов получил ли обратно своих сыновей и дочерей? Существовал ли христианин, двигавший горами? Ты знаешь так же хорошо, как я, что ничего подобного не было.

Я же ему отвечаю:

— А ты думаешь, что Кьеркегор этого не знал? И, однако, именно с этого начинается он свою философию. Он предпринимает борьбу именно против того, что он знал слишком хорошо. Потому-то он и называет себя экзистенциальным философом. Но ты-то, который не можешь следовать за ним т у д а и потому только покидаешь его, почему ты называешь себя экзистенциальным мыслителем?

Грех

— Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что объяснение всех этих загадок одно — грех.

14.12.1937

Библия

— ...для меня Библия не авторитет. Я читал Библию, как читал Платона. И я установил, что она отвечает не только на вопросы, остающиеся без ответа в философии, но и на те, которые философия препятствует ставить.

5.1.1938

Шекспир

— Моим первым учителем был Шекспир. Когда я прочитал стих „Время сорвалось с петель”, я начал что-то понимать.

Декарт и Лейбниц

Спор между Декартом и Лейбницем относительно истин сотворенных и несотворенных такой важности, что он вполне достоин забвения, в которое погрузила его история философии.

21.1.1938

Ницше

— Мне было двадцать восемь лет, когда я читал Ницше. Сначала „По ту сторону Добра и Зла”. Но я не очень-то ее понял, вероятно из-за афористической формы... Требовалось время, чтобы я ее ухватил. Затем была „Генеалогия морали”. Я начал читать в восемь часов вечера и кончил только в два часа ночи. Книга меня взволновала, возмутила все во мне. Я искал аргументов, чтобы противостоять этой мысли, ужасной, безжалостной... Конечно, природа жестока, безразлична. Несомненно, она убивает хладнокровно, неумолимо. Но мысль-то не Природа. Нет никаких оснований, чтобы она намеревалась бы также убивать слабых, подталкивать их, чтобы помочь Природе в ее страшном деле. Я был вне себя... В этот момент я совершенно не знал Ницше. Я ничего не знал о его жизни. Затем однажды, кажется, в Брокгаузе, я прочитал заметку о его биографии. Он тоже был из тех, с кем Природа расправилась жестоко, неумолимо: она нашла его слабым и толкнула его. В этот день я понял.

15.2.1938

Свидетель Веры

Шестов показывает мне отрывок из книги Маритена „Евреи”:

— Вера, вызывающая возмущение против всего порядка вещей, чтобы осязательно вручить мне сегодня же мною чаемое и исполнение желаний, заложенных в меня Богом, вот вера иудаизма. Он горит, обладая ею, и в то же время сомневается, обладает ли он действительно, ибо в таком случае он обладал бы всем. Шестов — несравненный свидетель такого глубоко европейского понятия веры.

— Разумеется, — говорит Шестов, — несравненный свидетель... Но ясно, что Маритен никогда ничего моего не читал. Иначе он понял бы, что построения, истины, уверенности, до которых разум так жаден, суть о с я з а т е л ь н ы е вещи. Именно тут, а не у Иова надлежит искать непреодолимое страстное желание (*concupiscentia irresistibilis*).

26.2.1938

Индусская мысль

— Я погружен в нее все время. Замечательно! Европейцы толкуют ее так же, как Библию: откладывают в сторону все, что нас стесняет, и сохраняют остальное. Однако если в э к з о т е р и ч е с к о й части их мысль соответствует греческой, то в эзотерической — не так. Они прозревали трудности, у них огромное напряжение, громадная воля к свободе. В Риг-Веда и в Упанишадах чувствуется иная мысль, о которой никто не говорит, даже ваш Гюенон, хотя он упорно настаивает, что европейцы не могут ничего понять. Даже в Санкхара... Да, они не всегда останавливаются перед невозможностью. Они стремятся идти дальше. Увы, мне не верится, что я смогу написать об этом. Не хватает физических сил. Но это меня сильно интересует. Я погружен в это. Но я устал, устал, так много надо прочесть.

Удовольствие читать Канта

Указывая на одного автора, Шестов говорит:

— Он все время пишет обо мне: великий, восхитительный, но... Я полагаю, что прежде всего ему не хватает философической подготовки, он не читал Лейбни-

ца, Аристотеля..

Я протестую, приводя в пример самого себя. Не написал ли я несколько статей раньше нашего знакомства, когда я был в Румынии и мне было шестнадцать лет. Мой философический багаж был почти нуль. И однако я ухватил суть. Я возмущался его борьбой с очевидностями, но я все же понял, что эта борьба составляет центр его мысли. Вы разъяснили мне историю философии, то сокровенное напряжение, бессилие против смертельной скуки, которые она до того вызывала во мне.

Шестов и не думает оспаривать этой скуки. Он рассказывает анекдот об одном русском профессоре, который говаривал, что испытывает у д о в о л ь с т в и е при чтении Канта.

— Я всегда сомневался, — говорит Шестов, — что он его читал. Да, можно и н т е р е с о в а т ь с я Кантом, можно у него кое-чему н а у ч и т ь с я, все можно, кроме того, чтобы находить удовольствие.

26.3.1938

Гитлер

Шестов, усталый, похудевший, говорит слабым голосом. Его очень расстроили политические события последних дней: вступление Гитлера в Австрию, процессы в Москве, преследования евреев.

— Гитлер вошел в Австрию. Я вынужден признать, что это д о л ж н о было произойти, что это ф а к т. Но меня не у б е д и л и.

Сталин

— Есть значительная разница между Сталиным и царизмом в пользу последнего. Разумеется, и тогда существовала цензура, и тогда некоторые вещи запрещались. Но никогда им не приходило в голову заставлять нас писать о том-то и думать так-то. Были по крайней мере свободны не говорить о том, что хотелось бы высказать.

Поставить вопрос

Моя книга в Австрии готова — переведена, оттиски корреktированы, полностью оплачен переводчик и я наполовину. А теперь молчание. Мне хотелось бы, чтобы эта книга („Афины и Иерусалим”) появилась, ибо в ней я правильно поставил вопрос. Но по существу, какое имело бы значение, даже если бы книга вовсе не появилась даже по-французски... Главное, вопрос поставлен: все, что мы видим, очевидность или кошмар?

— Вот почему я так настаивал, чтобы в ваших этюдах вы придерживались существа. Я знаю, вашей первой целью является желание разъяснить, облегчить читателю понимание. Но если я настаивал, чтобы вы отбросили некоторые аксессуары, некоторые разъяснения, то потому что я забочусь не о читателе только. Самое главное не читатель, но чтобы вопрос был хорошо поставлен, для вас самих и для меня. В этом все дело.

Индусская мысль

— Я погружен в индусскую мысль. Читаю мало, потому что устал. Но я все время перечитываю, дабы сравнивать святого Жана де ла Круа, мастера Эккегарда, Фому Кемпийского. По существу, и там, и здесь одно и то же. До стремления Жана де ла Круа опорожнить дух от образов и видений... Конечно, имеются расхождения, но второстепенные. Вот Санкхара и Рамануйя, вторая упрекает первую в материальных связях и заменяет их духовными... но все-таки — связями. В основе этот спор между греками и Лейбницем: греки утверждали, что источник зла в материи, что воля богов была ограничена материей, которая ставила им предел. Лейбниц же говорит, что зло включено в вечные истины, которые вторглись в сознание Бога помимо Его воли... И там, и здесь Бог ограничен: там материальными связями, здесь — духовными. Но не все ли равно, какой характер имеет принуждение — материальный или духовный. Ведь принуждение налицо. Всякое принуждение материально... Совсем иной является мысль Иерусалима. Вспомните Апокалипсис. Непобедимый Зверь, и все язвы, и все хулы... Но приходит пророк, и отираются слезы. Этой мысли нет ни у греков, ни у индусов. Она только в Библии.

У истоков истины

— Что делаю я вот уже сорок лет? Вам ответят — ничего. Но в течение этих лет не было события, не было никакой мысли у меня, которая не являлась бы непрерывной борьбой вопрошания: то, что мы принимаем за истину, почерпнуто ли нами у истоков истины? Об этом я спрашивал себя долгие годы. И вот пришла ко мне идея о первородном грехе. Тяжело думать об этом, сосредоточиваться... Потому-то и приходится все время возвращаться к этому... для себя самого... Не смей думать, что преодолел трудности. Иначе ты думаешь как все. Но надо, чтоб хотя бы проблема была поставлена. Вероятно, причиной тому является все тот же кошмар очевидности. Платон думал об этом. Почему, сказав, что философия есть приготовление к смерти, он не развил своей мысли? А начал организовывать жизнь, республику?

18.5.1938

Гуссерль

Говорят о Вене, о гонениях нацистов на Фрейда и Наумана.

— А Гуссерль, — спрашиваю я, — где живет он теперь?

— На небе, — отвечает Шестов. — Без усмешки, без иронии, без особенного возбуждения.

Я не понимаю.

— Как! Об этом же сообщалось во французских газетах. Но русская газета сообщила, что уже восемь дней как он скончался во Фрейбурге. В том Фрейбурге, где несколько лет назад был праздник по случаю его семидесятилетия. Тогда жители этого города были пьяны от радости. Американские делегации... Теперь он только грязный еврей...

Афины и Иерусалим

Несмотря на вступление Гитлера в Австрию, его книга „Афины и Иерусалим” появилась по-немецки.

— Ее послали во все библиотеки мира, повсюду...

Если ее теперь конфискуют в Австрии, главное спасено... Смотрите, в Германии Гитлера еще возможно появление такой книги. В Советской России это было бы невозможно.

1919 год в Киеве

— То, что теперь происходит в Австрии, уже происходило... тогда, при Ленине... Старые евреи, раввины были в тюрьме. Хватали каждого, кого подозревали, что он имеет деньги. К счастью, я был персона-грата. Кое-кто из вождей были моими читателями. Они считали, что мы между собою согласны, ибо я был революционером в философии, они в политике. Они не теряли надежды меня убедить. Но ужасы, которые я видел... Идя на лекции в университет, я избегал людных улиц, пробирался переулками.

— А как же вы выбрались из России? Как они вас выпустили?

— Белые пришли. Я знал одного батюшку, который был левым социалистом, а потом стал белым. Он выдал мне бумаги, в которых значилось, что я на что-то уполномочен, и они послужили мне пропуском в Крым, а дальше в Константинополь. Но если бы я показал свой паспорт, в котором значилось „вероисповедания иудейского“, я бы пропал...

28.5.1938

Утешения

— Вера — только приготовление к смерти, я хочу сказать — к истине, о которой говорил Сократ. Только когда кончается царство принуждения, начинается царство свободы. Сократ знал, что в его суде с Анитусом и Мелитусом, и с афинянами вообще, сила против него. Можно ли бороться против нее? Значит, надо согласиться. Но через свое приготовление к смерти он узнал, что смерть все изменит. Умер Сократ. Почти в то же время умерли его судьи. С ними умерло и принуждение, которое они призвали к делу. Теперь отношение сил между Сократом и его судьями то же ли как было? Несомненно, в свою последнюю ночь, в одиночестве он

размышлял об этом. Но днем, будучи со своими учениками, он должен был для них вырвать из своей мысли поучение, утешать их... Нужно всегда утешать людей. Но странная вещь! Чем более ложно утешение, тем оно действительнее.

Индусы

— Я все в моих индусах. Чем больше углубляюсь в них, тем сильнее увлекаюсь. В них видят только метафизиков, они же грезят главным образом о разрешении, о спасении. Какой порыв к свободе! Конечно, вплоть до Упанишад и Веды имеются тексты, написанные людьми, которые искали со стонами; и другие, написанные любителями, предпочитающими смотреть со стороны, как зрители, на страдания первых. Так, Санкхара делает все, чтобы естественный свет был источником истины. И однако, дойдя до текстов Упанишад, где Брами утверждает как единственный источник последней истины, Санкхара склоняется. Она идет даже дальше— она не желает, чтобы эта истина Брами была доказана, т. е. навязана силой. Человек, говорит она, свободен в выборе желаний или слиянию с истиной. Он может попросить вкусные яства или красивую женщину. Комментаторы индусской мысли, будь то Груссе, Деуссен или Гюенон, избегают говорить об этих вопросах, это недостаточно „научно” для них... Индусы идут гораздо дальше, чем Афины...

10.7.1938

Шестов уезжает в субботу в Шатель-Гюйон. Вид очень усталый. Он готовит чай. Говорим о политических событиях. Последнее время почти все наши беседы вращаются вокруг трагедии Европы. Мне почти не приходится записывать.

Христианство и греческая философия

— Как их примирить? Гераклит сказал, что война есть отец и царь всего, Новый Завет ясно говорит, что

первая заповедь гласит: „Возлюби Господа Бога твоего”, вторая: „Возлюби ближнего”. Однако даже мистики, Эккегард или Таулер, или Рюисбрен, говорят только о первой заповеди — это то, что называется теоцентрической доктриной. Ради нее они жертвуют второй заповедью. Ближний смертен, случаен, условен, он не существует. Вы все время толкуете о живых людях, говорит мне Бердяев. А вот Будда уже доказал, что они не существуют. Через это он пришел на помощь не только людям, но и Богу. Да что Будда! Спиноза утверждает то же. Бог — субстанция, люди — только формы. В себе самом он предавался такой борьбе между субстанцией и формой, что победил свою форму, сделался субстанцией. Надо признаться, что, устранив ближнего, можно дойти, с трудностями, конечно, до примирения вещей: не всегда находят истину, но когда-нибудь найдут, ее ищут и так далее. Но если ближний существует, дело идет уже не об истине, нужно прийти к нему на помощь, надо его спасти. А так как это невозможно, проблема становится неразрешимой. Наоборот, плачется Иеремия.

Святой Августин рассказывает в „Граде Божиим” (по Титу Ливию) о взятии Сагонты Аннибалом. Это были союзники римлян. Он объявил им войну. Осада длилась год. Они поедали трупы и друг друга... Наконец, просят мира. Аннибал предлагает им сдаться на милость победителя. Они соглашаются. Их грабят, насилуют, убивают. И Августин спрашивает: почему их Бог не пришел к ним на помощь? Но ему не приходит в голову мысль: почему наш Бог не помог им? Тем более, что они были невинными, ведь это было до оплощения. Он не хочет признаться, что наш Бог и нам не помогает. Ницше это знал и, видя, что природа жестока, не ограничился констатированием факта, но принялся воспевать жестокость. Почему он воспевал? Иеремия также знал, что Бог нам не помогает. Евреи дорого заплатили, чтобы узнать это: история Маккавеев и так далее. Иеремия даже говорит: „Проклят день, когда я родился”. И однако, несмотря на очевидность, обращается к Богу. Просит помощи. Он верит, что Бог поможет... Я же не могу преодолеть эту трудность, я могу только бороться.

— Очень боюсь, что своими трудами я нагораживаю препятствия на пути к цели, к которой я стремлюсь. Охотно признают дилемму **З н а н и е** или **В е р а**, признают и то, что Знание жестоко, даже что оно ведет людей к гибели. У меня спросят, для чего все это, ведь надо же жить. Вы правы, но лучше молчать об этом.

Без даты

Шестов очень устал. Последнюю ночь он спал только час, а предшествующую не спал совсем. Он ничего не принимает против бессонницы. Уезжая в Шатель-Гюйон, он поцеловал меня в обе щеки. Как каждый раз при отъезде и приезде.

23.9.1938

Шестов так же слаб, такой же худой, каким уехал. Он собирается писать статью о Гуссерле. Но жалуется: — Я так устал. Я едва могу писать пол-листка в день. Это немного, но я очень доволен.

10.11.1938

Я не заходил к нему несколько дней и написал ему, что не хочу его утомлять, но зайду в четверг.

14.11.1938

Я получил письмо от его дочери, Наташи Барановой: „Дорогой друг, папа болен и на некоторое время ложится в клинику Буало. Телефонуйте на днях моей сестре, она скажет вам, можете ли вы навестить папу в клинике”.

16.11.1938

Телефонировал. Доктора запретили визиты. Ему впрыскивают салицил. Ему немного лучше. Он очень недоволен, что его положили в клинику. Но что делать?

18.11.1938

Татьяна (дочь Шестова) телефонировала мне, что папа очень доволен, что я справлялся о его здоровье. Его пока нельзя видеть, но ему лучше. Я не осмелился просить Татьяну, чтобы не испугать ее, срочно вызвать меня, если ему будет хуже. Но она предупредила меня, что пришлет пневматичку, если будут изменения или он пожелает меня видеть..

19.11

Ничего нового.

20.11

Телеграмма: „Телефонируйте Татьяне”.

Шестов скончался.

После полудня мы все собрались в клинике. Он лежит на постели мирный, успокоившийся, лицо тихое, красивое. Его супруга рассказывает, что вчера вечером он чувствовал себя еще достаточно хорошо. Сегодня утром, до того как она пришла, сиделка явилась ставить термометр. Он повернулся. И скончался. Сердце. Он так вас любил! И она рыдает. А потом показывает на маленький столик у кровати: лежит открытая Библия (по-русски) и „Система Веданты” (Брама-Сутра и так далее...) в переводе Деуссена. Книга открыта на главе „Брама как Радость”: „Не мрачная аскеза знаменует Мудреца Браммы, но радостное, полное надежды сознание единства с Богом”.

Мы вышли. Татьяна нам рассказала, что не было никакой надежды, после того как исследование показало, что он уже год страдает старческим туберкулезом. Похороны состоятся на новом кладбище, Булонь-Биянкур, во вторник, в 9 утра.

Последний раз я беседовал с ним 24 октября. Письмо от 5 ноября ко мне было последним, которое он написал.

21.11.1938

Я не отметил вчера этот покой, эту лучистость его лица. Я вступил в комнату с каким-то предубеждением, отталкиванием, которого я не могу как следует объяснить, это был древний страх запечатлеть в себе мертвый лик человека, которого я любил. Я зарыдал, видя его ооченевшим, и через мгновение устыдился своего рыдания. Плача, я кричал в глубине души, но то был безмолвный диалог души с собой: „Где ты теперь? Знаешь ли ты теперь?”

Во мне боролись желание видеть его и постыдное чувство страха приблизиться к тому, в ком разложение уже началось. Но он уже лежал в закрытом гробу, под венком из цветов.

22.11.1938

Похороны состоялись на новом кладбище Булонь-Биянкур, в юго-восточной части, в мавзолее, где покоятся уже его мать и брат. Только русские газеты дали сообщение, не было ни одного представителя французской литературы, кроме Голтье. Около сотни человек. К моему удивлению, присутствовал раввин, который произнес кадиш. К сожалению, раввин говорил не по-еврейски, а по-французски, певучим голосом, без выражения. Он цитировал Иова: „Бог дал, Бог отнял...” Он и не подозревал о раздумьях Шестова об этом. Но я был очень взволнован, что Шестов позаботился сохранить эту видимую связь с Израилем. Я спросил Ловского, сделано ли это по воле покойного? Он объяснил: когда в прошлом году хоронили его брата, раввин произнес кадиш, а затем молитвы по-французски, которые взволновали Шестова. Он нашел их прекрасными. И вот... Последняя молитва о том, кто был Лейба Изхок Шварцман (раввину не сказали, что хоронят философа Шестова, дабы он не построил свою речь соответственно)... Каждый бросает в яму горсть земли. Вот и моя очередь...

ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Шестов: Я хорошо знаю, что ныне царит необходимость, что она существовала тысячу, две тысячи лет. Но кто докажет мне, что она существовала всегда? Что до нее не было чего-то иного? Не будет и после нее? Может быть, от самих людей зависит держаться за Необходимость... Но философ обязан искать Источники за пределами необходимости, по ту сторону Добра и Зла...

Я: Татьяна мне сказала, что вы были больны и ослабели за последнее время.

Шестов: Меня ослабила, изнурила борьба с Кьеркегором. Вы не представляете себе, как трудно с ним бороться!

С доброй улыбкой, горькой, когда он говорит о занятости, об усталости, о деньгах:

— Что поделаешь? Ведь решено, во-первых, жить. Затем, если возможно, развлекаться. А если вам нечего делать — философствовать.

Доказательства, вот что надо упразднить в философии.

Странно, но это так: Ницше более веровал в Бога, чем Кьеркегор.

—Кьеркегор начал с того, что написал: „Авраам — отец Веры”, а кончил: „Авраам — рыцарь Веры”. Вы понимаете? В нем говорил уже Сократ.

— Ницше был так слаб, так болен, так несчастен...

Но он не считал себя вправе говорить об этом. И он говорил о Сверхчеловеке.

— Спиноза по крайней мере понимал, что он рвал на части, и глубоко от этого страдал. Но другие...

Публикуемые "Разговоры с Шестовым" представляют собой сокращенный вариант большой оригинальной рукописи Бенджамин Фондана, верного ученика Л.Шестова. Б.Фондан погиб в немецком концлагере в 1944 году. Оригинальный текст рукописи, написанный по-французски, был передан вдовой Фондана дочери Шестова, Н.Л.Барановой.

Редакция альманаха благодарит Наталью Львовну Баранову-Шестову за подготовку к публикации русского варианта рукописи Б.Фондана.



Соломон ВОЛКОВ

О СЕРГЕЕ СЕРГЕЕВИЧЕ И ДМИТРИИ ДМИТРИЕВИЧЕ

ИНТЕРВЬЮ С МСТИСЛАВОМ РОСТРОПОВИЧЕМ

Волков. Вы были крестным отцом виолончельных произведений Сергея Сергеевича Прокофьева. Потом дирижировали его оперой «Война и мир», симфониями. Вам помогает то, что вы дружили с Прокофьевым?

Ростропович. Невероятно помогает.

Волков. В каком отношении?

Ростропович. Я знаю его метод работы, метод сочинения. Как Прокофьев сочинял, что он в это время думал. Как он оценивал оркестровые инструменты. В нем была масса юмора. Он над инструментами иногда просто подсмеивался. Никогда не забуду, как Прокофьев рассказывал мне о второй трубе, которая в его Симфонии-концерте играет одну низкую бубнящую ноту. Я пытался показать Прокофьеву свою эрудицию: «Не слишком ли это низко в быстром темпе?» Он ответил: «Да что вы! Вы ничего не понимаете! Вы не представляете, какой трубач будет сидеть красный во время игры, как он будет надуваться!»

Волков. А как Сергей Сергеевич относился к голосу?

Ростропович. Он как-то услышал по трансляции, как Долуханова поет «Песню Сольвейг». Я был на этом концерте, и когда я пришел к нему, Прокофьев говорит: «Ну, слушал я. Вы знаете, замечательно Долуханова пела. Я в таком восторге: у нее голос — особенно в «Песне Сольвейг» — звучал ну прямо-таки как кларнет!»

Волков. Для певицы это, вероятно, не было бы особым комплиментом?

Copyright © 1981 by Solomon Volkov.

Ростропович. Да, я Долухановой об этом даже не передал. А Прокофьев был в восторге: певица добилась, что ее голос звучит как кларнет!

Волков. Вы ведь помогали Прокофьеву в работе?

Ростропович. Да. Расшифровывал ему кое-какие партитуры. Расскажу смешной случай. Прокофьев хотел заставить меня написать пассажи виолончели в Симфонии-концерте. Я был страшно занят несколько дней. Прокофьев возмутился и говорит в гневе: «Молодой человек, вы не обладаете даже талантом Брамса! Брамс произвел массу тетрадок упражнений для рояля, а вы мне не можете всего шестнадцать тактов написать». Я несколько обалдел и подумал про себя: как это я еще на свете живу, если у меня всего-навсего нет брамсовского таланта. Это у Прокофьева называлось — обидел. Как видите, он умудрялся выискивать действительно ужасные вещи для уничтожения вашего дарования.

В другой раз он заставил меня кое-что стирать в его рукописи. Ноты стояли у него на пианино, я сидел и резинкой стирал. Кончил, сказал, что теперь все в порядке и ушел. Вдруг Прокофьев звонит мне домой: «Я не могу играть на рояле! Вы своими стружками от стирания забили мне всю клавиатуру».

Волков. Когда балетмейстеру Лавровскому нужно было вытянуть из Прокофьева цыганский кусок для «Сказа о каменном цветке», он повез с собой к нему на дачу пианиста. Пианист стал наигрывать всяческую цыганщину. Сергей Сергеевич пришел в ужас: «Затворите окна! Я не могу допустить, чтобы такие звуки неслись с дачи Прокофьева!» Он очень был строг к подобным напевам. А вот Дмитрий Дмитриевич Шостакович, наоборот, весьма терпимо к ним относился. У него был особый интерес к блатным и полублатным песням.

Ростропович. Да-да. Он часто нам с Галей говорил о таких вещах с восторгом. На одной штуке он торчал массу времени, на знаменитой когда-то «Серенаде» Брага. Он ее обработал для двух голосов. Все никак не мог успокоиться, приговаривал с сарказмом таким: «Вот наконец-то я сделал «Серенаду» Брага!»

Волков. Шостакович хотел вставить эту «Серенаду» в оперу, которую он замышлял, по «Черному монаху» Чехова. Это был бы коллаж...

Ростропович. В этом вся штука, его подобная музыка

не отпугивала. Одному одно нравилось, другому — другое. Но надо сказать, иногда они друг друга подкалывали. Волков. А вам цыганские романсы нравятся?

Ростропович. Хорошо яичко к светлому праздничку. Если тебе страшно грустно, а ты выпьешь рюмку водки и послушаешь цыганский романс — что может быть лучше? Ничего. Музыка разная бывает. Нельзя заставить всех слушать одно и то же. Вы знаете, я об этом еще в 1948 году думал, когда вышло постановление о борьбе с формализмом. Я подумал тогда — ну кто составил это постановление? Ведь это люди писали — может быть, десять человек, может быть — пять. А может быть, один Сталин. Ну, не нравится ему музыка Прокофьева и Шостаковича. И как было бы мило, если бы Сталин сказал: «Пожалуйста, напишите что-нибудь такое, что и мне лично тоже подойдет». Волков. Кроме расхождений в музыкальных вкусах разнились ли Прокофьев и Шостакович чисто по-человечески? Ростропович. Трудно придумать двух более диаметрально противоположных людей.

Прокофьев если тебе доверял, не резервировал своего мнения — ни о тебе, ни о других. Он прибежал в артистическую, когда я сыграл первую виолончельную сонату Мясковского, и в общем-то довольный, говорит: «Когда вы играете на низких струнах, то ни одной ноты не слышно, ни одной!» Это было сказано при других, с наивностью и детским восторгом. Я так растерялся, что даже побледнел. Тогда Прокофьев добавляет: «Но зато когда вы переходите на струну ля — все слышно».

Мне такую историю рассказывали. Виолончелист Березовский впервые показывал концерт Прокофьева, дирижировал Мелик-Пашаев. Полный провал. Когда Прокофьев вошел в артистическую, то Мелик-Пашаев и Березовский замолчали, как приговоренные к электрическому стулу. И Мелик-Пашаев спросил: «Ну как, Сергей Сергеевич?» Прокофьев улыбнулся и отвечает: «Хуже не бывает!» Но улыбнулся с полным оптимизмом.

Волков. А как вел себя Дмитрий Дмитриевич в подобных ситуациях?

Ростропович. Всегда все хвалил: «Блестяще, блестяще». И только, если он ценил человека как большого музыканта, тогда он мог позволить себе критику. Шостакович мне всегда повторял: «Ну зачем, зачем такого-то критиковать, если

он не может сделать лучше?» Иногда меня это поражало. Исполнение или сочинение из рук вон плохое, а Шостакович встает и говорит: «Блестяще, блестяще».

Если Шостакович дружил с человеком, любил его; тогда он мог быть более откровенным. Тогда он мог ошарашить совершенно неожиданными суждениями, очень для него сокровенными. Но вообще был очень скрытен, очень осторожен. А вот Прокофьев, повторю, никогда не резервировал своей точки зрения. Никогда. Поэтому с Прокофьевым было гораздо легче. Правда, от него в минуту наибольшего благорасположения всегда могла поступить очень неприятная шпилька.

Волков. А кто из двух был, по-вашему, более национален по своему характеру — Прокофьев или Шостакович?

Ростропович. Раз я вез Шостаковича на своей машине в Горький. Отъехали мы от Москвы четыреста километров. Идет страшный дождь. Смотрю, бензин стоит на нуле. Но я знал, что в багажнике лежат канистры с бензином. Затормозил и в этот момент почти потерял сознание от ужаса: обнаружил, что ключ от бензобака я забыл у своего шофера в Москве. Растерялся настолько, что говорю: «Катастрофа, Дмитрий Дмитриевич, катастрофа!» Он человек страшно нервный, прямо-таки подскочил в машине: «Что такое, что такое?» Я ему: «Дмитрий Дмитриевич, ситуация такая: бензин на нуле, бензобак закрыт, а ключ от него у шофера в Москве».

Шостакович говорит: «Слава, Слава, что же делать?» Выскочил нервный из машины и стал вокруг нее бегать. А дождь хлбыстает! Я смотрю: на бензобаке торчит пробка, красивая такая, никелированная. Немецкая. Огляделся, вижу в кювете здоровенную металлическую оглоблю. Схватил оглоблю и стал с остервенением лупить по этой немецкой пробке. Ну, конечно, один раз по пробке — три-четыре раза по машине. А Шостакович бегаёт вокруг и приговаривает: «Молодец, Слава, молодец! Все, что сделал немец — русский сокрушит! Все, что сделал немец — русский сокрушит!» Это мне столько силы придавало! Я жарил с необыкновенным темпераментом. Наконец, пробка эта улетела так далеко... Я влил бензину, и мы доехали до Горького.

Волков. А национальное в их музыке?

Ростропович. Я считаю, оба они очень национальные ком-

позиторы, очень русские. Хотя в музыке Шостаковича больше западных влияний, чем у Прокофьева. У Шостаковича страсти горели к Малеру. Прокофьев совершенно этого не понимал, он сам мне об этом говорил.

Волков. Лина Ивановна Прокофьева рассказывала, что Сергей Сергеевич называл Шостаковича — «наш маленький Малер».

Ростропович. Но трагизм симфоний Шостаковича... Когда я вижу, как слушают — со слезами на глазах — симфонии Шостаковича, то понимаю, что Шостакович, быть может, самый русский композитор советского периода. Я не считаю, что музыка Прокофьева характерна именно для советского периода, она не об этом. Прокофьев пришел из другого мира, из мира Дягилева...

Волков. Из мира игры...

Ростропович. Да, из мира игры. Из западного мира. Ведь он там был довольно долго. Ему не хватало Запада. Когда я стал выезжать, он всегда просил меня привозить французские духи, халаты, пижамы — всякое такое. Его это страшно интересовало. Шостакович был более дитё после-революционной жизни, дитё войны.

Волков. Вы дирижировали и оперой Прокофьева «Война и мир», и оперой Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Оба эти сочинения существуют в разных авторских редакциях, разных вариантах. Какой из них можно считать окончательным?

Ростропович. В последние прокофьевские годы я жил у него дома, на Николиной Горе. И Прокофьев часто говорил: «Одно только желание есть в моей жизни. Я не хочу умереть, пока не услышу окончательного варианта «Войны и мира». Но он умер, а этого так и не случилось. Значит, последнее, окончательное слово по поводу «Войны и мира» автором сказано не было.

Тем более, Прокофьев очень часто многое менял в своих сочинениях. Когда мы со Святославом Рихтером сыграли его Симфонию-концерт, например, Прокофьев сам, добровольно, захотел внести изменения. И когда я, уже после смерти Прокофьева, дирижировал «Войну и мир» в Большом театре, я там видел кое-какие вещи, которые надо было бы улучшить. Скажем, в конце, в сцене победы, перед хорошим эпилогом. Мы с Борисом Покровским сделали там маленькие купюры. Надо было как-то подготовить праздни-

ность эпилога. Мы решили кусочек музыки перенести из оркестровой ямы на сцену, чтобы ее играл сценно-духовой оркестр, банда. Мы на этом врубали яркий свет, получалось что-то вроде перехода. Я попросил Шостаковича переоркестровать этот кусочек из «Войны и мира». Я не мог с такой просьбой обратиться к менее гениальному композитору.

Волков. Шостакович не очень был склонен вносить изменения в собственные сочинения.

Ростропович. В моей жизни еще не было такого случая, чтобы композитор после репетиции не внес каких-то коррективов. Не было такого случая. Все вносили.

Волков. Даже Дмитрий Дмитриевич?

Ростропович. Обязательно вносил. Обязательно.

Нюансировку менял, иногда чуть-чуть оркестровку. Даже с ним такое бывало. Хотя Шостакович был, конечно, наиболее точным из авторов.

Для композитора важно не только написать, важно услышать. Вы помните, в 1963 году «Леди Макбет» возобновили в театре Станиславского и Немировича-Данченко под именем «Катерины Измайловой». (Кстати, это была единственная в жизни оказия, когда я играл в оперном оркестре.) Это шло под флагом новой редакции: автор осмыслил критику, пересмотрел кое-что и так далее. Вы понимаете, нужно было что-то сделать, иначе опера просто не имела бы реального шанса на возобновление. Я очень страдал оттого, что и редакция, и возобновление шедеврами ни в каком смысле отнюдь не являлись. Я был уверен — должно родиться нечто третье. Мы много об этом говорили с Покровским. Мы вместе пошли к товарищу Поликарпову, в Центральный Комитет партии, и попросили: дать нам возможность сделать какой-то третий вариант на основе первого и вот этого, пересмотренного. Не столько пересмотренного, сколько упрощенного. Дайте нам возможность сделать это в Большом театре. Я говорил об этом в Министерстве культуры — и Фурцевой, и ныне живущим заместителям министра. Я говорил им так: Шостакович человек больной. Что будет, если мы его потеряем? Дайте возможность поставить один раз его оперу в Большом театре, с лучшими силами. Чтобы автор при этом присутствовал. И Шостакович, кстати, с огромным

удовольствием согласился на это — сделать последнюю совместную редакцию... Не получилось.

Волков. А какие у вас были соображения в связи с этой — несостоявшейся — третьей редакцией «Леди Макбет»?

Ростропович. Сейчас уже поздно об этом говорить. Но у Покровского было одно важное сомнение. Кто такая Катерина Измайлова, героиня оперы? Сволочь она, извините, или не сволочь? Конечно, сволочь. Она убила одного, второго убила. И для сочувствия ей, в общем, места нет. А Шостакович Катерине все время сочувствует. Она убила, ее на каторгу гонят, а хор поет — «жандармы бессердечные». Что это значит — «жандармы бессердечные»? Сейчас жандармы наши гонят куда-то в Сибирь, к черту на рога, диссидентов. Только за то, что они с чем-то не согласны! Они никого не убивали. И никто не поет хором — «солдаты бессердечные» или «советская милиция бессердечная». А Шостакович нас призывает пожалеть убийцу, преступницу заклеявленную.

Вот это Покровский и хотел уяснить — действительно ли Шостакович до такой степени ненавидел социальную систему, что оправдывал убийцу? Действительно ли Катерину довели до такого состояния? Или бывают подобные — при огромном темпераменте, при внешней красоте — человеческие уроды. С моей точки зрения, Шостакович показал нам человеческую аномалию. Но нельзя с ним спорить: что сделано, то сделано. И Шостаковича с нами уже нет.

Волков. Вы религиозный человек?

Ростропович. Да, религиозный.

Волков. Вы думаете когда-нибудь о смерти?

Ростропович. Вы знаете, никогда. Буквально никогда. Я знаю, она придет. И я, как всякий нормальный человек, просто не хотел бы болеть долго. Но я никогда о смерти не думаю. Считаю ее неизбежной, но совершенно не страшной. До такой степени не боюсь ее, что просто...

Волков. А в работе вера вам помогает? Когда вы работаете над музыкой?

Ростропович. Знаете, это как дыхание. Ты о нем не думаешь: ты просто должен вдохнуть, должен выдохнуть.

Волков. Каково, по-вашему, было отношение Шостаковича к религии?

Ростропович. Видите, для меня музыка — прежде всего выражение духа. Мне кажется, всякий настоящий музыкант

это ощущает. У великого музыканта сам подход к искусству духовен.

Волков. Разве Дмитрий Дмитриевич не был убежденным материалистом?

Ростропович. Никто этого не знает. Никто. Абсолютно точно могу сказать.

Волков. А Прокофьев?

Ростропович. Тот не задумывался над этим. Но его музыка отличается чистотой, правда? Музыка у Прокофьева может быть удачной, или менее удачной, или просто гениальной, но она всегда очень чиста. А ведь чистота — это и есть идеал настоящей религии. То же самое могу сказать о другом моем покойном друге — Бенджамине Бриттене: настолько ясная, сильная личность. Он светился — как святой, буквально как святой. Я считаю, Бриттен появился очень вовремя.

Волков. В каком смысле?

Ростропович. Вы знаете, Прокофьев умер очень давно. А моя дружба с Шостаковичем... Вспомните его сарказм, его глубоко трагический сарказм ко многим романтическим направлениям в музыке... И моя дружба, мое общение с Шостаковичем, мое обожание могли — не то чтобы обеднить, такого слова я не скажу, — но могли увести меня в сторону, в одну сторону. Как известно, Шостакович отнюдь не любил Чайковского. И очень вовремя пришел Бриттен с его обожанием Чайковского. Бриттен так замечательно играл его музыку. Он как-то играл на рояле дуэт из «Ромео и Джульетты» с Питером Пирсом и Галей, так Галя этого до сих пор забыть не может. Бриттен дарил — я могу сказать именно так — человеческой дружбой, нежностью. Шостакович — антитеза этому. Конечно, у Шостаковича была масса нежности. Но она существовала как необходимый контраст к его невероятной оскаленной силе.

Волков. А нежность Прокофьева?

Ростропович. Она была другая. Прокофьев даже напоминал мне иногда собаку.

Волков. Какую именно?

Ростропович. Добрейшую. Изумительного пса. Он иногда так делал: если хотел выразить мне свою любовь, то не говорил ничего. Он подымал свою кисть (а она у него была здоровенная, длиннюшая) и хлопал меня по плечу.

Довольно больно хлопал. Не рассчитав движения. Но это было высшим, так сказать, признаком дружеского расположения.

Волков. Вы говорили о вашей нежной и интимной дружбе с Прокофьевым, Шостаковичем, потом с Бриттеном. У вас нет ощущения, что композитора, равного этим трем по силе и грандиозности, вам уже не найти, не встретить никогда?

Ростропович. Всегда ждешь чуда. Но его вероятность все уменьшается. Прокофьева и Шостаковича я обожал с юности. Я так и остался навсегда их учеником. А сейчас, если я встречу великого композитора... Я уже не юнец. Начало будет другим. Как в шахматах говорят — другой дебют. А в связи с этим и вся игра будет другой, вплоть до эндшпиля.

Вот вы спрашивали меня о смерти. Некоторым смерть кажется черной, а для меня она совсем не черная. Я ее не боюсь еще и потому, что и Прокофьев, и Шостакович, и Бриттен продолжают для меня существовать. Хотя они и умерли. Они существуют в какой-то другой, непостижимой для меня форме. Я чувствую их влияние.

Когда мне дали дирижировать «Войну и мир» в Большом театре, то хотели, чтобы я провалился. Мне дали всего три репетиции, я обязан был провалиться. Геннадий Рождественский говорил: «Не берись за это, «Война и мир» такая трудная штука, ты не представляешь себе! Я просто за тебя боюсь!» В день представления я поехал на могилу Прокофьева. Обнял надгробный камень. И попросил Прокофьева помочь мне. Он мне помог. Я уверен, это он мне помог.

Я с ними общаюсь как с живыми, такое у меня ощущение. На их уровне общаюсь, на котором они сейчас находятся. На уровне новой, другой жизни. И там я имею больший баланс, чем в этой жизни, — там, за этим рубежом.



ВОСПОМИНАНИЯ

Анна ЧУЛКОВА-ХОДАСЕВИЧ

О ВЛАДИСЛАВЕ ХОДАСЕВИЧЕ

Анна Ивановна Чулкова (1886-1967), сестра Георгия Ивановича Чулкова (1879-1930), второстепенного символиста, «мистического анархиста», друга Вяч. Иванова и Блока. Хотя она и сама писала стихи и выступала в печати как переводчица под псевдонимом Софья Бекетова, ее роль в русской литературной жизни 1910-1920-х годов определяется человеком, с которым она прожила одиннадцать лет, В.Ф.Ходасевичем (1886-1939). Она упоминается во второй книге молодого Ходасевича «Счастливый домик» (М., 1914) и в московских стихах из «Путем зерна» (М., 1920). Они еще были вместе, когда Ходасевич работал над самым совершенным из его стихотворных сборников «Тяжелая лира» (М., 1922). Но в июне 1922 г., когда Ходасевич покинул Россию и выехал в Берлин, Чулковой уже с ним не было. Она осталась на родине и позднее вышла замуж за поэта Даниила Жуковского.

Предлагаемые биографические заметки Чулкова писала в возрасте семидесяти двух лет. Очевидно, что она не имела доступа к справочникам и архивным материалам. Она и сама признает, что хронология в ее мемуарах не очень надежна. Объективности ради следует отметить, что рассказ Чулковой страдает исключительной предвзятостью, особенно в том, что касается ее разрыва с Ходасевичем, его отъезда с Н.Н.Берберовой и их последующей переписки. Есть основания предполагать, что их разрыв произошел отнюдь не только по инициативе Ходасевича и что их союз стал ослабевать куда раньше, чем хотелось бы верить Чулковой на склоне лет.

Многие приводимые Чулковой материалы известны из других источников, но стихотворение, написанное ей Ходасевичем во время ее болезни («Бедный бараночник болен...»), письмо Ходасевича к Муни, часть его письма к Диатропову и письмо Ольги Форш Чулковой публикуются здесь впервые.

Я хочу выразить мою признательность профессорам Н.Н.Берберовой, Давиду Бетеа и Л.В.Лосеву за помощь, оказанную мне в работе над этими примечаниями.

*Джейн Миллер,
Миддлбери Коледж, Вермонт*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне хочется сказать несколько слов в свое оправдание: почему я — не литератор все же решаюсь написать биографию — воспоминания о Владиславе Фелициановиче Ходасевиче. Почти все его современники умерли, а кто еще жив, был далек от В.Ф. и не много знает о его жизни и творчестве.

О периоде его жизни за границей мне мало известно, но я тщательно старалась узнать от людей, вернувшихся из-за границы, о его творчестве и вообще о его жизни.

Кое-что я узнала из очерка Льва Любимова "На чужбине" в журнале "Новый мир" (№ 3, 1957). Знаю, что В.Ф. выпустил книгу стихов под названием "Европейская ночь", написал большую книгу о Державине, много статей о Пушкине. В Париже даже была затеяна подписка на большое издание работ по Пушкину Владислава Фелициановича, но болезнь и смерть его этому помешала. Кроме того, в Брюсселе в 1939 году вышла книга "Некрополь" и в Нью-Йорке в 1954 году вышла книга статей и воспоминаний.

А.Х.

Владислав Фелицианович Ходасевич родился в Москве в 1886 году 16 мая старого стиля. Отец его Фелициан Иванович был из литовской обедневшей дворянской семьи, мать Софья Яковлевна из еврейской семьи, крещеная католичка, воспитанная в католическом пансионе. Я видела документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты — все яркосинее с золотом.

Выкормлен В.Ф. был не матерью, а кормилицей, которая позже осталась его няней.

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Сивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна...

Как-то он мне рассказывал, что в раннем детстве с ним было происшествие: он выпал из окна второго этажа и остался жив и невредим.¹

Лишь раз, когда упал я из окна.
Но встал живой (как помню этот день я!)
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она...²

Были и комические происшествия в его детстве: однажды мать взяла его с собой в пассаж Солодовникова, где в каждом магазине было два выхода — в первую и во вторую линию пассажа. Войдя в один из магазинов, мать оставила Владю у витрины. Постояв какое-то время и не видя матери, он решил, что она про него забыла

и ушла другим выходом. Тогда Владя пошел к выходу пассажира и стал внимательно высматривать людей, которые внушали ему доверие. Наконец ему понравилась проходящая какая-то барышня и он обратился к ней со следующими словами: "Барышня, я потерялся, проводите меня, пожалуйста, домой — я живу в Камергерском переулке в доме Масс". Барышня любезно согласилась на его просьбу и привела его домой, оставив в объятиях няни, которая, не долго думая, схватила Владю и помчалась с ним обратно в пассаж, где мать в ужасе бегала, ища своего мальчика.

Семья его состояла из отца, матери, четырех братьев и двух сестер. Старший брат, Михаил Фелицианович, был известный адвокат и большой любитель старинной живописи, фарфора и парчи. Второго брата, Виктора Фелициановича, я не знала, так как он не бывал в семье. Третий брат, Константин Фелицианович, тоже был адвокат, но менее известный и четвертый — Владислав Фелицианович — поэт. Старшая сестра, Мария Фелициановна, жила в Ленинграде и была замужем за Войшицким, младшая, Евгения Фелициановна, жила в Москве и была замужем за адвокатом Каном. Вот эту-то сестру, еще когда она была девушкой, Вл.Ф. очень любил и написал ей, когда ему было 5-6 лет "стихи":

Кого я больше всех люблю
Уж всякий знает — Женечку.

В семье он был самым маленьким и самым любимым, и В.Ф. отвечал родителям горячей любовью. Отец его, приходя со службы, все же находил время поиграть с Владей, о чем вспоминает В.Ф. в своем стихотворении "Дактили":

Был мой отец шестипалым. Бывало в Сороку-ворону
Станем играть вечерком, сев на любимый диван,
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.
Шестеро было детей. И вправду он тяжкой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.³

Вл.Фел. очень рано научился читать, и в детстве его любимым занятием было чтение. Однажды летом, по

каким-то семейным обстоятельствам он был отправлен к дяде на дачу под Петербург. В этой же дачной местности жил поэт Майков. Узнав об этом, В.Ф., будучи 6-7 лет, отправился самостоятельно к даче Майкова и, увидев на скамейке седовласого старца, сказал: "Вы поэт Майков?" и получив утвердительный ответ, сообщил: "А я — Владя Ходасевич. Я очень люблю ваши стихи и даже могу прочесть наизусть "Мой сад с каждым днем увядает..." Майков выслушал со вниманием юного поклонника и даже поблагодарил. С тех пор Владя считал себя его знакомым и очень этим гордился.⁴

Гимназические годы В.Ф. мне мало известны. Знаю, что он учился в Московской III классической гимназии, где проходили греческий и латинский языки. В его классе учился брат Валерия Брюсова — Александр Брюсов. Очевидно, влияние старшего брата сказалось на младшем брате, и он стал писать стихи. Это объединяло В.Ф. с Александром Брюсовым, и они еще многие годы были в приятельских отношениях. Сделавшись взрослым, Александр Яковлевич перестал писать стихи, поняв, что он не поэт. Но все же в 1907 году он выпустил книгу стихов "По бездорожью" под псевдонимом "Александр".⁵

Окончив гимназию, В.Ф. поступил в 1904 году в Московский университет на юридический факультет. Осенью 1905 г. перешел на филологический. Университета, насколько мне известно, он не закончил.

Будучи не то в последнем классе гимназии, не то на первом курсе университета, он написал в альбом своей маленькой племяннице Наташе Кан следующие стихи:

У Наташи глазки черные,
А ресницы — как иголочки,
Ночью дремлют глазки черные
А альбом лежит на полочке.

Зеленая обезьяна.

В восемнадцать лет В.Ф. женился на Марине Рындиной. Марина была блондинка, высокого роста, красивая, и большая причудница. Одной из ее причуд была манера одеваться только в платья белого или черного цвета. Она обожала животных и была хорошей наездницей. В.Ф. рассказывал, что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы в имение Марины, расположенное

близ станции Благое, она взяла с собой в купе собаку, кошку, обезьяну, ужа и попугая. Уж был ручной и Марина часто надевала его на шею вместо ожерелья. Однажды она взяла его в театр и, сидя в ложе, не заметила, как он переполз в соседнюю ложу и, конечно, наделал переполох, тем более что его приняли за змею. В.Ф. пришлось пережить неприятный момент.

Еще рассказывал В.Ф. такой эпизод: они летом жили в имени Марины. Она любила рано вставать и в одной рубашке (но с жемчужным ожерельем на шее) садилась на лошадь и носилась по полям и лесам. И вот однажды, когда В.Ф. сидел с книгой в комнате, выходящей на балкон, раздался чудовищный топот и Марина ввела в комнату свою любимую лошадь. Владислав был потрясен видом лошади в комнате, а бедная лошадь пострадала, зашибив бабки, входя на несколько ступеней лестницы балкона.

Марину я иногда встречала в Московском Литературно-Художественном кружке.⁶ Одетая в черное или белое платье, с высокой прической, на которую она надевала золотой раздвижной браслет — бирюза с жемчугом — она напоминала сказочную царевну. Хороша она была и днем, когда ехала по Кузнецкому мосту на своих лошадях, откинувшись в коляске на бархатные подушки. О душевных ее качествах В.Ф. мне мало говорил. Во всяком случае, любовь В.Ф. к Марине сказалась в его первой книге стихов "Молодость", вышедшей в 1905 году.⁷ Сам В.Ф. в это время был большим франтом: студенческий мундир с воротником, подступающим к самым ушам, лаковые туфли, перчатки и т.д. Нередко его видели в Литературном кружке за карточным столом, где играли в "железку". В.Ф. всегда был худенький и бледный. Азартная игра в карты чередовалась с творческой работой, общением с Брюсовым, с Андреем Белым, Эллисом, с Ниной Петровской, Сергеем Соколовым, который в то время издавал журнал "Перезал".⁸

Однажды В.Ф. по издательским делам поехал в Петербург. За время его отсутствия Марина сошлась с Сергеем Маковским — поэтом и издателем, с которым она впоследствии уехала за границу.⁹

Разъехавшись с Мариной, В.Ф. поселился в меблированных комнатах "Балчуг", где жил и работал в более скромной обстановке.

В этот период жизни у писателя Бориса Зайцева¹⁰ часто бывали вечеринки, на которых молодые писатели и поэты читали свои новые произведения. Я там тоже бывала и впервые услышала стихи В.Ф., которые меня совершенно пленили. Я в то время была замужем за А.Б.,¹¹ который раньше был знаком с В.Ф. Познакомившись с В.Ф., я настаивала, чтобы он возобновил приятельские отношения с моим мужем. В.Ф. стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче, совместно переводил с А.Б. какой-то испанский роман, они писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии, акrostихи и тому подобные вещи. Я очень подружилась с В.Ф. — он делился со мной своими новыми стихами, своими душевными и любовными переживаниями. Он в то время был влюблен в Е.В.Муратову (жену Павла Муратова)¹² и очень огорчался ее не вполне серьезным отношением к его любви. Он рассказывал мне, что часто по вечерам бродил по улицам Москвы с Е.Муратовой, иногда они забегали в маленькие ресторанчики или кафе, а иногда под утро заходили в церковь, где В.Ф. покупал просфирки. Вообще в те времена многие писатели и поэты посещали церковь. В страстную субботу в Кремле в церкви Нечаянной Радости можно было встретить и Бунина, и Андрея Белого, и Бориса Грифцова¹³ и многих других писателей и художников того времени.

Физически В.Ф. чувствовал себя плохо. Как-то заработав небольшую сумму денег, он решил поехать в Венецию, где в то время была Евг.Муратова и еще много знакомых. Он кашлял, был очень бледен и нервничал. Мы с мужем провожали его на вокзал, и я плакала, думая, что он не вернется живым. Это было в 1910 году. Он пробыл в Венеции дольше, чем предполагал, так как сумел найти себе работу: водил экскурсии по музеям, галереям и церквям, что дало ему возможность пожить еще за границей. Евг.Муратова до Венеции была в Лондоне вместе с балетной школой Э.И.Рабинек, которая там выступала. Э.И.Рабинек была ученицей Дункан и продолжала ее дело в Москве.¹⁴

Свидание В.Ф. с Евг.Муратовой было невеселое: они там разошлись.¹⁵

Приехал В.Ф. слегка поправившись и привез много новых стихов. Часто печатался в газетах и журналах "Ве-

сы", "Золотое Руно", "Перевал" и готовил вторую свою книгу стихов "Счастливый домик".

Однажды В.Ф. пришел к нам совершенно потрясенный горем: его мать ехала на извозчике по Тверской улице, лошадь чего-то испугалась, понесла, пролетка зацепилась за тумбу, мать В.Ф. выпала на мостовую, ударилась головой о тумбу и тут же умерла. Вскоре отец В.Ф., страдавший грудной жабой и потрясенный смертью жены, тоже умер.¹⁶

В.Ф. очень любил своих родителей. Эта двойная смерть очень тяжело отозвалась в нем.

Как раз в этот период времени я ушла от А.Б. и мы стали жить вместе с В.Ф. Наш первый месяц совместной жизни был печальный: нервы В.Ф. были в очень плохом состоянии, бессонницы и большая возбужденность к ночи. Врач посоветовал класть холодный компресс на голову и грелку к ногам.

В то время В.Ф. работал в издательстве "Польза". Это издательство выпускало маленькие общедоступные книжки в желтой обложке ценою в 20-40 копеек. Для этого издательства В.Ф. переводил с польского Мицкевича, Пшибышевского и других писателей. Жилось материально трудно. Жили мы в одной комнате, что значило в те времена бедность.¹⁷

Однажды пришел швейцар из нашего подъезда и сообщил, что нам звонил Валерий Брюсов и просил предупредить, что приедет к нам вечером. Мы очень удивились, так как Валерий Яковлевич раньше не бывал у Владислава Фелициановича. Решили, что это по каким-нибудь литературным делам. Но вечером приехал Валерий Яковлевич с большой коробкой конфет и сам попросил напоить его чаем. За чаем в милой беседе высказал желание, чтобы мы познакомились и взяли под свое "семейное покровительство" молодую поэтессу Надежду Львову. Он был очень ею в то время увлечен.

Как-то, будучи в "Литературном Кружке", мы все встретились и произошло знакомство. Надя Львова¹⁸ произвела на меня приятное впечатление, и мы быстро подружились. Львова была очень молода — лет 19-20. Стихи ее были явно под влиянием Брюсова и носили немного истерический характер. В скором времени у нее вышла книга стихов под названием "Старая сказка".

Мы часто посещали "Литературный Кружок", в большинстве случаев "четверги", т.е. вечера "Свободной Эстетики", где главенствовал Валерий Брюсов. Там читались стихи и проза авторами, с определенным уклоном к символизму. Бывали там Белый, Балтрушайтис, София Парнок, Бальмонт, Поляков (изд. "Весов"), Муни, Нина Петровская, Борис Садовской, Марина Цветаева и другие.¹⁹

Иногда бывали мы и на "средах", где происходило чтение (большею частью) прозаических произведений с реалистическим направлением. Знаю, что видала там Ив.Булнина, Леонида Андреева, Куприна и др. — большей частью сотрудников издательства "Знание". Председателем был Телешов.²⁰

В общем "Литературный Кружок" был очень пестрым: там было много адвокатов, врачей, художников, коммерсантов, меценатов, композиторов и нарядных дам. Впоследствии на "четвергах" появились /.../* и Балиев.²¹

В.Ф. скоро свыкся с его театром и бывал там почти ежедневно то утром, то вечером. В труппе его полюбили и прозвали почему-то "Гриша". Однажды "Гриша" пришел днем на репетицию и увидел молоденькую актрису "Верочку-тонконожку", увлеченную чтением какой-то книжки. Она стояла, опершись локтями на рояль, и читала что-то, что ее, видимо, очень увлекало. "Что это вы читаете, Верочка, с таким увлечением?" — "Ах, оставьте, Гриша, очень интересная книга — "Дети капитана Гранта". Он очень смеялся.

Балиев с нами очень сдружился, и однажды в декабре месяце, в выходной день театра он нам позвонил по телефону и сказал: "Сегодня лето, наденьте летнее платье и приезжайте в театр". Мы нарядились в светлые туалеты и поехали. Сцена была обращена в террасу. На одной половине ее стоял ломберный стол с подсвечниками и колпачками "от ветра", и за ним сидели четыре актера и играли в преферанс, а на другой половине террасы стоял стол с приготовленным ужином. Молодые актеры на авансцене играли в серсо, а потом танцевали. Все были в летних платьях, и театр был сильно натоплен.

* В рукописи, находящейся в распоряжении редакции, — пропуск.

Другой раз Никита Федорович Балиев праздновал день рождения; мы опять были приглашены. Балиев был в очень веселом настроении и танцевал на столе лезгинку с бокалом вина на плече.

Все это было забавно, но отвлекало В.Ф. от серьезной литературной работы, и скоро ему надоел театр.

Однажды в "Литературном Кружке" на вечере "Свободной Эстетики" Валерий Яковлевич объявил конкурс на строки Дженни из "Пира во время чумы", "А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах". В.Ф. как будто бы и не обратил на это внимания. Но накануне срока конкурса написал стихи "Голос Дженни".

На другой день вечером мы поехали в "Литературный Кружок", чтобы послушать молодых поэтов на конкурсе. Результаты были слабые. Если не изменяет мне память, — все же лучшим стихотворением конкурса признаны были стихи Марины Цветаевой. В.Ф. не принимал участия в конкурсе, но после выданной премии Цветаевой подошел к Брюсову и передал ему свое стихотворение. Валерий Яковлевич очень рассердился. Ему было досадно, что В.Ф. не принимал участия в конкурсе, на котором жюри, конечно, присудило бы премию ему, так как его стихи он находил много лучше стихов Марины Цветаевой.²²

Стихи эти вошли в сборник стихов "Счастливый домик". В сборнике "Счастливый домик" было три раздела: "Пленные шумы", "Лары" и "Звезда над пальмой". Вся книга была посвящена мне. Раздел "Пленные шумы" был посвящен Муни, раздел "Звезда над пальмой" частично относился к Евг. Муратовой, отдел же "Лары" частично касался и меня.

Однажды, играя со своим сыном, я напевала детскую песенку, в которой были слова: "Пляшут мышки впятером за стеною весело". Почему-то эта строчка понравилась В.Ф. и с тех пор он как-то очеловечил этих мышат. Часто заставлял меня повторять эту строчку, дав обе мои руки невидимым мышам — как будто мы составляли хоровод. Я называлась "мышь бараночник" — я любила очень баранки. В день нашей официальной свадьбы мы из свадебного пирога отрезали кусок и положили под буфет, желая угостить мышат — они съели. Впоследствии в 1914 году, когда я заболела крупозным

воспалением легких и была близка к смерти, В.Ф. после кризиса преподнес мне шуточные стихи, которые, конечно, не вошли ни в один сборник его стихов. Вот они:

Бедный Бараночник болен: хвостик бывало проворный
Скромно поджав под себя и зубки оскаливши дышит,
Чтобы его приободрить и выразить другу вниманье,
Мы раздобыли баранку. Но что же? Едва шевельнувшись,
Лапкой ее отстранил — и снова забылся дремотой...
Боже мой! Если уж даже баранка мышина сердца
Больше не радуется, — значит, все наши заботы бессильны,
Значит, лишь Ты, Вседержитель, его исцелишь и на радость
В мирный наш круг возвратишь. А подарок до времени может
Возле него полежать. Очнется — увидит. Уж то-то
Станет баранку свою катать по всему подполью!
То-то возней громыливой соседям наделает шуму.

В это время В.Ф. часто печатался в альманахах "Грифа", в Антологии издательства "Мусагет", в журналах "Русская мысль", "Аполлон", "Северные записки" и других изданиях. Кроме того, занимался переводами с польского. Кое-что переводил из Мопассана и Мериме.²³

Расставшись с театром "Летучая мышь", он перешел работать в издательство "Всемирная литература", во главе которого был А.М.Горький.²⁴

Постепенно он приступил к написанию своей третьей книги стихов "Путем зерна".

Иногда он писал стихи очень быстро, а иногда вынашивал их годами. Бывали случаи, когда мы шли по улице и В.Ф. меня останавливал и, вырвав из записной книжки листок, писал на моей спине пришедшую ему в этот момент строчку. А иногда, ночью он меня будил и просил сесть и записать несколько строк.

Началась война 1914 года. В.Ф. был призван, но получил белый билет по состоянию своего здоровья; через полгода еще раз — опять белый билет, через несколько месяцев еще раз белый билет, а в четвертый раз был признан "годным". Это была совершенная дикость. Он растерялся и не знал, что предпринять. Обратился к А.М.Горькому с просьбой разобраться в этой чепухе — Горький помог.²⁵

В 1915 году 9 августа В.Ф. пишет длинное письмо своему другу Муни, в котором возмущается "слухами". Привожу выдержки из этого письма: "...В Москве сме-

шение языков. Честное слово, совершенно серьезно: это ни на что не похоже, кроме смешения языков. Один хам говорит: "Вот вздуют, вот и хорошо, так нам и надо". Другой ему возражает: "Не дай Бог, чтобы вздули: а то будет революция — и всех по шапке". Третий: "Я слышал, что Брест построен из эйнемовских пряников: вот он шпионаж-то немецкий". Четвертый (ей-Богу, своими ушами): "Я всегда говорил, что придется отступать за Урал. С этого надо было начать. Как бы они туда сунулись? А теперь нам крышка". Мунька, здесь нечем дышать. Один болван — "любит Россию, желает ей онемечиться: будем тогда культурны. Немцы в К... сортиры устроили". Другой подлец Россию презирает — "Даст Бог, вздуем немцев. Марков 2-й все университеты закрое, хе-хе".

Муничка, может быть, даже все они любят эту Россию, но как глупы они! Это бы ничего. Но какое уныние они сеют, и это теперь-то, когда уныние и неразбериха не грех, а подлость, за которую надо вешать. Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая Россия меня поит и кормит (впроголодь). Каким надо быть мерзавцем, чтобы где-то в проклятом тылу разводить чеховщину! Ведь это яд для России худший, чем миллионы монополий, чем немецкие гады, чем черт знает что! А российский интеллигент распускает его с улыбочкой: дескать все равно пропадать. А то и хуже того: вот, повояню, а культурный Вильгельм придет вентилировать комнаты. То-то у нас будет озон! За-граница.

Когда война кончится, т.е. когда мужик вывезет телегу на своей кляче, интеллигент скажет: ай да мы! Я всегда говорил, что 1) верю в мужика, 2) через 200-300 лет жизнь на земле будет прекрасна...

Ах, какая здесь духота! Ах, как тошнит от правых и левых! Ах, Муничка, кажется, одни мы с тобой любим "мать-Россию".

Я не говорю про тех, кто на позициях: должно быть, там и прапорщик порядочный человек. Но здешних интеллигентов надо вешать: это действительно внутренний враг, на три четверти бессознательный, но тем хуже, ибо с ним труднее бороться. Он сам не знает, что он враг, так где уж его разглядеть? А он тем временем пакостит,

сеет "слухи из верных источников" и т.д. Тыфу, я очень устал..."

Сестра Валерия Яковлевича Брюсова Лидия Яковлевна была замужем за Муни. Он тоже был призван и хотя окончил Московский университет, был солдатом, так как евреи не могли быть офицерами. Его сделали "чиновником", т.е. сопровождающим воинские поезда. Он очень тяготился военной службой, осложненной неприятностями, связанными с его национальностью. На одной из станций он вошел в кабинет начальника станции в его отсутствие, нашел у него на столе револьвер и застрелился. Это было 22 марта (старого стиля) 1916 года. Но, конечно, его военная служба была только одной из многих причин, которая привела его к этому печальному концу. Эта смерть тяжело отозвалась на В.Ф. Он очень любил Муни, которого можно было назвать его единственным другом, и он мучился и уверял себя, что отчасти виноват в этой смерти, так как был всегда слишком строгим критиком стихов Муни, а Муни чрезвычайно считался с мнением В.Ф. и принимал его слишком близко к сердцу. Опять у В.Ф. начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций и, очевидно, и мои нервы были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе видели Муни в своей квартире.

Вскоре В.Ф. написал стихи, которые относились к смерти Муни и напечатал их только в 1922 году в сборнике "Тяжелая лира".

Лэди долго руки мыла,
Лэди крепко руки терла.
Эта лэди не забыла
Окровавленного горла.

Лэди, лэди! Вы, как птица
Вьетесь на бессонном ложе,
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.

Боюсь, что хронология в моих воспоминаниях сильно хромает — мне семьдесят два года. Вспоминаю отдельные картинки прошлого и записываю.

В.Ф. не любил ходить в театры и концерты, но посещал генеральные репетиции Художественного театра, в

то время бывшего в полном расцвете. Часто бывал на вернисажах выставок. Охотно посещал выступления школы Рабинок. Ему там особенно нравилась одна из учениц этой школы — Таня Савинская;²⁶ с которой он был знаком и даже бывал у нее дома.

В 1916 году мы как-то были приглашены на день рождения поэтессы Любови Столицы.²⁷ У нее была загородная дача под Подольском. День был ясный и теплый. Поужинали, изрядно все выпили, в комнате было душно, В.Ф. вышел на балкон и в темноте шагнул с балкона на землю, а балкон был на втором этаже. Он не упал, но встал так твердо, что сдвинул один из спинных позвонков. Вскоре у него начались боли в спине и после долгих исследований выяснилось, что у него начался туберкулезный процесс в позвоночнике. На него надели гипсовый корсет. Летом велели ехать на юг. Носки и туфли сам он не мог надевать, а потому в подмогу ему я послала вместе с ним сына моего Гаррика, которому было тогда десять лет. Поехали они тогда в Коктебель к Максиму Волошину.²⁸ У Волошина летом всегда было много народа, причастного к искусству, да и сам Макс Волошин очень симпатизировал В.Ф. и часто по ночам беседовал с ним на отвлеченные темы. Через месяц я получила телеграмму: "Заложь что-нибудь и приезжай, скучаю". Я в это время служила в Городской управе в отделе регистрации раненых, но, получив такую телеграмму, взяла отпуск и поехала в Коктебель. В.Ф. я застала дома, лежащим на кровати, он был черен, как уголь. Он часами лежал на пляже, прикрывая больной позвонок куском черной материи. Это дало блестящие результаты. У него вскоре сломался корсет, и он поехал в Феодосию, чтобы сделать новый. Но в тамошней больнице ему сделали рентгеновский снимок и сказали, что ему не нужно носить корсет.

Месяца через два мы вернулись в Москву. В.Ф. усиленно писал стихи и занимался Пушкиным. Он любил Пушкина, как живого человека, и ему доставляла огромное наслаждение каждая строчка, каждое слово и малейшее переживание Пушкина. Он знал каждый день жизни его, можно было В.Ф. разбудить ночью и спросить, где Пушкин был в 1802 году 14 февраля и что он в это время писал, и В.Ф., не задумываясь, отвечал.²⁹

В 1917 году после революции, которую В.Ф. принял с огромной радостью, он один из первых писателей вступил в Союз писателей и стал печататься в революционных газетах и журналах, за что многие из писателей на него шипели.³⁰ Но материально нам жилось тяжело. Здоровье его подорвалось от недостаточного питания, и у него начался фурункулез. Доходило до пяти фурункулов одновременно. Лечения почти не было. Фурункулы прорывались часто ночью, их нужно было срочно промывать и перевязывать чистым бинтом. Бинтов в аптеке не было. А главное, не было соответствующего питания, и он совершенно извелся.

В то время магазинов почти не было, и писатели открыли "Книжную лавку писателей". В ней участвовали: Павел Муратов, Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Михаил Линд, Владимир Лидин, Владислав Ходасевич, Борис Грифцов, Ефим Янтарев и еще кто-то, кого я не помню.³¹ Я там служила в качестве кассирши, а перечисленные писатели дежурили за прилавком. Вскоре открылась книжная лавка поэтов. Насколько я помню, во главе ее стоял Шершеневич. Лавки конкурировали между собой, отыскивая старые библиотеки. Наша лавка не отапливалась, и я утром находила чернила замерзшими. Все работали в шубах.

Через год мы с В.Ф. ушли из лавки. Я вскоре перешла работать по приглашению Александра Брюсова в Книжную палату. Александр Брюсов был ее секретарем, а Валерий Брюсов заведующим.³² Книжная палата помещалась в то время в доме бывшей гостиницы "Петергоф" на углу Моховой и Воздвиженки. В этом же доме только на другом этаже помещался ЦК партии. Однажды, когда я возвращалась со службы, на лестнице мне встретился человек с очень знакомым лицом, с глазами, которые пронизывали насквозь встречного. Я прошла быстро и не могла сразу вспомнить, кто этот человек. Выйдя из подъезда, услышала разговор между проходящим рабочим и шофером машины, привезшим встретившегося мне человека. "Вот ты какой счастливец — Ильича везешь!" Шофер с гордостью согласился. Здесь я поняла, кого встретила на лестнице, и мне стало неловко моей рассеянности.

В 1919 году вышла третья книжка стихов Ходасевича

”Путем зерна”, посвященная памяти Самуила Киссина (Муни).³³ Как всегда, было много рецензий и на эту книгу. Как всегда, при этом поминались имена Тютчева, Пушкина и Фета. К символистам его никто не причислял. Но наряду с серьезными рецензиями мне вспомнилась одна рецензия на ”Счастливый домик”: ”Под стихи поэтессы N можно танцевать, а под стихи Ходасевича — нельзя”. Мы очень смеялись над своеобразным подходом к стихам.

Вскоре Книжную палату перевели с Моховой на Девичье поле. Александр Брюсов был призван в ряды Красной армии. Валерий Брюсов хворал. Я осталась почти одна. С перевозкой книг было очень трудно, но и вообще с работой в Книжной палате мне было трудно, так как в этом деле я была неопытна. Часто я обращалась к В.Ф. за советом. Он первое время не отказывал мне в помощи, но потом ему надоело тратить время даром, и он решил позвонить Вал.Яков. с предложением занять его место. Вал.Яков. с радостью на это согласился и быстро устроил назначение В.Ф. Но пробыли мы там недолго.

В 1918/19 году мы часто бывали у Алексея Николаевича Толстого.³⁴ Он был в то время женат на Наталье Васильевне Крандиевской. Я с ней дружила. В этот период времени поэты и писатели часто выступали в разных московских кафе со своими произведениями. Одновременно в одном из кафе читал Брюсов, Н.Павлович, С.Парнок, в другом — Толстой, я, Андрей Белый, в третьем — Ходасевич, Крандиевская, Антокольский, а на другой день состав выступающих менялся. В других кафе выступали Маяковский, Есенин, Шершеневич и другие поэты. Выступления оплачивались.

Часто у нас бывал поэт Константин Липскеров — поэт хороший, тонкий, любящий восток, влияние которого чувствовалось в его стихах. Я помню, что В.Ф. написал ему шуточные стихи (к сожалению, они у меня не сохранились) и в ответ получил тоже шуточные стихи от Липскерова. Встречался В.Ф. и с Маяковским, который в доме у нас не бывал, но на Тверском бульваре была кофейня ”Кафе Грек”, и там много бывало писателей. Вот там В.Ф. и встречался с Маяковским. Конечно, они не были созвучны, но это не мешало им ценить друг друга.

Бывали мы и у Гершензона — я редко, В.Ф. гораздо чаще.³⁵ Их объединяла любовь к Пушкину и статьи В.Ф. о Пушкине ценились Гершензоном, да и стихи В.Ф. — Гершензон любил.

В конце 1920 года А.М.Горький прислал В.Ф. письмо с приглашением работать в Пушкинском Доме и обещанием найти нам комнату. Это приглашение было очень вовремя: доктора настаивали на перемене места жительства для В.Ф.³⁶

Мы быстро собрались и поехали в Петроград. Ехали мы на вокзал в посольской машине — нам дал ее Балтрушайтис, который был послом Литвы. Сын мой очень радовался, что мы едем в машине, так как тогда машин было мало, и все мечтал встретить кого-нибудь из своих товарищей — уж очень нарядная была машина, да еще с флажком!

Незадолго до отъезда мой сын видел забавный сон и рассказал его В.Ф. Сон понравился В.Ф., и он пообещал сыну моему Гаррику этот сон превратить в сказку и посвятить Гаррику. Сказку В.Ф. написал, но напечатал только в 1922 году под названием "Загадка". Еще раз В.Ф. написал сказку для взрослых и поместил ее в какой-то газете, но и та и другая сказка, на мой взгляд, были неудачны.³⁷

В Ленинграде найденная для нас Горьким комната оказалась малопригодной для жилья. Это был бывший антикварный магазин, несколько лет уже неотопливаемый, и мы, затопив печку, все угорели и с трудом сползли с лестницы. Комната была на втором этаже с внутренней лестницей. Хозяин квартиры, сам антиквар, был приятель Горького, на мой взгляд, препротивный человек, и жена его, бывшая его горничная, еще того хуже. Одним словом, условия для жизни создались невозможные. Кроме того, в комнате было холодно и сыро и В.Ф. заболел.

Известие о нашем приезде дошло до писателей, живущих в "Доме искусства", и Виктор Шкловский, Надежда Павлович, Всеволод Рождественский, Владимир Пяст организовали быстро наш переезд в "Дом искусства".³⁸ Сперва нас поместили во дворе в небольшом флигеле, но вскоре после визита врача, который нашел у В.Ф. отек легких, нам предоставили две комна-

ты в главном корпусе. У нас в то время совсем плохо было с питанием, но товарищи по перу и это нам организовали. Помню, как сейчас, как Надя Павлович принесла мешочек пшена.

В.Ф. вскоре поправился. Почему-то работа в Пушкинском Доме у В.Ф. не состоялась. Я же, чуть ли не на третий день после нашего приезда, поступила на работу в Экспертную комиссию по искусству, где работала сестра В.Ф. Мария Фелициановна Войшицкая.

В.Ф. работал в издательстве "Всемирная литература" и занимался творческой работой. У него уже была почти готова четвертая книга стихов "Тяжелая лира", кроме того, у него были написаны статьи о Пушкине, Ростопчиной, Державине, о "Гавриилиаде", статьи "О русской поэзии". Он принимал участие в составлении "Еврейской антологии", а впоследствии он выпустил в издательстве Гржебина "Сборник из еврейских поэтов" с его переводами с древнееврейского (конечно, с подстрочника).³⁹

Жизнь в "Доме искусства" шла своим чередом. Чуть не ежедневно в концертном зале бывали концерты, доклады, вечера. Часто играли Анна Мейчик,⁴⁰ Софроницкий который был крестником сестры В.Ф. — Марии Фелициановны. У нас бывало много людей: Ольга Форш, Зоценко, художник Милашевский, Осип Мандельштам, художница Щекотихина, Пяст, Нельдихен, М.Слонимский, В.Каверин, Н.Тихонов, тогда еще малоизвестный поэт, Над. Павлович, Гумилев, художница Валентина Ходасевич, племянница В.Ф. и дочь его старшего брата, которая жила в одной квартире с Горьким, где мы бывали.⁴¹

Но были и "но" — добрые соседи, люди богемы, не имеющие разных бытовых мелочей, часто стучали в нашу дверь с вопросами: который час, какое сегодня число, нет ли иголки, когда выдают паек, дайте, пожалуйста, спички и т.д. Эти частые заглядывания очень мешали В.Ф. в его работе, и однажды, рассердившись, он вывесил на двери записку: "Здесь не справочное бюро и не комбинат бытового обслуживания".

В 1921 году, одновременно с А.А.Блоком, В.Ф. выступал с речью на Пушкинском вечере 11 февраля. Речь его была впоследствии напечатана в его сборнике статей, под заглавием "Колеблемый треножник".⁴² А.М. Горький в те времена относился к В.Ф. с большой неж-

ностью и был почитателем его стихов. Помню, как однажды мы были у него и В.Ф. прочел ему свое стихотворение "Обезьяна", вошедшее в третью книгу его стихов "Путем зерна". Алексей Максимович, слушая эти стихи, плакал.⁴³

Лето 1921 года мы провели в колонии "Дома искусства" в Псковской губернии, которая размещалась в двух старинных имениях. Одно из них называлось "Холомки", а другое "Бельское устье",⁴⁴ находились они на расстоянии одного километра одно от другого. Эти имения постоянно общались. Молодежи было много, и по вечерам часто зажигали костры и водили хороводы. В этих забавах принимали участие самые разнообразные слои общества: художник Милашевский, пастух Сережа, Ник. Чуковский, дочка бывшей владелицы имения "Холомки" (кажется, по фамилии Горчакова), дочь их кучера — Лида с очень хорошим голосом, которой В.Ф. посвятил стихи под заглавием "Лида". Там же он написал стихи "Бельское устье". Оба эти стихотворения вошли в четвертую книгу его стихов "Тяжелая лира". В.Ф. и мой сын провели там все лето, а я один месяц, так как меня вызвали на службу.

В конце лета мы узнали горестную весть о смерти Блока. В.Ф. близок с Блоком не был, но как поэта он очень его любил, и для него смерть Блока была большой потерей.⁴⁵

Вскоре В.Ф. получил письмо от издательства "Картонный домик" с предложением написать статью о Блоке, но он временно отказался, мотивируя тем, что здесь, в деревне, у него нет нужного материала. Когда он вернулся осенью в Ленинград и узнал еще о смерти Гумилева, он очень загрустил и как-то спросил меня: "А ты со мной поехала бы за границу?" Я ответила совершенно спокойно: "Нет, я люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два месяца — я бы поехала с удовольствием — там обуться, одеться, посмотреть музеи мне было бы очень приятно". Этому разговору я не придавала большого значения и сделала это напрасно.

В конце 1921 года в стенах "Дома искусства" появилась начинающая поэтесса Нина Берберова.⁴⁶ Молодая, с типично армянской наружностью. О ее стихах ничего не могу сказать, так как мало их слышала.

В 1915 году мне подарил В.Ф. толстую тетрадь в темно-красном кожаном переплете, в которой написал мне стихи, и с его легкой руки мне стали писать другие поэты — набралось вместе с художниками около ста автографов. Альбомом своим я могла гордиться: там были автографы Брюсова, Бальмонта, Герберта Уэллса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Осипа Мандельштама, Мариетты Шагинян, Софии Парнок и многих других. В числе многих других были и стихи Нины Берберовой, из коих я помню только одну строчку: "Я такая косоглазая — сразу на двоих гляжу".⁴⁷

Я в то время продолжала работать в Экспертной комиссии, но делала это с трудом: у меня появился кашель и ежедневно маленькая температура. У нас часто бывал молодой человек, издатель И.И.Бернштейн.⁴⁸ Он обратил внимание на мой кашель и записал меня на прием к известному профессору Штернбергу по туберкулезу открытой формы. В.Ф. начал хлопотать о помещении меня в туберкулезный санаторий, и в декабре я уехала в Детское село, где находился этот санаторий. В санатории у меня В.Ф. ни разу не был, но, зная его болезненность и слабость, я относилась к этому спокойно. Правда, друзья меня навещали и намекали, что В.Ф. увлечен Н.Берберовой, но я этому мало верила, так как за все одиннадцать лет нашей совместной жизни мы ничего не скрывали друг от друга.

Через месяц я вернулась днем из санатория. В.Ф. не было дома, но на столе стояла бутылка вина и корзиночка из-под пирожных. Когда пришел В.Ф., я спросила: "С кем тыпил вчера вино?" Он сказал: "С Берберовой".

С тех пор жизнь вся перевернулась. В.Ф. то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, а я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чем противоречить, иначе может кончиться плохо. Берберову он то проклинал и смеялся над ней, но если он ее не видел дня два-три, то кричал и плакал, и я сама отправлялась к ней, чтобы привести к нам для успокоения В.Ф.

Вскоре В.Ф. сказал, что поедет в Москву по делам издания его четвертой книги стихов "Тяжелая лира". Я

только спросила: один или с Берберовой? Он сказал: "Конечно, один". Он уехал. Через несколько дней я встретила Берберову на улице и обрадовалась, что В.Ф. сказал правду. В.Ф. писал письма, сперва деловые и более или менее спокойные, потом тон писем резко изменился — он начал уверять, что нам необходимо разойтись и что это даже требует его старший брат Мих.Фелиц., и если мы не разойдемся, то он не будет нам помогать материально. Я очень удивилась этому письму, так как одиннадцать лет Мих.Фел. никогда не вмешивался в нашу жизнь и никакой существенной материальной помощи не оказывал. Последующие письма были совершенным бредом, с обвинением меня в чем угодно, с советами, как мне надо жить, с кем дружить и т.д.

Наконец, я категорически спросила его письмом, вернется ли он в Ленинград, мотивируя этот вопрос бытовой причиной — сроком пайка Дома ученых. Берберова в то время уже уехала из Ленинграда. В ответ на мое письмо получила телеграмму: "Вернусь четверг или пятницу".

Мы жили на углу Невского и Мойки, и из нашего окна был виден почти весь Невский. Я простояла оба утра четверга и пятницы у окна, надеясь увидеть В.Ф. едущим на извозчике с вокзала. В пятницу за этим занятием меня застала Надя Павлович и сказала мне: "Ты напрасно ждешь, он не приедет". Я ей на это показала телеграмму, но она повторила: "Он не приедет".

Она была права. Через два дня я получила письмо, написанное с дороги за границу. Он выехал из Москвы в среду.⁴⁹

Письмо было короткое. Начиналось оно так: "Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения".

В дальнейшем я узнала, что он получил командировку от Наркомпроса и вместе с ним получила визу на выезд за границу его "секретарша" Берберова. Помог им в этом деле А.М.Горький.

Для меня наступило очень тяжелое время: была больна туберкулезом, без работы, без денег и с ужасными душевными страданиями.

Потом я часто получала от него письма с какими-то реальными указаниями, где и когда можно получить

деньги и посылки;⁵⁰ но это как-то не всегда получалось. Единственно, что я получала какое-то время, — его паек в Доме ученых. Зато наши общие друзья меня не оставили. Все "Серапионовы братья" и живущие в "Доме искусства" Осип Мандельштам, Давид Выгодский, Ольга Форш, Надя Павлович — помогали мне чем могли в моей горе.

Еще будучи в Москве, я как-то перевела несколько маленьких комедий Мериме под редакцией В.Ф. Очевидно, помня об этом, В.Ф., вскоре после своего отъезда, прислал мне два новых французских романа для перевода. Но я их переводила очень медленно, так как совсем еще была больна. Отредактировали их Осип Мандельштам и Бенедикт Лившиц.

В.Ф. часто мне присылал письма. Сперва письма были из Германии, потом из Италии, где он одно время жил у Горького в Сорренто, потом переехал в Париж.⁵¹

Письма были разные: одно было в них одинаково — отвращение к мещанству, мелкобуржуазной жизни и их интересам.

Одно из таких писем, где ярко выражено его настроение, адресованное другу его Б.А. Диатроптову, случайно попало мне в руки и отрывок из него приведу здесь. Письмо это из Берлина, куда он приехал прямо из Советской России.⁵²

"...Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами: не эсерами какими-нибудь, а покрепче: настоящими толстобрюхими хамами. О Борис, милый, клянусь: Вы бы здесь целыми днями пели Интернационал. Чувство, что не нынче-завтра взиграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники убежденные, принципиальные, обросшие восьмидесятипудовыми супругами и невероятным количеством стопудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. Тщетной — ибо "подходящая" молодежь застряла в Турции и Болгарии: у Врангеля, а многие здешние не женятся, ибо "без средств" — у барышень психология недоразвившихся б....., мамыши — "мамыши", папаши прохвосты, необычайно солидные, мечтают об одном: в е ш а т ь большевиков. На меньшее не согласны. Грешный человек — уж если оставить сентименты — я бы их самих — к стенке... Одно утеше-

ние: все это сгниет и вымрет здесь, завоняв своим разложением на всю Европу. Впрочем, здесь уж не так-то мирно, и может случиться, что поторопят их либо со смертью, либо с отъездом — уж не знаю куда. Я бы непрочь. Здесь я видел коммунистическую манифестацию, гораздо более внушительную, чем того хотелось моим соседям по пансиону.

Сами живем сносно — пока. Мода на меня здесь, кажется, велика. Но прокормят ли не знаю еще.

Сутки пропьянствовал в* /.../ (это у моря) с Горьким и Шалапиным. Видел Толстого, Кречетова, Минского, еще кое-какую мелочь. Был у меня в гостях Серж Маковский” /.../

В письмах часто присылал стихи. Я завела тетрадку, в которой записывала все присылаемые стихи. Таким образом у меня скопилось много стихов и образовалась целая книга. Через несколько лет кто-то из ленинградских друзей привез заграничную книгу В.Ф. ”Европейская ночь”. Я сравнила со своей тетрадкой и увидела, что у меня даже больше, чем там.

Свою книгу ”Тяжелая лира”, которую он издал вторым изданием в Берлине,⁵³ он мне прислал с дружеской надписью.

Письма были разные: часто жалобы на скуку, на здоровье, на одиночество. Потом письма стали какие-то малоинтересные и ненужные. Я прекратила с ним переписку: пути наши разошлись.

Знаю, что он написал большую книгу о Державине;⁵⁴ много статей о Пушкине и что даже собирался издать большой труд о Пушкине, на который началась подписка, но болезнь и смерть этому помешали.

Он умер после операции в больнице для бедных. Хоронило его много народа.

Умер он 14 июня 1939 года и похоронен на кладбище Булонь Бианкур.

После его смерти до меня дошли два некролога: Сирина и Берберовой с приложением трех стихотворений, найденных после его смерти.⁵⁵

Одно из них мне хочется записать здесь:

* В рукописи, находящейся в распоряжении редакции, — пропуск.

ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Боюсь, что я слишком много пишу о внешней жизни В.Ф. и мало о внутренней. Он был человек больной, раздражительный, желчный. Смеялся он редко, но улыбка часто бродила по его лицу, порой ироническая. По существу он не был злым человеком, но злые слова часто срывались с его губ. Он даже порой был сентиментален, даже мог заплакать над происшествием малозначительным. С людьми он умел быть приятным — он, как умный и тонкий человек, понимал, кому что было интересно и на этом играл, хвалясь, что каждого человека знает насквозь и даже на три аршина в глубину под землю. Его талантливость сказывалась во всем: в умении очаровывать людей, в чтении стихов, в умении при большой бедности быть всегда прилично одетым и т.д. Но все же благодаря своей болезненности, он часто ссорился с людьми. За границей он поссорился с Андреем Белым, со своей сестрой, с ее мужем и даже с редактором газеты "Возрождение", которая в тот момент являлась источником его материального существования.

Из мужчин он любил по-настоящему Муни, но и его мог обидеть жестокой критикой его стихов. Еще у него была большая симпатия к Борису Александровичу Диатропову, который не был ни поэтом, ни писателем, но был умный человек, большой культуры и тонкой души. В.Ф. с ним встречался, спорил, играл в шахматы и переписывался. По словам очевидцев, в Париже он подружился с молодым поэтом Юрием Мандельштамом⁵⁶ и, мне кажется, что его стихи "Пока душа в порыве юном..." относятся именно к Ю.Мандельштаму,

но это, конечно, только мое предположение. Кроме того, мне кажется, что стихи "Странник идет, опираясь на посох..." относятся ко мне, помеченные 1922 годом. Последние пять лет своей жизни стихов он не писал и всецело отдался работе над Пушкиным.⁵⁷

Прилагаю эти два стихотворения, которые в о з - м о ж н о относятся к Ю.Мандельштаму и ко мне.

* * *

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверх болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванье новых истин, —
Они ведь новы для тебя.

Потом, когда в своем наитье
Разочаруешься слегка, —
Весной простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.

Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманый спокойно,
Благослови иль прокляни.

А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно
Привыкши к слову — замолчать.

* * *

Странник идет, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет коляска на красных колесах
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось: на суше, на море
Или на небе — мне вспомнишься ты.

1922 г.

В дополнение моей характеристики Владислава Фелициановича я хочу прибавить краткую характеристику В.Ф. в частном письме ко мне Ольги Дмитриевны Форш:

”Дорогая Анна Ивановна, очень благодарю за стихи Владислава Фелициановича. Такую доставили радость, ведь мы с ним много говорили об искусстве, многое любили одинаково. Душа его глубокая и, как ни странно и противоречиво, со всей зримой недобротой, внешностью характера — была нежная и детски жаждавшая чуда.

И больно, что при таком совершенстве стиха до конца осталась эта р а з я щ а я жестокость. Отчего так обидно и страшно выбирал он только больное, бескрылое и недоброе — он же с а м, сам был иной.

Я люблю Владислава не только как поэта — как человека, а поэт он первоклассный, и надо об этом писать и очень хорошо, что Вы собираетесь дать его биографию.

Его высокое понимание поэзии, благоговейная любовь к Пушкину и редкая строгость к себе заслуживают напоминания. Особенно пример он тем, которые пишут с ”легкостью невероятной” — а поэзии ни на грош...”

Письмо это от 15 марта 1958 г.

Мне хотелось дать образ Ходасевича как можно яснее — вот почему я привела письмо О.Д.Форш. Знаю, что мои воспоминания далеко не всей жизни В.Ф., но найдет-ся кто-то еще, кто по моей несовершенной канве вышьет более сложный узор.

Приношу глубокую благодарность дочери С.В.Кисина — Лие Самуиловне Кисин и жене и сыну Б.А.Диатроптова — А.И. и Д.Б.Диатроптовым, которые любезно предоставили в мое распоряжение письма, чем очень помогли в моей работе.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Этот и последующий эпизоды Ходасевич описывает в «Младенчестве: отрывки из автобиографии», *Возрождение* №№ 3054, 3057, 3061.
2. *Тяжелая лира*, Москва, 1922.
3. Чулкова ошибается: «Дактили» впервые появились не в сборнике *Европейская ночь* (1927), а в парижском журнале *Современные записки*, № 35, 1928 г.
4. Собственный рассказ Ходасевича об этом эпизоде («Парижский альбом, IV», *Дни* № 1051 от 11 июля 1926 г.).

5. Alexander, *По бездорожью*, М., 1907. Под тем же псевдонимом А. Брюсов печатался в журнале *Весты*.

6. Ходасевич начал посещать Московский Литературно-Художественный кружок еще будучи школьником, в конце 1902 или в начале 1903 г. Во время первого посещения ему довелось услышать лекцию Валерия Брюсова, в то время кумира декадентов, о Фете («Фет — искусство или жизнь?»). Позднее Ходасевич стал постоянным членом кружка, где далеко не в последнюю очередь его привлекала игорная зала: там он нередко играл в карты. См. его очерк «Московский Литературно-Художественный кружок» в книге В. Ходасевич, *Литературные статьи и воспоминания*, ред. Н.Н. Берберова, НИ, 1954.

7. *Молодость*, М., 1908, а не 1905, как ошибочно указывает Чулкова. Книга была выпущена издательством «Гриф» и имела посвящение Марине Рындиной.

8. Между Ходасевичем и Брюсовым существовали не только литературные, но и личные связи. Как указывает Чулкова, Ходасевич учился в школе с младшим братом поэта, Александром, а его лучшим другом «символистского периода» был поэт Самуил Киссин (Муни), женатый на сестре Брюсова Лидии. С Андреем Белым Ходасевич впервые встретился на одной из Брюсовских «сред» осенью 1904г., но подружились они позднее, в 1906-1907 гг., и дружба эта длилась до возвращения Белого из эмиграции в СССР в 1923 г. Эллис (Л.Л. Кобылинский) был близок к Белому в этот период, так же как и Нина Ивановна Петровская (1884-1928), второстепенная писательница, но *femme fatale* русского символизма и прототип героини в романе Брюсова *Огненный ангел*. Ее муж, С.А. Соколов (Кречетов) (1879-1936), владелец издательства «Гриф», был первым издателем Ходасевича. Им издавались также журналы *Перевал* и *Золотое руно*, конкурировавшие с *Весами*. См. очерки Ходасевича «Брюсов», «Белый», «Конец Ренаты» в книге *Некрополь*, Париж, 1976.

9. Сергей Константинович Маковский (1879-1962), редактор *Аполлона*. Ходасевич называет дату своего разрыва с Мариной Рындиной: 30 декабря 1907 г.

10. Борис Константинович Зайцев (1881-1972), прозаик, постоянно проживавший в Париже с 1924 г. Он и его семья входили в круг эмигрантских друзей Ходасевича и Берберовой.

11. Александр Яковлевич Брюсов (1885-1966). См. прим. 5 и 6.

12. Павел Павлович Муратов (1881-1950), писатель и искусствовед.

13. Б.А. Грифцов (1885-1950), искусствовед и литературовед, сотрудничавший с Муратовым.

14. Е.И. Книппер-Рабинек основала в Москве танцевальную студию вскоре после первых успешных гастролей Айседоры Дункан в России. Ходасевич очень любил искусство танца и с большим интересом следил за успехами

Дункан. См. его очерк «Айседора Дункан», *Возрождение*, № 1876 от 20 октября 1927 г.

15. Евгения Муратова — «царевна» цикла «Звезда под пальмой», входящего в *Счастливым домик* (М., 1914).

16. Родители Ходасевича умерли в 1911 г.

17. Здесь Чулкова, вероятно, ошибается. Согласно *Книжной летописи*, с 1910 по 1917 год Ходасевич очень много переводил с польского, в том числе произведения Красинского, Тетмайера, Реймонта и Пшибышевского, но, в основном, по заказу «Универсальной библиотеки». Издательство «Польза» даже не упоминается.

18. Надежда Григорьевна Львова (1891-1913) познакомилась с Ходасевичем и Чулковой в 1912 г. Ей Брюсов посвятил «Стихи Нелли». Ее собственная единственная книжка стихов, *Старая сказка* (М., 1913), вышла с предисловием Брюсова. Она совершила самоубийство в год выхода своей книги. См. «Брюсов» в *Некрополе*.

19. Ю.К.Балтрушайтис (1873-1944), литовский поэт и, совместно с К.Д.Бальмонтом, В.Я.Брюсовым и С.А.Поляковым, один из организаторов издательства «Скорпион». Позднее он был сотрудником Ходасевича в Театральной секции Наркомпроса. С 1921 по 1939 г. был послом независимой Литвы в СССР. (1881-1952).

Б.А.Садовский (Садовской) часто печатался в *Весах*, *Русской мысли* и *Северных записках*.

С.Я.Парнок (1885-1933) высоко ценила стихи Ходасевича и в собственном творчестве отразила его влияние. Ее произведения, почти забытые в течение многих лет, недавно были собраны и переизданы: София Парнок, *Собрание стихов*, Ann Arbor, 1979.

С.В.Киссин (Муни) (1885-1916) был, повидимому, ближайшим другом Ходасевича. Он покончил с собой. См. «Муни» в *Некрополе*.

Зимой 1911-1912 гг. Марина Цветаева была в числе молодых поэтов, приглашенных выступить в Кружке. Об этом она вскользь рассказывает в очерке, посвященном Брюсову.

20. Н.Д.Телешов (1867-1957) основал «Знание» в 1898 г. В 1900 г. к нему присоединился Горький. О «Средах» Телешов пишет в своих мемуарах — *Записки писателя* (М., 1966).

21. Для театра «Летучая мышь», принадлежавшего режиссеру Н.Ф.Балиеву (ум. 1936), Ходасевич писал иногда. Так для «Летучей мыши» было написано стихотворение «Акробат», позднее включенное в третью книгу поэта «Путем зерна».

22. Цветаева рассказывает более занимательную версию того же эпизода. Согласно Цветаевой, выиграла она, но, когда Брюсов узнал, кто автор-победитель, он решил не присуждать первой премии, а выдать вместо этого

две вторых, одну из них Цветаевой. В числе победителей был и Ходасевич. См. третий раздел «Премированный щенок» в «Герое труда».

23. Проспер Мериме «Карета святых духов» См. Проспер Мериме, *Избранные драматические произведения*, М., 1954; Ги де Мопассан «Семья» в Ги де Мопассан *Рассказы*, М., 1914.

24. Наверное, Чулкова имеет в виду «Универсальную библиотеку», т. к. «Всемирная литература» в это время еще не существовала.

25. В памяти Чулковой смешались два различных эпизода. В 1916 г. Ходасевич был освобожден от военной службы из-за травмы спины. История же с повторными освобождениями, а затем с зачислением все же в армию, произошла позже, уже при советской власти, когда в 1920 г. измученный тяжелым фурункулезом Ходасевич был неожиданно признан годным. С Горьким Ходасевич познакомился в 1918 г., когда тот пригласил поэта возглавить московскую секцию «Всемирной литературы». Признанный годным Ходасевич обратился в 1920 г. к своему могущественному знакомому за помощью. Горький передал прошение Ходасевича в Кремль, поэт был отправлен не пере-комиссию и, в конце концов, признан негодным к службе в Красной Армии. См. об этом в очерке «Горький» в *Некрополе*.

26. Танцовщица Таня Савинская упоминается и в «Календаре» (хронике встреч) и в шуточном донжуанском списке поэта, который Ходасевич составил для Берберовой.

27. Поэтесса Любовь Столица познакомилась с Ходасевичем в 1906 г., когда они оба печатались в *Перевале*.

28. Лета 1916 и 1917 гг. Ходасевич провел в Коктебеле в числе гостей Максимилиана Волошина, которого он назвал в одном из писем «мистический гурман». См. его автобиографическую заметку «О себе», *Новая русская книга*, № 7, 1922 и «Eight letters of V.F.Khodasrwich (1916-1925), ed. J.E.Malmstad and G.S.Smith, *Slavonic and East European Review*, vol. 57, No. 1, January 1979.

29. Небрежность Чулковой: в феврале 1802 г. Пушкину было два с половиной года.

30. Забавно, что при вступлении Горького (!) во Всероссийский союз писателей в 1919 г. рекомендацию Алексею Максимовичу подписали Ходасевич и Юргис Балтрушайтис (см. прим. 19). См. «Горький» в *Некрополе*.

31. Основана Муратовым и Ходасевичем в 1918 г. К списку пайщиков, приводимому Чулковой, Ходасевич в «О себе» добавляет А.С.Яковлева, но он не упоминает В.Лидина. См. также М.Осоргин, «Книжная лавка писателей», *Новая русская книга* №№ 2-4, 1923). О книготорговых начинаниях имажинистов см., напр., в *Романе без вранья* Анатолия Мариенгофа. См. также В.Лидин, *Друзья мои — книги*, М., 1962, стр. 10-13.

32. Брюсов ушел из Книжной Палаты в конце 1919 г. Его заместил Ходасевич, который, однако, вскоре серьезно заболел и всю весну и часть лета 1920 г. провел в санатории. См. его «Здравница» и «Книжная палата» в *Литературные статьи и воспоминания*.

33. *Путем зерна*, М., 1920; 2-ое дополненное изд. П., 1921.

Наиболее значительные отклики: Г.Адамович, «В.Ходасевич, *Путем зерна*», *Цех поэтов*, № 3, 1922; В.Брюсов, «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», *Печать и революция*, № 7, 1922; Г.Иванов «О новых стихах», *Дом искусств*, т. 2, 1921.

Рецензию, в которой бы «поминались имена Тютчева, Пушкина и Фета», разыскать не удалось.

34. Сам Ходасевич мало рассказывает об этих чтениях в своих мемуарах, хотя в очерке «Есенин» (*Некрополь*) упоминает А.Н.Толстого и некоторые события 1918-1919 гг. К.Д.Липскеров (1889-1954) входил в группу «нео-классиков», в которую в 1922 г. приглашали и Мандельштама (об этом см. Н.Мандельштам, *Вторая книга*, Париж, 1978). Надежда Павлович впоследствии была соседкой Ходасевича и Чулковой по Дому Искусств (1921-1922). Пастернак в *Охранной грамоте* рассказывает, как однажды наткнулся на Маяковского и Ходасевича, играющих в орлянку под тентом греческой кофейни на Никитском бульваре. Возможно, какое-то время, как утверждает Чулкова, они и поддерживали какие-то отношения, но впоследствии Ходасевич питал яростное отвращение к Маяковскому, и как к человеку и как к поэту. См. «О Маяковском» (*Литературные статьи и воспоминания*).

35. Борис Садовский познакомил Ходасевича с М.О.Гершензоном (1867-1925) летом 1915 года, после того как Гершензон прочел и высоко оценил статью Ходасевича о Пушкине. Они сошлись очень близко и продолжали переписываться, даже когда Гершензон вернулся из эмиграции в СССР. См. «Гершензон» в *«Некрополе»*.

36. Ходасевич пишет, что Горький действительно предложил ему перебраться в Петроград, но никакого приглашения работать в Пушкинском доме при этом не упоминает. Может быть, Ходасевич и пытался получить там работу, но из этого ничего не вышло.

37. *Загадки*. Сказка. Рисунки В.Замирайло, Пбг.
Отыскать следы второй сказки не удалось.

38. «Дом искусств» (Мойка, 59), особняк семьи бакалейщиков Елисеевых, был в 1919-1922 гг. пристанищем учреждения, выросшего из студий и семинаров «Всемирной литературы». Помимо воспоминаний о нем Ходасевича в *Литературных статьях и воспоминаниях*, см. также воспоминания его соседей: Вс.А.Рождественский, *Страницы жизни: из литературных воспоминаний*, 2 изд., М., 1974; В.Шкловский, *Сентиментальное путешествие*, М., 1929. Гротескное изображение жизни в «Доме Искусств» см. Ольга Форш, *Сумасшедший корабль*, Л., 1931.

39. *Статьи о русской поэзии*, Пбг, 1922.

Еврейская антология, М., 1918, ред. В.Ф.Ходасевич и А.Яффе.

Из еврейских поэтов, Пбг-Берлин, 1922, ред. В.Ф.Ходасевич.

40. В.В.Софроничский (1901-1961) и А.Чейчик (....-....) — известные пианисты.

41. См. «Дом искусств», *Литературные статьи и воспоминания*, и Горький в *Некрополе*. Валентина Ходасевич жила в квартире Горького на Кронверкском (ныне Максима Горького) проспекте № 23.

42. Чулкова ошибается. Ходасевич был болен и отложил выступление, хотя и присутствовал на вечере. «Колеблемый треножник» заключает *Статьи о русской литературе*.

43. Ср. в *Некрополе*: «Я видел немало писателей, которые гордился тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи» (стр. 254).

44. В «О себе» Ходасевич пишет: «Конец лета провел в Бельском Устье, в Покровском уезде, Псковской губ., в колонии «Дома Искусств». Там же был и В.Милашевский, тогда как Н.Чуковский жил в Холомках.

45. Ходасевич уехал в Бельское Устье 3 августа 1921 г. Вскоре по приезде он получил письмо от Андрея Белого, датированное 9 августа, извещавшее его о смерти Блока. Об аресте Гумилева он знал еще до отъезда и был, возможно, последним, кто видел Гумилева на свободе. Известие о гибели Гумилева настигло его в Бельском Устье. См. «Гумилев и Блок» в «*Некрополе*»: также «Три письма. Андрея Белого», *Современные записки*, 55 (1934).

46. Н.Н.Берберова (1901-) занималась в гумилевской студии «Звучащая раковина» в 1920-1921 гг. См. *Курсив мой*, Мюнхен, 1972.

47. Чулкова цитирует неверно. Берберова приводит эти строки в *Курсив мой*.

*Только стала я косая:
На двоих зараз смотрю.
Жизнь моя береговая,
И за то благодарю!*

48. И.И.Бернштейн (1900- ?), писатель и критик, создавший ценный литературный архив. В начале 20-х годов основал издательство «Картонный домик» (название заимствовано у М.Кузмина).

49. 22 июня 1922г.

50. Судя по неопубликованным письмам Ходасевича к Чулковой, он прилагал усилия к тому, чтобы она продолжала получать паек в Петрограде.

51. Перед тем как обосноваться в Париже, в апреле 1925 года, Ходасевич

и Берберова подолгу жили в Германии, Чехословакии, Ирландии, Италии. С октября 1922 до июня 1923 года, с ноября 1923 до марта 1924 и с октября 1924 по апрель 1925, они либо жили у Горького, либо виделись с ним ежедневно. См. Н.Н.Берберова, «Три года жизни М.Горького», *Мосты*, 8, 1961

52. Борис Александрович Диатроптов нигде в опубликованных воспоминаниях Ходасевича не упоминается, но некоторые письма Ходасевича к нему были недавно опубликованы (см. прим. 28). Отрывок из цитируемого Чулковой письма появился в сборнике В.Н.Орлова *Перепутья М.*, 1976, стр.149).

53. *Тяжелая лира*, Берлин, 1923.

54. *Державин*, Париж, 1931.

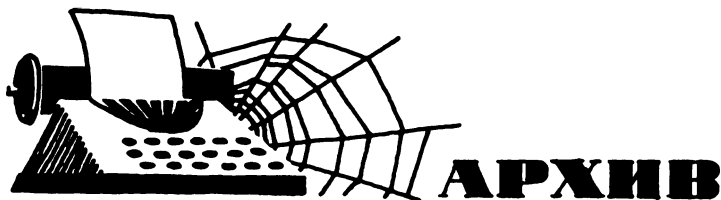
О Пушкине, Берлин, 1937 (переработанное издание книги *Поэтическое хозяйство Пушкина*, Л., 1924, искаленной по мнению Ходасевича, советскими редакторами).

55. Цитируемые стихи, равно как и упоминаемые некрологи, написанные Берберовой и Набоковым, были напечатаны в т.69 журнала *Современные записки* (1939).

56. Ю. Мандельштам (1908-1943). Известны, по крайней мере, две рецензии Ходасевича на стихи Ю. Мандельштама (*Возрождение* № 2459 и № 3767). Чулкова, однако, ошибается, полагая, что «Пока душа в порыве юном...» относится к этому молодому поэту, т.к. впервые оно появилось в печати еще в 1924 г., в № 7 берлинской *Беседы*.

«Странник прошел, опираясь на посох...» — из *Тяжелой лиры*.

57. Чулкова не права, категорически заявляя, что в последние пять лет своей жизни Ходасевич не писал стихов — он писал, хотя относительно редко. Стихи этого периода можно найти в приложении к *Собранию стихов*, Мюнхен, 1961.



Михаил БУЛГАКОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСПУТЕ

7 февраля 1927 года в помещении театра им. Вс. Мейерхольда состоялся диспут по поводу пьесы „Дни Турбиных“, на котором впервые публично выступил М. А. Булгаков, защищая право художника на свободу творчества. В диспуте приняли участие А. Луначарский, П. Юдин, П. Марков, а также журналист А. Орлинский, всегда активно травивший — публично и печатно — М. А. Булгакова.

Об этом диспуте оставили ценные воспоминания друзья и современники писателя: П. Марков, С. Ермолинский, Эм. Миндлин, а также Е. С. Булгакова в своих неопубликованных дневниках.

Выступление М. Булгакова было опубликовано в журнале „Огонек“ (№ 11, 1969 г.) с сокращениями и неточностями. Настоящая публикация печатается по стенограмме диспута, хранящейся в ЦГАЛИ (фонд 2355, оп. 1, ед. хр. 5), сверенной и выправленной Е. С. Булгаковой.

Я прошу извинения за то, что я просил для себя слова, но, собственно, предыдущий оратор явился причиной того, что я пришел сюда на эстраду.

Предыдущий оратор сказал, что нэпманы ходят на „Дни Турбиных“, чтобы поплакать, а на „Зойкину квартиру“, чтобы посмеяться. Я не хочу дискутировать и ненадолго задержу ваше внимание, чтобы в чем-то

убедить товарища Орлинского, но этот человек, эта личность возбуждает во мне вот уже несколько месяцев, — именно с пятого октября двадцать шестого года, день, очень хорошо для меня памятный, потому что это день премьеры „Дней Турбиных“, — возбуждает во мне желание сказать два слова. Честное слово, я никогда не видел и не читал его рецензий, в частности о моих пьесах, но у меня наконец явилось желание встретиться и сказать одну важную и простую вещь, именно, — когда критикуешь, когда разбираешь какую-нибудь вещь, можно говорить и писать все что угодно, кроме заведомо неправильных вещей или вещей, которые пишущему совершенно не известны. Вот об этом просто я и хочу сказать, чтобы избавить товарища Орлинского, наконец, от привлекательного желания в выступлениях сообщать неизвестные ему вещи и не вводить публику, которая его слушает, в заблуждение.

Дело заключается в следующем: каждый раз, как только он выступает устно или письменно по поводу моей пьесы, он сообщает что-нибудь, чего нет. Например, он здесь оговорился фразой: „Автор и театр панически изменили заглавие своей пьесы“. Так вот относительно автора — это неправда. О театре, конечно, полностью говорить не берусь, был ли он в состоянии паники, не знаю, но твердо и совершенно уверенно могу сказать, что никакого состояния паники автор „Турбиных“ не испытывал и не испытывает, и меньше всего от появления на эстраде товарища Орлинского. Я панически заглавия не менял. Мне автор „Турбиных“ хорошо известен. Твердо знаю, что автор настаивал на том, чтобы было сохранено первое и основное заглавие пьесы — „Белая гвардия“. Именно оно было, как известно это автору „Турбиных“, — а он имеет более или менее точные сведения, — изменено оно было по консультации с тем же автором и по соображениям чисто художественного порядка. причем автор не был согласен с этими соображениями и возражал, но театр оказался сильнее его, представивши ему доводы чисто театральные, именно, что название „Белая гвардия“ пьесе не соответствует, ибо нет тех элементов, которые подразумевались в романе под этими словами. И автор в конце концов отступился и сказал: „ Называйте

как хотите, только играйте". Это — первое. Есть одна очень важная деталь, и почему-то критик Орлинский приводит ее с уверенностью, совершенно изумительной. Эта деталь чрезвычайно характерна, как чрезвычайно характерно все, что пишет и говорит Орлинский. Эта маленькая деталь касается денщиков в пьесе, рабочих и крестьян. Скажу обо всех трех. О денщиках. Я, автор этой пьесы „Дни Турбиных", бывший в Киеве во времена гетманщины и петлюровщины, видевший белогвардейцев в Киеве изнутри за кремовыми занавесками, утверждаю, что денщиков в Киеве в то время, то есть когда происходили события в моей пьесе, нельзя было достать на вес золота. (Смех, аплодисменты.) Значит, при всем моем желании вывести этих денщиков — я вывести их не мог, хотя бы даже я и хотел их вывести. Но я скажу больше: даже если бы я вывел этого денщика, то я уверяю вас, и знаю это совершенно твердо, что я критика Орлинского не удовлетворил бы. (Смех, аплодисменты.)

Я выступил здесь (и, конечно, не буду больше выступать) не для того, чтобы разжигать страсти, а чтобы извлечь наконец эту истину, которая мучает меня несколько месяцев. (Вернее, мучит критика Орлинского.) Я представляю очень кратко две сцены с денщиком: одну, написанную мною, другую — Орлинским. У меня она была бы так: „Василий, поставь самовар" — это говорит Алексей Турбин. Денщик отвечает: „Слушаю", — и денщик пропал на протяжении всей пьесы. Орлинскому нужен был другой денщик. Так вот я определяю: хороший человек Алексей Турбин отнюдь не стал бы лупить денщика или гнать его в шею — то, что было бы интересно Орлинскому. Спрашивается, зачем нужен в пьесе этот совершенно лишний, как говорил Чехов, щенок? Его нужно было утопить. И денщика я утопил. И за это я имел неприятность. Дальше Орлинский говорит о прислуге и рабочих. О прислуге. Меня довели до белого каления к октябрю месяцу — времени постановки „Дней Турбиных", — и не без участия критика Орлинского. А режиссер мне говорит: „Даешь прислугу". Я говорю: помилуйте, куда я ее дену? Ведь из пьесы при моем собственном участии выламывали громадные куски, потому что пьеса не укладывалась

в размеры сцены и потому что последние трамваи идут в двенадцать часов. Наконец я, доведенный до белого каления, написал фразу: „А где Анюта?” — „Анюта уехала в деревню”. Так вот, я хочу сказать, что это не анекдот. У меня есть экземпляр пьесы, и в нем эта фраза относительно прислуги есть. Я лично считаю ее исторической.

Последнее. О рабочих и крестьянах. Я лично видел и знаю иной фон, иные вкусы. Я видел в этот страшный девятнадцатый год в Киеве совершенно особенный, совершенно непередаваемый и, я думаю, мало известный москвичам, особенный фон, который критику Орлинскому совершенно не известен. Он, очевидно, именно не уловил вкуса этой эпохи, а вкус заключался в следующем. Если бы сидеть в окружении этой власти Скоропадского, офицеров, бежавшей интеллигенции, то был бы ясен тот большевистский фон, та страшная сила, которая с севера надвигалась на Киев и вышибала оттуда скоропадщину.

Вот в том-то и суть, что в романе легче все изобразить, там несчетное количество страниц, а в пьесе это невозможно. Автор „Дней Турбиных” лишен панического настроения, я этого автора знаю очень хорошо, автор изменил фон просто потому, что не ощущал его вкуса. Тут нужно было дать только две силы — петлюровцев и силу белогвардейцев, которые рассчитывали на Скоропадского, больше ничего. Поэтому, когда стали писать критики, я собрал массу рецензий. Некоторые видят под маской петлюровцев большевиков. Я с совершенной откровенностью могу по совести заявить, что я мог бы великолепнейшим образом написать и большевиков, и их столкновение, и все-таки пьесы бы не получилось. А просто, повторяю, что в намеченную автором „Турбиных” задачу входило показать только одно столкновение белогвардейцев с петлюровцами, и больше ничего.

Теперь я бы сказал еще последнее, самое важное. Сейчас критик Орлинский проделал вещь совершенно недопустимую. Он взял мой роман и стал цитировать. Я знаю, чтобы доказать вам, что пьеса плоха с политической точки зрения. Это совершенно очевидно и понятно. Но почему он, например, заявил вам здесь, с эстрады,

что, мол, Алексей Турбин, который в романе врач, в пьесе представлен в виде полковника. Действительно, в романе Алексей — врач. Больше того, там он более прозаичен, там он больше приближается к нэпманам, которые ко всем событиям относятся так, чтобы не уступить своих позиций. Но все-таки ошибаются те, кто сознательно сообщает неправду, потому что тот, кто изображен в моей пьесе под именем полковника Алексея Турбина, есть не кто иной, как изображенный в романе полковник Най-Турс, ничего общего с врачом в романе не имеющий.

Значит, или товарищ Орлинский не читал романа, а если читал, тогда он заведомо всю аудиторию вводит в заблуждение.

Я, даже не имея перед собою текста романа, могу доказать, что это одно и то же лицо: фраза, с которой Алексей Турбин умирает, — это есть фраза полковника Най-Турса в романе. Это произошло опять-таки по чисто театральным и глубоко драматургическим соображениям. Два или три лица, в том числе и полковник, были соединены в одно, потому что пьеса может идти только три часа, до трамвая, там нельзя все дать полностью.

Так вот я и выступаю не для дискуссии, а чтобы сказать, что очень часто сообщают сведения неверные. Я ничего не имею против того, чтобы пьесу ругали как угодно, я к этому привык. Но я хотел бы, чтобы сообщали точные сведения. Я утверждаю, что критик Орлинский эпохи тысяча девятьсот восемнадцатого года, которая описана в моей пьесе и в романе, абсолютно не знает.

Дальше опять-таки товарищ Орлинский неверно цитирует мой роман и предъявляет совершенно неприемлемые требования в отношении к пьесе в виде денщиков и прислуги и так далее.

Вот приблизительно все, что я хотел сказать, больше ничего. (Аплодисменты.)



Борис ШРАГИН

СИНЯВСКИЙ — АБРАМА ТЕРЦА

Абрам Терц. Крошка Цорес. Париж, изд-во "Синтаксис", 1980

"..если тут замешано какое-нибудь адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспротивиться".

Э. Т. А. Гофман. "Крошка Цахес"

1

Слепящий блеск словесности. Даже в припадке раздражительности, даже через силу приходится признать, что написано великолепно. Все может герой повести Абрама Терца "Крошка Цорес" Синявский. Слово у него шероховато с поверхности, но не имеет дна.

На первой же страничке: парализованная старуха-алкоголичка Полина Михайловна кричала от пролежней, "в о с с т а н а в л и в а я весь дом". И это деепричастие, употребленное с рассчитанной неправильностью, в о с с т а н а в л и в а е т читательское воображение. Не найти в том доме сострадания, а только мелкую грызню за жалкий покой. Какой-нибудь новый Добролюбов, оттолкнувшись от одного этого слова, мог бы целый памфлет написать о темном царстве, где нет ни луча света. И уже без ненужного размазывания ясно, почему пятилетний Синявский, родившийся в том доме, заболел заиканием до потери речи: бессловесна та среда.

Синявский "Крошка Цорес" наставляет сам себя: "... помни, каждое слово твое должно быть гвоздем, бьющим насквозь". Он не раз без ложной скромности высказывается о творящей мощи своего слова: "Я мог бы построить новый город в два абзаца". Или, допустим, о примечательном шкафике, который достался ему в приданое от феи: "Давайте для начала, для ясности, я его опишу словами, чтобы существовал". И соглашаешься: Синявский не хвастает.

Сюжет "Крошки Цорес" разрешается, как детектив, — непредвиденной развязкой. Но в отличие от детектива, который выпадает из рук, как только разъяснилось, в чем же дело, повесть Абрама Терца, не веря глазам своим, хочется перечитать. И тогда, при первом, втором, третьем чтении — при условии, правда, что читателю удастся попасть в правильный тон и набрести на верный след — раскроется, насколько там все взвешено, выверено, подчинено целому.

Но не меньше вероятно, что об руку с признанием "художественного мастерства" начнет набухать читательское раздражение.

В качестве героя он избрал собственного двойника. Он погружен в себя. Он повествует про то, что ростом не вышел, что видом неказист, что женщины-феи ему не дают, словно сговорились, что стал он невольной причиной безвременной гибели всех пяти своих единоутробных братьев, а за это собственная мать от него отвернулась.

— И поделом, — торопится согласиться читатель. — Ну, неказист; ну, одиночек; ну, не дают. Кому это интересно? И что была за надобность излагать такие пошлости точными словами?

— Уж не числит Абрам Терц нас, читателей, в дураках?

Но — стоп!

Тут, пожалуй, пора спохватиться. Пора осознать, чты мы и на самом деле в западне, которая для нас и расставлена. Мы ведь судим и осуждаем самого автора, не писателя Абрама Терца, а его литературного героя Синявского; судим и осуждаем совсем так же, как все окружающие в книжке. К примеру, фея Дора Александрована в одной из своих приманчивых ипостасей высказывается так: "Всегда у тебя, Синявский, на уме какая-то гадость! Вечно ты что-то выделываешь и выкручиваешь из себя!"

Граница художественной условности в "Крошке Цорес" сломана. Читатели, реальные люди, кто утром завтракает, а к ночи исправно отходит ко сну, оказываются насильственно всунуты вовнутрь гротескного мира "Крошки Цорес". Они в о с т а н а в л и в а ю т с я, как все жильцы того окаянного дома.

2

Литературные красоты "Крошки Цорес" — отнюдь на хвастовство писательской умелостью, не выставка словесной техники. Может быть, сама замордованная русская словесность и есть тут главный герой, а Синявский — так, олицетворение.

Другие персонажи повести — более гармонические, не развоенные и тверже стоящие на ногах — наделены иной лексикой.

Дора Александровна выражается, как и положено нынешним феям: "Ты что? Обалдел?.. Муж — объелся груш!.. Не лапай!.." Или единоутробный брат Синявского Лихошерст Василий — здоровый жеребец-производитель: "А тебя еще не пришибли, заморыш?!.. Ешь — больше вырастешь! Хочешь, я тебе Москву покажу?" Или единоутробный брат — Лихошерст Яков, деловитый: "Понимаю. Экзамены. Семинары. Курсовые работы... О чем у вас курсовая?" А соперник Синявского Михайлов — тот самый, который сделал Доре Александровне ребеночка, — вообще обходится без слов: "Отвесит пиздюлей кому надо и кому не надо — и доволен".

Разве это членораздельная речь? Нет, это — заикание.

Мальчик Синявский тоже, как все, стал заикой, но на беду свою расслышал это и "заклинился на поэзии". Потом явилась на его мольбы фея Дора Александровна — докторша, сама заика. Но была с ней женская сумочка, которая пахла духами. В этом и было чудо. Литературная умелость отделила Синявского от окружающих, превратила его в их глазах в отталкивающего уродца, в исчадие зла. Слово — средство взаимного понимания — излишне в немом и разобщенном мире.

Много позднее, уже ближе к финалу, вновь встретив фею Дору Александровну, на сей раз продавщицу бакалейного отдела большого московского гастронома, Синявский будет просить: "нельзя ли... вернуть, если надо, назад мое старое заикание, мою детскую немоту и бессилие, только чтобы я жил не тужил, как все нормальные люди, никому не причиняя сугубых неприятностей?.." Оказалось, что поздно. Круг судьбы Синявского замкнулся.

3

Название повести-притчи Абрама Терца, как и все у него, многосмысленно. Прозвище "Цорес" связывает ее героя с судьбами еврейства. Как и давно принятый Синявским псевдоним "Абрам Терц", оно означает груз необъяснимого изгойства. Вероятно, согласно мировидению Терца, всякий писатель — по крайней мере русский — в каком-то смысле еврей.

Но, кроме того название "Крошка Цорес" напоминает по звучанию сказку Гофмана "Крошка Цахес".

Тут можно указать на поразительно наглядную иллюстрацию того, как понимают — или, вернее сказать, как не понимают — "Крошку Цорес" даже, казалось бы, вполне подготовленные читатели. В газете "Русская мысль" от 18 сентября прошлого года появились сразу две рецензии — сдержанные, но отчетливо недоброжелательные. В одной из них, Александра Бахраха, можно прочесть: "Свою повесть Терц посвятил "светлой памяти

Э. Т. А. Гофмана” и заглавие избрал якобы по созвучию с гофмановской ”Крошкой Цахес”. Между тем, надо сказать, что в генеалогии всех терцовских писаний имя романтического Гофмана едва ли может фигурировать”.

У Гофмана жалостливая фея наградила уroda и бездарь по прозванию Циннобер силой присваивать себе красоту, достоинство и таланты окружающих; у Терца достоинство и талант героя воспринимаются окружающими как бездарность и уродство. В ”Крошке Цорес”, как и в ”Крошке Цахес”, существенно извечное превращение красоты в безобразии и обратно, зыбкость границ между ними, что, как известно, составляет суть романтической иронии. У Терца, как и Гофмана, фантастическое берется всерьез настолько, что читатель теряется, если упорствует остаться при своем куцем здравом смысле.

Короче, произведение Терца отчетливо представляет собой вариации на сказку Гофмана. В этой сказке — ключ к ее верному прочтению. Ее не воспримешь, она распадется, если не держать в уме эту сказку, как не понять, допустим, ”Кармен-сюиту” Щедрина, не помня оперы Бизе.

С Александром Бахрахом приключилось какое-то явное недоразумение. Он не заметил иронии. Он всерьез и с излишней торопливостью согласился, что Синявский действительно — отталкивающее нравственное чудовище. Тогда, конечно, сродства между Гофманом и Терцем не усмотреть.

Магия искусства сработала: мы видим, как люди могут быть слепы и глухи к нему.

4

Вот как передает сюжет ”Крошки Цорес” Александр Бахрах: ”Герой повести Терца — Синявский, небольшой человек, не слишком симпатичный, мало чем выделяющийся, наделен с детства дефектами речи, приводящими его к мучительному заиканию. Он взмолился к матери, чтобы она привела к нему добрую фею, которая выполнила бы его затаенное желание: научиться говорить как все (!?)... Далее расплывчатая фабула повести зиждится на том, что Синявский, без вины виноватый и без малейшего умысла — подобно трагически предначертанной судьбе царя Эдипа, — становится причиной гибели своих пяти единоутробных братьев, каждый из которых занимал в Советском Союзе завидный пост”.

Пересказанное составляет всего лишь завязку ”Крошки Цорес”. Развязку Александр Бахрах таинственным образом проглядел. При такой аналитической методе, какая угодно фабула покажется расплывчатой.

Другой рецензент из "Русской мысли" — Кирилл Померанцев, явно дочитал "Крошку Цорес" до конца, но предпочел отложить разбор развязки ее до другого раза: "Дальше начинается фантасмагория (после смерти пятого Владимира)... Но о ней (о последних двадцати с малым страницах) следовало написать отдельно, тем более, что написана она, пусть не так убедительно, но с обычным для Терца-Синявского блеском, как клещами держащим читателя до последней точки "Крошки Цорес". Замечу, что "двадцать с малым страниц" — это примерно четверть всей книжки.

И Александр Бахрах, и Кирилл Померанцев — вполне компетентные критики. Намерения их — вне подозрений. В их невольной читательской слепоте есть нечто онтологическое — борьба красоты и безобразия, добра и зла за человеческое сердце. И необъяснимая, но добросовестная победа недобрых начал.

5

Синявский, как он изображен Абрамом Терцем, был младшим, шестым сыном в своей семье. Пятеро старших, по фамилии Лихошерсты — нормальные, преуспевающие люди. У братьев — общая мать, но разные отцы. Про своего отца Синявский ничего не знает. На просьбы сына рассказать о нем хоть что-то мать отвечает решительным отказом. Братья Лихошерсты гибнут один за другим при странном стечении обстоятельств и каждый раз виновником как будто бы оказывается их непутевый сводный брат Синявский.

Так прочли "Крошку Цорес" оба рецензента из "Русской мысли". За исключением маленькой поправки, которая содержится в словах — как будто бы.

Вину за гибель братьев Синявский взваливает на себя сам. Никакой человеческий суд не нашел бы его виновным. У него — гипертрофия совести. "Я старался лишний раз не высовываться из дому, не пересекаться, сколько возможно с себе подобными. Проехать в трамвае уже было для меня роскошью. Законно: кому я принес хоть какое-нибудь добро? Никогда и никому. И мир без меня улучшился бы — не будь моего вмешательства, не будь моего тайного к нему участия и сострадания, работающего, как жало".

Синявский у Абрама Терца не дает себе поблажек, отталкивает самооправдания. Любя людей, сострадая им, он обрекает себя на полудобровольное одиночество, чтобы невзначай кому-нибудь не навредить. Он без конца присматривается к подспудным движениям своей души, чтобы не позволить себе сбежать от ответственности. Сознание собственной — и вообще челове-

ческой — греховности одолевает его. "Чем хотите, — размышляет он, — но каждый из нас мечтает оправдаться — трудами, детьми, книгами. А как посмотришь на человека в итоге — он перед смертью остается ни с чем. С одним только страхом в душе и с единственной надеждой на милость: согрешил..."

Еще чуть-чуть — и неказистый "крошка Цорес" превратился бы в Саванаролу, обличающего подлость человечества. Но он ни разу не перешел грани, ибо неизменно начинает с себя. У него нет причин любить своих братьев Лихошерстов. Но чувства антипатии, но сознание отчужденности не переходят у него в злые поступки. Зла он никогда и никому не желал. Если какое-либо зло — допустим, случайная гибель братьев — и творится помимо его воли, "крошка Цорес" немедленно видит причину беды в самом себе, ни на кого ее перепебалагая: "Как еще Господь меня терпит?.. Нет, таких, как я, надо давить автомобилем..."

"Крошка Цорес" Абрама Терца — как плач библейского Иова. С той только разницей, что герой этой повести-притчи не позволяет себе ни мгновения бунта или гордыни, не ропщет, не переступает долга смирения.

И вот я снова обращаюсь к рецензиям из "Русской мысли". В них я вижу, повторяю, печатно зафиксированную, высказанную без переизбытка личной злобности, без грубых передергиваний и наложения позорящих клейм, но тем не менее превратную читательскую реакцию не только на "Крошку Цорес", не только на Абрама Терца как писателя или на Синявского как его главного героя, но и на самую литературную словесность.

Помнится, в экспозиции Третьяковской галереи был выставлен рисунок, наполовину прикрытый подвернувшейся папиросной бумагой. Первое желание зрителя — отдернуть, чтобы лучше разглядеть нарисованное. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что полупрозрачная бумага нарисована. Так художник демонстрировал свое почти нечеловеческое владение карандашом. Нечто подобное есть и в "Крошке Цорес": превратное читательское восприятие предлагается писателем. Оно само — важнейший срез реальности, о которой он повествует. Это — не игра в фантомы, а трагедия жизни, искусства, судьбы художника.

Кирилл Померанцев, например, бичует автора с позиций христианства. Непонятно, почему он привязал философию "Крошки Цорес" к Фрейд и Юнг, к темным движениям авторского подсознания. Моральные терзания и покаянные порывы героя так и остались для рецензента как бы прикрытыми умело нарисованной папиросной бумагой. Он сразу, с ходу поверил, будто Синявский, действительно, повинен и в гибели братьев, и во многом другом. А поверив, сравнил Синявского с наизнанку

вывернутым Аполлоном Бельведерским, который "предстал перед нами во всей своей интравертной отвратительности, с потрохами и их содержимым". Надо ли напоминать, что именно составляет содержимое потрохов?

Одни усматривают источник мирового зла в себе, другие — в других. Одни каются, другие спешат воспользоваться чужим покаянием в целях самоутверждения. Одни казнятся, другие казнят. Так и в христианстве есть святые, а есть и инквизиторы.

Отчуждение людей от членораздельного слова и их нравственная глухота — две стороны одного и того же динария кесарю.

6

Серен Киркегор писал: "Что такое поэт? Несчастный, переживающий тяжкие душевные муки, вопли и стоны которого превращаются на его устах в дивную музыку... И люди толпятся вокруг поэта, повторяя: "пой, пой еще!", иначе говоря — пусть душа твоя терзается муками, лишь бы вопль, исходящий из уст твоих, по-прежнему волновал и улаждал нас своей дивной гармонией".

Киркегор противопоставлял эстетике — этику, чувственности — моральный ригоризм. Гармония, музыка, красота предстали у него как нечто от лукавого, как фальшивые изящные мостики, проложенные над пустотами бытия. Но такого разоблачения заслуживали скорее известного сорта эстетические теории, чем сам предмет, о котором они судили и рядили. Поэтическое слово говорит о главном и не разменивается на мелочи. Оно, действительно, как гвоздь — бьет насквозь, каждый раз метя в наши сердца. Поэзия — всегда боль и стон. Но с таким же постоянством люди бегут от нее. И тем отчаяннее, чем больше читающая публика превращается в толпу.

Поэтов не хотят слышать, изобретая для этого бесконечно разнообразные уловки. Когда нельзя не слышать, поэтов стараются перекричать бранью, заткнуть им глотку, чтобы молчали. Их ненавидят. Их травят. Их убивают. Напоминания об этом стали почти банальностью, но так и не переменили сути тела.

Синявский вспоминает в "Крошке Цорес" из своего детства, что братья Кузнецовы взяли на себя роль опекунов параличной старухи, "зарясь на отдельную комнату". Ну зачем понадобилась ему эта отвратительная подробность! Без нее братья Кузнецовы могли быть восприняты как достойные члены жилищного коллектива и вызвать усиление неизбывной добротой русского человека. Или если уж нельзя было иначе, автор мог бы вспомнить про жилищный кризис в Советском Союзе и обвинить власти, которые вынуждают людей на такие уловки ради

жалкой комнаты. Или на худой конец он мог бы отделать этих братьев Кузнецовых в фельетонном духе, и мы бы с радостью погневались вместе с автором по поводу и х недостойного поведения. Синявский, правда, не хотел ничего большего, чем выразить свой детский ужас перед раскрывшимися перед ним безднами человеческой природы — и, может быть, прежде всего своей собственной. Но к чему нам все это? Помогает ли это жить?

Какая омерзительная личность этот Синявский! Не правда ли?

У гонителей — безошибочное эстетическое чутье. Убили Бабея и Мандельштама. Затравили Булгакова, Платонова и Зошенко. Ахматову и Пастернака окружили поношениями. И не свалить тут все на власть. Ненависть была истовой, искренней, массовой. Ненавидели за "непонятность", за "клевету" на человека. Остальные безмолвствовали. Почему? Потому, что "не наше дело".

Длинный список был открыт теми веселыми шутниками, которые именно Пушкину решили послать оскорбительную анонимочку.

Правда, художников слова также и чтут. Но предпочтительно мертвых, когда высказанная правда может быть отнесена либо к прошлому, либо к вечности, равно удаленным от нас, простых смертных. И еще: сравнением с мертвыми поэтами особенно с руки унижать живых.

"Крошка Цорес" Абрама Терца — обо все об этом.

7

"Фантасмагория...", на "последних двадцати с малым страницах...", "не так убедительно, но с обычным для Синявского-Терца блеском"... Не берусь их пересказывать К чему подстрочник, когда есть оригинал?

За общей трапезой на одной стороне — пять братьев Лихошерстов, на другой — Синявский с феей Дорой Александровной.

"— Так что, они — живы? — шепчу. — Живы и не убиты? И значит, я не виноват?..

— Какое это имеет значение? — отвечает. — Виноват, не виноват? Все в чем-то виновны..."

Как будто бы оказывается, будто не братья мертвы, а он, Синявский. Умер многократно. И в море утонул по пьянке, и от раннего инфаркта, и под автобус попал. А главное, повторяется рефреном — "сгнил на Колыме".

Братья, заметьте, не страдают, не терзаются укорами совести. По-ихнему, так и быть должно.

В конце концов, не так уж важно, если думать о бессмерт-

ной человеческой душе, о борьбе в ней между Богом и дьяволом, кто жив, а кто умер.

Гораздо важнее понять, кто такие Синявский и его единоутробные братья. Герой повести как бы невзначай проговаривается: "Сойдя с автобуса, я брел по обыкновению вверх по Хлебному, к дому № 9, откуда меня изъяли однажды пятьдесят лет назад и где по бывшей прописке проживали собака и мальчик, едва родившийся от вдовы, с которой мы развелись". Позвольте! Так это же д р у г о й Синявский. Не сын, а отец. Почему же он по-прежнему высказывается от первого лица?

А разве многократные кончины "крошки Цорес" вас не смутили?

Стало быть, Синявских — много, но и Лихошерстов — тоже, гораздо больше. У них — общая мать, но разная судьба. Они различны, раздельны, как жизнь и смерть. Синявские берут на себя вину за общую погибель. А Лихошерсты, соглашаясь, ненавидят и убивают Синявских. Что же касается матери, то она отступает от своих младших сыновей, обрекая их на одинокую погибель.

Можно ли сказать яснее?

Допустим, Синявские — это писатели земли русской; Лихошерсты — это русское общество. А кто их общая мать — тоже не вызывает сомнений.

Но "Крошка Цорес" — это не басня, которая поддается однозначному толкованию и диктует моралистический вывод.

"Крошка Цорес" — это притча, и символы ее многозначны, как жизнь.

Юрий ИВАСК

РОЗАНОВ В ИЗОБРАЖЕНИИ СИНЯВСКОГО

А.Синявский. "Опавшие листья" Розанова. Париж, изд-во "Синтаксис", 1983

Розанов был достаточно известен и до революции, вообще при жизни (он скончался в январе 1919 г. в Троице-Сергиевской Лавре — переименованной в Загорск). Правда, известность эта была отчасти скандальная. В нем видели реакционера с чертами юродивого или двурушника — Иудушку Головлева, по словам Владимира Соловьева. Но символисты, Мережковский или Андрей Белый, а также Бердяев, очень даже принимали Розанова всерьез, считали его гением — новым совопросником мира сего...

Троцкий Розанова бранил, но как-то с ним считался. А при Сталине на него наложили запрет и читатели начали забывать... В Зарубежной России переиздали "Уединенное", часто о нем писали и продолжали спорить. В 1956 г. изд-во имени Чехова выпустило книгу Розанова "Избранное", под моей редакцией и с моим предисловием (на 52 страницы). Мои читатели в России не раз писали мне: я для них открыл запрещенного Розанова, подробно его прокомментировал, и один из них даже сказал: читая

моего "избранного" Розанова, он вторично родился! Неприлично ссылаться на самого себя! Но в данном случае это необходимо. Сиявянский иногда высказывает суждения, совпадающие с моими или же других критиков, например, на Г.В. Адамовича, Б.А. Филиппова, но нигде о них не упоминает. Правда, он все-таки уделил некоторое внимание позорной черносотенной книге о Розанове М.М. Спасовского! Им упомянуты Зинаида Гиппиус, Марина Цветаева, Бердяев, Шестов, но поверхностно. Не могу утверждать, что Сиявянский что-то прямо заимствовал у неупомянутых им истолкователей Розанова, может быть, только в чем-то совпадал с ними, не читая. Между тем, у него было достаточно времени, чтобы ознакомиться с литературой первой эмиграции, которой вся вообще "Третья волна" пренебрегает.

Книга Сиявянского написана в другом ключе, чем его книги о Пушкине и Гоголе. Нельзя сомневаться, что Сиявянский Розанова ценит и любит, и при этом, обходится безо всякой идеализации, а также без академического педантизма, но и без "болтовни", как в книге о Пушкине, которого Сиявянский тоже, по-видимому, любит, но написал о нем разнузданно, ернически, по-ноздревски (или же, как сказал Р.Б. Гуль в "Новом журнале", по-хамски).

Сиявянский правильно утверждает; по своей дерзости (дерзновенности), крайности и глобальности, при всей их несхожести, Розанов чем-то походит на "воскресителя" Н.Ф. Федорова. Вообще, в наше время уже нельзя сомневаться: Розанов – это мировая литература, как Достоевский, Толстой, Чехов и за последние годы о Розанове немало написано по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски (и переводили на эти языки).

Сиявянский достаточно объективно излагает антихристианство Розанова, отрицание им самого Христа в "Земном лике" и "Апокалипсисе нашего времени", но и знает о его метаниях между Ветхим и Новым Заветами, о порывах ко Христу. На последних страницах своей монографии Сиявянский очень уж решительно провозглашает Розанова апостолом Антихриста, и у читателя может сложиться неправильное представление о Розанове. Между тем, не ясно ли, что Розанов, по самому своему характеру, не мог сказать какое-то свое последнее слово. Не задолго до смерти Василий Васильич причащался, его соборовали, но живи он дольше – мог бы опять вернуться к осуждению будто бы преимущественно монашеской христианской религии. Здесь было бы уместно Сиявяскому выслушать тех друзей Розанова – христиан "нового религиозного сознания" (Бердяева, Булгакова и многих других), утверждавших: христианство совсем не сводится к одному монастырю. Есть и христианство брака в Кане Галилейской (о нем пророчил еще Достоевский в "Братьях Карамазовых"). Это осветило бы мятущегося Розанова в правильной перспективе своей эпохи да и нашего времени.

Сиявянский отмечает эгоцентризм Розанова. Для него ведь вся всемирная история, все религии – часть его собственной биографии. Пожалуй, до Розанова никто так не ощущал. Об этом тоже писалось. Я назвал Розанова, его лирического героя в "Уединенном" и "Опавших листьях" (да и в других книгах), одним из самых монументальных героев литературы, подобных Дон Кихоту или Гамлету, Обломову или Чичикову. Себя самого Василий Васильич считал маленьким человеком (человечком), а в своих

фрагментарных записях он вырастает в гиганта... И, при всей своей непосредственности изложения и даже ненависти к литературе, он, несомненно, литературный герой (что отметил Шкловский, и его Синявский упоминает).

Удачное словечко Синявского – "Опавшие листья" да и "Уединенное" – это "лирическая газета". Но, конечно, такого вот газетчика с мировыми вопросами и запросами еще никогда не было. Остроумно и верно замечание Синявского об "остросюжетности" Розанова (как и Достоевского). Их, действительно, интересно читать, как детективные романы (которых Василий Васильич любил...). Но оба они "гонялись" не за преступником, а за Богом...

Верно, хотя опять-таки не ново то, что Синявский говорит о колебаниях Розанова между верхами и низами, между небом и землей. Был он и задумчивый странник, как его называла Зинаида Гиппиус (и ее Синявский цитирует), но и обыватель, даже мешанин.

Здесь уместно упомянуть об одной из самых замечательных книг, написанных за последние 40 лет о литературе, – это "Мемесис" профессора Эриха Ауербаха, немецкого еврея, бежавшего из гитлеровской Германии. А умер он в США, где читал лекции в Иельском университете. "Мимесис" переведен и на русский язык (издан с предисловием Г.М.Фридлендера в 1976 г.). Главная мысль Ауербаха: в европейской литературе происходила постоянная борьба между классической традицией и между тем, что он назвал евангельским реализмом. Ведь Спаситель и Апостолы, писал Ауербах, были простые рыбаки и для классических эллинов они годились бы только в герои комедии, тогда как в трагедии у них участвовали преимущественно боги и царь. Несколько страниц в "Мимесисе" уделены и русской литературе, в которой Ауербах видит полное торжество евангельского реализма.

– Ведь выдающихся классиков у вас не было, – сказал он мне, – разве что Пушкин, и мне непонятно его появление в России!

Это евангельский реализм Розанов довел до крайности, до самых парадоксальных утверждений. Ему хотелось войти в Царствие Небесное с носовым платком – и именно так называется восьмая глава в книге Синявского (и она, пожалуй, лучшая). Старая и даже вечная тема: одухотворение земного небом, рай на земле. А тема Розанова – тоже вечная, но реже обсуждавшаяся, хотя и многим близкая: "оземление" небесного. Ведь Василию Васильичу хотелось курить там Жуков табак! Эмоциональность Розанова осуждал наш столп православного богословия о. Георгий Флоровский, который, однако, очень ценил Розанова – мастера языка. И это он сказал: "Розанов не слеп к религии, но слеп в религии..." Вообще же нельзя обходиться без эмоций, как и без "интеллигенций". Розанову да и не ему одному, не хочется предавать наши бедные и чуждые радости, хотя бы прославленный Васильем Васильичем малосольный огурец с налипшими на нем усиками укропа. Может быть, амброзия вкуснее сушеных грибов, тоже воспетых Розановым (в прозе...). Все-же хочется очень по-розановски крикнуть: в не будешь ли ты на небе подлецом, если побрезгуешь там нашими огурчиками, грибами!

Проницательный профессор Ренато Поджоли (итальянец, преподававший в Харварде) превозносил Розанова за то, что он после корнелев-

ской "Великой души", после шиллеровской "Прекрасной души" ввел в мировую литературу "Душонку", и тем самым, несомненно увеличил свой глобальный вклад, с чем бы, вероятно, согласился Синявский, если бы прочел монографию Поджоли. Значительные мысли о Розанове и у профессора Генриха Штаммлера, составившего обширную библиографию всего того, что Розанов написал и того, что о нем писали (включая эмигрантов и иностранцев). Он же напоминал о коротком "романе" Д.Х.Лоренса с Розановым.

Розановская Душонка появилась и в поэзии, например у Игоря Чиннова, который горестно вздыхает в стихах:

Приучай, что придется расстаться,
Душонка, Психея... (Метафоры).

У него же:

Захотелось душонке понежиться –
Потому что еще мы не при смерти,
Далеко до зубовного скрежета... (Партитура).

У меня тоже ожила душонка в стихотворении, посвященном Розанову:

Что дух? И что душа? Милей душонка.

Ее чистилище: седьмой полук.

Ее благословение: иконка.

Что далее: как будто невдомек... (цикл "Я – мещанин").

Синявский тоже творчески встретился с Розановым. В книге "Мысли врасплох" до и в "Голосе из хора" иногда слышится шелест розановского листопада. Но это не подражание, хотя бы уж потому, что Розанову подражать нельзя. А вдохновляет он многих. Так, есть розановщина и в поэзии сажать нельзя. А вдохновляет он многих. Так, есть розановщина и в поэзии самого значительного эмигрантского поэта – Георгия Иванова.

Синявский (с оговорками) сопоставляет Розанова, приравнявшего литературу собственным штанам, с этими стихами Маяковского: Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего... А профессор Анна Лиза Крон в английской монографии попыталась (и тоже с оговорками) сблизить его и с другими футуристами – с их культом самовитого слова (у Хлебникова, у Крученых). Есть, конечно, и большая разница: Розанов обновлял язык словечками, иногда и неологизмами, но языковыми экспериментами не занимался (как Хлебников или Крученых). Я сопоставлял Розанова с Прустом и Джойсом. Общее у них: дробность анализа души со всеми ее мельчайшими оттенками, но у француза и ирландца нет непосредственности Розанова, хотя (я повторяю) при всей своей спонтанности, Розанов умел свой "хаос" литературно организовать.

Синявский правильно разобрался в трудном для объективного понимания Розанова еврейском вопросе. Была у Василья Васильича и ненависть, и любовь к евреям, как и к христианам, которых он тоже то ненавидел, то любил. Добавлю: по самому своему духовному складу был он страстным иудеем, как Достоевский (иногда тоже впадавший в антисемитизм), а не прохладным эллином, подобно Пушкину или Толстому. Это отметила и Марина Цветаева. Понял Синявский и то, что Розанов, доходивший иногда до ненависти к русским, до отвращения, не терпел, когда их

ругают иностранцы, и признавался в своей страстной любви к России: "до истязания души своей"... А сам Снявский как-то обозвал Россию сухой — и не без злорадства, с холодной усмешкой-ухмылкой иноземца (мог бы сказать Василий Васильич).

Снявский верно угадал в реакционере Розанове русского бунтовщика, зачастую идущего против течения. Он сочувственно цитирует это место из "Опавших листьев": "Быть бунтовщиком в России — значит пойти и отстоять обедню, и, наконец, "поступить как Сенька Разин" — это дать в морду Михайловскому с его 2-мя именинами". Поясню: Николай Константинович Михайловский, один из ненавистных Розанову вершителей дум русской интеллигенции — идеолог народников. От себя замечу: а в наше время бунтовать в эмиграции — это любить Россию, не вешать собак на всех русских царях и давать положительную оценку старой эмиграции!..

Снявский, конечно, не мог обойти предсмертную эпистолярную дружбу уже старого Константина Леонтьева с еще молодым Розановым. (Письма "К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову", с комментариями последнего, были изданы в прошлом году Б.А. Филипповым, и тут же отмечу, что его "Избранное" Розанова куда полнее моего). Понимание Снявским Леонтьева кажется мне поверхностным. Неверно, что у Леонтьева (как думает Снявский, да и не он один) много общего с Ницше. Леонтьев совсем не стремился быть по ту сторону добра и зла, как автор "Заратустры", а хотел, чтобы добро и зло постоянно друг с другом воевали, и в этой борьбе ему мерещилась красота.

Снявский заметил наличие многочисленных кавычек и курсивов у Розанова. Они были нужны ему для передачи оттенков слов, интонаций и, (чего Снявский не знает), Розанов здесь следовал Леонтьеву (о чем я писал в моей монографии о Леонтьеве).

Подводя итоги, Снявский пишет; "... Розанов желал унежить и расширить душу читателя в восприятии мира и Бога. Розанов желал своими сочинениями изменить самый состав человеческой души для более глубокого ее укоренения в мире и Боге. И в этом смысле Достоевский был для него образцом". Я писал о том же (в "Русском альманахе", 1981 г,

Подводя итоги, Снявский пишет; "... Розанов желал унежить и расширить душу читателя в восприятии мира и Бога. Розанов желал своими сочинениями изменить самый состав человеческой души для более глубокого ее укоренения в мире и Боге. И в этом смысле Достоевский был для него образцом". Я писал о том же (в "Русском альманахе", 1981 г, стр. 203): "Привлекает его (Розанова) теплота, интимность: умел он унежить в ласковых фамильярных объятиях..." Вообще Снявский часто повторяет то, что было уже сказано о Розанове, и он недостаточно осведомлен о критике розановского анти-христианства философами, богословами, хотя бы в "Русской идее" Н.А. Бердяева, в "Путиях русского богословия" о. Георгия Флоровского, в монументальной "Г. истории русской философии" о. Василия Зеньковского. Все же, нельзя не ценить живое слово Снявского о еще живом Розанове... тогда как в наше время слишком часто слышишь одни мертвые слова литературоведов...

В прежних книгах Снявского не хватало общей культурной ориентации. Так, в "Голосе из хора" он почему-то утверждал: католичество от Бога-Отца, а протестантизм отдает предпочтение Богу-Сыну (246)... Как это неверно. Если уж размышлять об этом, то скорее наоборот: протестан-

ты, Лютер, в особенности Кальвин, опираются на Ветхий Завет сурового Иеговы, а католики, как и православные, хотя и они грозили небесными карами и сами карали (инквизиция), исходят из Нового Завета Христа Спасителя. Встречались у Синявского и такие ляпсусы: П.Н. Млюков – социалист (в английском очерке о будто бы "опасном национализме Солженицына"). Но таких несуразностей в "Книге о Розанове" я не заметил.

Насколько нам известно, в России пишется новый и очень обстоятельный труд о Розанове и, при этом, с учетом всего того, что было написано о нем. Но немало ценного и в книге А.Д. Синявского.

Юлия ТРОЛЛЬ

"КРОЛИКИ И УДАВЫ" ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Фазиль Искандер. Кролики и удавы. Эн-Арбор, изд-во "Ардис", 1979

Имя Фазиль Искандера хорошо известно читателям как в Советском Союзе, так и на Западе. Его роман "Сандро из Чегема", опубликованный полностью издательством "Ардис" в 1979 году, принес Искандеру славу одного из самых крупных современных русских писателей-прозаиков. Хотя Искандер и моделирует свои жизненные концепции и миропонимание на исторических и бытовых примерах жизни маленькой Абхазии, всякому читателю ясно, что философия автора простирается намного дальше. Фазиль Искандер далек от конформизма, соглашательства и единомыслия, поэтому, чтобы избежать оков соцреализма, он вынужден прибегать к иносказательности и завуалированию. В СССР существует солидный пласт бездомной или самиздатской литературы, так как многие писатели-нонконформисты заведомо знают, что им не перескочить рамки "той муторной инерции, – как было сказано в предисловии в альманахе "Метрополь", – которая существует в советских журналах и издательствах". Однако, несмотря на существующую в Советском Союзе боязнь и неприязнь всякой непохожести в литературе, произведения Фазили Искандера, к счастью, выходят в советских изданиях. Впрочем, его "Кролики и удавы", недавно выпущенные издательством "Ардис", вряд ли когда-либо будут опубликованы на родине автора. Книга "Кролики и удавы", несмотря на иносказательность, совершенно лишена камуфляжа, а потому с позиции апологетов и блюстителей советских догматов, она опасна и вредна. Книга эта выходит за рамки советской литературы также и по своим художественным качествам, и по тому глубокому философскому смыслу, который в ней заложен. Трудно определить ее жанр – это не басня, и не пародия, и не памфлет, а скорее философская сказка с точной проекцией на современную действительность. Фабулу этой "сказки" составляет печальная история одного Задумавшегося кролика, посмеявшего усомниться в силе гипноза удавов.

Задумавшийся кролик приходит к выводу, что гипноз удавов не что иное, как страх кроликов. "Теперь я твердо знаю, – заявляет Задумавшийся своим собратьям, – их гипноз – это наш страх, наш страх – это их гипноз!" После такого ошеломляющего заявления Задумавшегося, властям в той "южно-преюжной стране", где происходит действие романа, становится ясно, что "разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть...". Держать племя кроликов в достаточно гибкой

покорности Королю помогала, – кроме внушенного гипнозом страха, – великая мечта о цветной капусте. "Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные Королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, Король, прибегал к последнему излюбленному средству, и, конечно, этим средством была цветная капуста.

– Да, да, – говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодные стремления, – ваши стремления правильны, но несвоевременны, потому что именно сейчас, когда опыты по выведению цветной капусты так близки к завершению..."

После своего смелого открытия, что гипноз удавов не что иное, как страх кроликов, Задумавшийся приходит к другому – очень печальному – выводу: "Я всю силу своего ума," – говорит он своему последователю и ученику, кролику по имени Возжаждавший, – "тратил на изучение удавов, но о том, что сами братья-кролики еще не подготовлены жить правдой, я не знал..."

Именно в силу этой психологии кроликов, в силу их неподготовленности жить правдой, великое открытие Задумавшегося приводит не к освобождению от удавов, а лишь к смене тактики пожирания кроликов – если раньше, при гипнозе, удавы заглатывали кроликов живьем, то теперь, когда гипнотический период кончился, удавы стали душить кроликов витками своих колец. Вряд ли кто из читателей Искандера не обнаружит аналогии в этой метаморфозе власти удавов с метаморфозой сталинизма.

Книга "Кролики и удавы" – это амальгама иронии и грусти, анекдотного остроумия и философских максим, то есть конкретных формул этических принципов. Примечательно, что Фазиль Искандер, несмотря на выбранную им форму хитроумной сказки про животных, не маскирует тем самым свои взгляды, а лишь придает им фольклорно-наглядный, поучительный характер, как "сказка ложь, да в ней намек, добру молодцу – урок." Крамольность же, по советским понятиям, этой книги вопиюще откровенна. Чего стоит, например, такой афоризм Задумавшегося: "Победа – это истина негодяев. Там, где много говорят о победах, там или забыли истину, или прячутся от нее". В советской терминологии слово "победа" неразрывно связано со словом "коммунизм". "Победа коммунизма неизбежна" – главный лозунг страны Советов. Поэтому любому ясно, что имеет в виду Искандер, когда он говорит: "Победа – это истина негодяев".

Когда замечательный драматург-сказочник Евгений Шварц написал пьесу "Дракон", где образ "старика Дракоши" легко можно трактовать как беспощадную сатиру на Сталина, советские критики перенесли акцент на антифашистскую и антивоенную направленность, которая якобы выходит из подтекста пьесы. Смягчить звук антисоветской направленности "Кроликов и удавов" очень трудно, если не невозможно, так как эта "направленность" выходит не из подтекста, а заложена в самом тексте. Например, когда Король кроликов выступает перед своими подданными, его речь прерывают "бешеные аплодисменты Допущенных к столу и стремящихся быть Допущенными". "По какой-то странной ошибке, – продолжает Искандер, – позднее во всех отчетах об этом собрании эти аплодисменты были названы "переходящими во всеобщую овацию". Комментарий, как говорится, к этой цитате не требуются, ибо в ней нет намека, а только открытый текст. Никакого подтекста нет и в речи Возжаждавшего кролика, который сказал своим собратьям, что "надо, наконец, восполь-

зоваться кроличьим законом, которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего Короля”.

Кроме положительных героев – кроликов Задумавшегося и Возжаждавшего – в книге есть много и других интересных и ярких аллегорично-реалистических образов. Реалистических – потому, что Фазиль Искандер не очень-то старается упрятать прообразы своих сказочных персонажей под аллегорической маской. Так, например, один из его героев – кролик Поэт, хотя и является как бы собирательным образом придворного поэта, в основе своей имеет конкретные черты и даже биографические факты пролетарского поэта Максима Горького. Несомненно, Фазиль Искандер читал мемуары Владислава Ходасевича. Описание Ходасевичем Максима Горького не только перекликается, но чуть ли не цитируется Фазилем Искандером, когда он описывает судьбу и внутренние душевные противоречия своего героя кролика Поэта. Искандер пишет: “В характере Поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями...

Поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил горевестников. Увидит буревестника – воспоеет. Увидит горевестника – восплачет. И то, и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников”. Благодаря своей безупречной службе Королю кролик Поэт ожидал получить звание первого королевского Поэта. “Такое звание при жизни, – поясняет Искандер, – ему ничего не давало, потому что у него уже было все, но после смерти ему давало право на захоронение в Королевском Пантеоне среди самых почетных кроликов королевства”. У Ходасевича же о Горьком сказано, что “двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью” сочеталась с явным желанием пойти на сближение с этой властью: “Ему хотелось дать себя обмануть... потому что какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла обеспечить ему славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в кремлевской стене для его урны с прахом”. Более того, – Ходасевич пишет, что сын Горького опекался лично Феликсом Дзержинским и служил в Чека, а у Искандера сын Поэта кролика был работником Королевской охраны, и как кролик, “приобретенный к тайнам охраны, не имел права иметь родственников, удаленных или тем более добровольно удалившихся за границу Двора”.

Сказка “Кролики и удавы” заканчивается вопреки канону “стали жить-поживать и добра наживать” – как обычно заканчиваются все сказки – на грустной ноте: самопожертвование Задумавшегося ничего по существу не изменило в королевстве кроликов, не подготовленных жить правдой. В авторском заключении Искандер пишет: “Я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнеют. А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кроликов не так уж плохо... я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь”.

Ни один философ, если он не шарлатан, не изобрел еще рецепта панацеи. Так и Фазиль Искандер не дает никаких рецептов перестройки государства кроликов и удавов. Его сказка – лишь печальный документ советской эпохи.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Осип МАНДЕЛЬШТАМ (1891—1938) — крупнейший русский поэт XX в.
Серафима ПОЛЯНИНА (псевдоним) — ученый-литературовед, живет в СССР.

Анна АХМАТОВА (1889—1966) — крупнейшая русская поэтесса XX в.

Борис ПАСТЕРНАК (1890—1960) — крупнейший русский поэт XX в.

Жозефина ПАСТЕРНАК — поэтесса. Сестра Б.Пастернака, хранитель семейного архива. Ее воспоминания см. в следующем номере Альманаха "Часть речи" (№4-5).

Марина ЦВЕТАЕВА (1892—1941) — крупнейшая русская поэтесса XX в.

Валентина ПОЛУХИНА — литературовед, профессор Кильского ун-та (Англия), специалист по русской и советской литературе, автор исследования о творчестве И.Бродского.

Исайя БЕРЛИН (р.1909 г.) — философ, эссеист и историк культуры. Профессор Оксфордского университета. Автор исследований о русской культуре.

Иосиф БРОДСКИЙ (р.1940) — поэт, эссеист. В СССР практически не издавался, но был широко известен в самиздате. Первая книга "Стихотворения и поэмы" вышла в Нью-Йорке в 1965 г. С 1972 г. живет в США, печатается в зарубежных русских изданиях, в последние годы все чаще выступает с критической и очерковой прозой на английском языке. Стихи Бродского переведены на многие европейские языки. Основные сборники: "Остановка в пустыне" (изд-во им.Чехова, 1972), "Конец прекрасной эпохи" ("Ардис", 1977), "Часть речи" ("Ардис", 1977). Один из разделов альманаха "Часть речи" (изд-во "Серебряный век", 1980) посвящен Бродскому. Предлагаемый в этом альманахе цикл стихов впервые публикуется полностью.

Л.ЛОСЕВ — см. Альманах "Часть речи" № 1.

Белла АХМАДУЛИНА (р.1937) — современная поэтесса. В СССР вышло несколько ее поэтических сборников, за рубежом в изд-ве "Посев" — однотомник (1972). Стихотворение в Альманахе, публикуется впервые.

Булат ОКУДЖАВА (р.1924) — поэт и прозаик. В СССР вышло несколько сборников его стихов, пластинки с записями песен, исполняемых автором, исторические романы. На Западе в изд-ве "Посев" вышел двухтомник произведений Окуджавы (1972).

Андрей БИТОВ (р.1937) — по образованию горный инженер. Прозу начал писать в 1958 г. Автор следующих книг: "Большой шар" (1963), "Такое долгое детство" (1965), "Дачная местность" (1967), "Аптекарский остров" (1969) — все изданы в СССР. Роман "Пушкинский дом" — самое значительное произведение Битова вышел в изд-ве "Ардис" в 1978 г. Рассказы, вошедшие в Альманах, публикуются впервые.

Аркадий БЕЛИНКОВ (1921—1970) — писатель. Был арестован на последнем курсе МГУ и приговорен к смертной казни, которая была

заменена тюрьмой и лагерями. В лагерях провел 13 лет. В 1956 г. был реабилитирован. Его книга "Юрий Тынянов", распространяемая в самиздате, была широко известна. В 1968 г. Белинков, опасаясь ареста, бежал на Запад. В США преподавал в университетах. Белинков умер, не успев завершить трилогию о трех типах отношения к власти — лояльный художник (Ю.Тынянов), сдавшийся художник (Ю.Олеша), художник-протестант (А.Солженицын).

Варлам ШАПАНОВ (1907—1982) — писатель и поэт. В 1937 г. был арестован. В 1957 г. после реабилитации возобновил литературную работу. Широкую известность на Западе и в кругах советской интеллигенции приобрел сборник "Колымские рассказы", вышедший в 1978 г. в Лондоне в изд-ве "ОРІ".

Андрей ПЛАТОНОВ (1899—1951) — русский писатель. Оказал большое влияние на современную русскую прозу.

Максимилиан ВОЛОШИН (1877—1932) — русский поэт, критик и художник. Публикуемые воспоминания — один из немногих образцов прозы Волошина.

Наталья БЕЛИНКОВА (р.1930) — журналист, критик. Вдова Аркадия Белинкова, книги которого широко популяризируют на Западе. Так ею была подготовлена к печати и издана "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша" (Мадрид, 1977).

Соломон ВОЛКОВ — см. Альманах "Часть речи" № 1.

Бенджамин ФОНДАН (1899—1944) — французский философ, ученик Л. Шестова, Погиб в концентрационном лагере в 1944 г.

Анна ЧУЛКОВА-ХОДАСЕВИЧ — поэтесса и переводчица, выступала под псевдонимом Софья Бекетова. Более подробные биографические сведения см. в публикуемых воспоминаниях.

Михаил БУЛГАКОВ (1891—1940) — русский писатель и драматург. Его роман "Мастер и Маргарита", вышедший в свет спустя четверть века после написания, был переведен на многие европейские языки и вошел в число шедевров прозы XX века.

Борис ШРАГИН (р. в 1926 г.) — по образованию философ. Автор многих работ по эстетике. Участник правозащитного движения. С 1974 г. живет на Западе, где публикуется в русской и англоязычной печати. Его книга "Противостояние духа" вышла по-английски в изд-ве Кнопф в 1978 г.

Юрий ИВАСК (р. в 1896 г.) — поэт, литературовед. Автор исследований о творчестве К.Леонтьева и В.Розанова.

Юлия ТРОЛЛЬ — прозаик, публицист и радиожурналист. Постоянный автор русскоязычной прессы.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Из "Воронежских тетрадей". Стихи и варианты	3
Семь писем	6

АННА АХМАТОВА

Анна АХМАТОВА

Неопубликованные стихи и варианты	15
Листки из дневника	20

БОРИС ПАСТЕРНАК

Борис ПАСТЕРНАК

Ремесло	23
Письма к родным	25

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Марина ЦВЕТАЕВА

Из альбома	37
Письма к Саломее Андрониковой-Гальперн	39

ПОЭЗИЯ

Иосиф БРОДСКИЙ

Песни счастливой зимы. (Послесловие Л.Лосева)	47
---	----

Белла АХМАДУЛИНА

На смерть В.Высоцкого	69
---------------------------------	----

Булат ОКУДЖАВА

Новые песни и стихи	70
-------------------------------	----

ПРОЗА

Андрей БИТОВ

Чужая собака и другие рассказы	76
--	----

Аркадий БЕЛИНКОВ

Анна Ахматова. Фрагменты незавершенной книги	95
--	----

Иосиф БРОДСКИЙ

Надежда Мандельштам	111
-------------------------------	-----

Варлам ШАЛАМОВ

Тропа	121
-----------------	-----

Андрей ПЛАТОНОВ

Усомнившийся Макар	124
------------------------------	-----

Максимилиан ВОЛОШИН

Черубина де Габриак	144
-------------------------------	-----

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Наталия БЕЛИНКОВА

Судьба одной книги	166
------------------------------	-----

Соломон ВОЛКОВ	
Венеция. Глазами стихотворца. (Диалог с Иосифом Бродским)	175
Бенджамин ФОНДАН	
Разговоры с Шестовым	188
ИСКУССТВО	
Соломон ВОЛКОВ	
О Сергее Сергеевиче и Дмитрие Дмитриевиче. (Интервью с Мстиславом Растроповичем)	254
ВОСПОМИНАНИЯ	
Анна ЧУЛКОВА-ХОДАСЕВИЧ	
О Владиславе Ходасевиче	263
АРХИВ	
Михаил БУЛГАКОВ	
Выступление на диспуте	295
КНИЖНАЯ ПОЛКА	
Борис ШРАГИН	
Синявский — Абрама Терца	300
Юрий ИВАСК	
Розанов в изображении Синявского	308
Юлия ТРОЛЛЬ	
Кролики и удавы	313
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	

CONTENTS

OSIP MANDELSHTAM	
From The Voronizhskii Papers. Poems and Variations	3
Seven Letters	6
ANNA AKHMATOVA	
Unpublished Poems and Variations	15
From The Diary	20
BORIS PASTERNAK	
Remeslo (Trade)	23
Letters to Relatives	25
MARINA TSVETAeva	
From The Album	37
Letters to Salomeya Andronikova-Galpern	39
P O E T R Y	
JOSEPH BRODSKY	47
Song Of The Happy Winter. Afterword by Alexey Losev	
BELLA AKHMADULINA	69
To The Death Of V. Visotskii	
BULAT OKUDZHAVA	70
New Songs and Poems	
F I C T I O N	
ANDREI BITOV	76
Strange Dog and Other Stories	
ARKADII BELINKOV	95
"Anna Akhmatova". Fragment of an unfinished book	
JOSEPH BRODSKY	111
Nadezhda Mandelstam	
VARLAM SHALAMOV	121
Path	
ANDREI PLATONOV	124
Doubtful Makar	
MAXIMILIAN VOLOSHIN	144
Cherubina De Gabriak	
C R I T I C I S M	
NATALIA BELINKOVA	166
The Fate Of One Book	
VENICE: THROUGH THE EYES OF A POET	175
Conversation between Josef Brodsky and Solomon Volkov	
BENJAMIN FONDAN	188
Conversations with Shestov	
SOLOMON VOLKOV	254
About Sergei Sergeevich and Dmitrii Dmitrievich. Interview with Mstislav Rostropovich	
M E M O I R S	
ANNA CHULKOVA-KHODASEVICH	263
About Vladislav Khodasevich	
A R C H I V E M A T E R I A L S	
MIKHAIL BULGAKOV	295
Performance at the Public Debate	
B O O K S H E L F	
BORIS SHRAGIN	300
Abram Terz's Sinyavskii	
GEORGE IVASK	308
Rosanov in the image of Sinyavskii	
JULIA TROLL	313
Rabbits and Boas	
C O N T R I B U T O R S	

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"

- Алексей РЕМИЗОВ.** Кукла. Розовые письма
Константин ВАГИНОВ. Козлиная месня.
Константин ВАГИНОВ. Труды и дни Свистополова
Василий АКСЕНОВ. Затоваренная бочкотара. Радеву.
Александр ЧАЯНОВ. Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии
Сергей ДОВЛАТОВ. Компромисс
Альманах „Часть речи“.
Михаил БУЛГАКОВ. Записки на манжетах.
Николай ОЛЕЙНИКОВ. Иронические стихи
Венедикт ЕРОФЕЕВ. Глазами эксцентрика
Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Мое завещание
Аполлинария СУСЛОВА. Годы близости с Достоевским
Маркиз Де КЮСТИН. Записки о России
Василий ЯНОВСКИЙ. Американский опыт
Владислав ХОДАСЕВИЧ. Белый коридор, воспоминания
Владислав ХОДАСЕВИЧ. Колеблемый треножник, статьи
Яков ГОЛОСОВКЕР. Достоевский и Кант
Андрей ПЛАТОНОВ. Вирок
Михаил БАХТИН. Формальный метод в литературоведении
Михаил БАХТИН. Фрейдизм
Михаил ГЕРШЕНЗОН. Судьбы еврейского народа
Давид ХАРМС. Из дома вышел человек
Леонид ДОБЫЧИН. Встречи с Лиз
Андрей НИКОЛЕВ. Елисейские радости
Марк СЛЮНИМ. Мария Цветаева в Праге и в Париже
Д. ФОНДАН. Разговоры с Шестовым



© Photo by Mary Cotter